Военные Приключения

ОН УБИЛ МЕНЯ ПОД ЛУАНГ-ПРАБАНГОМ



ЮЛИАН СЕМЕНОВ

Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы

Юлиан Семенович Семенов

Аннотация
Юлиан Семенов. Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы
Он убил меня под Луанг-Прабангом
Ненаписанные романы
Вместо предисловия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21. Лето тридцать седьмого
22. Необходимый комментарий
23. Осень пятьдесят второго
24
25
26. Судьба солдата в Америке
27
28. Необходимый комментарий
29
30

Аннотация

Издательство «Вече» в рамках популярной серии «Военные приключения» продолжает публикацию произведений известного русского писателя Юлиана Семенова.

Война не бывает милосердной. Всегда и везде она собирает свою кровавую жатву, невзирая на правых и виноватых. Чья правда главнее, так и не смогли выяснить советский журналист Степанов и американский летчик Эд, когда судьба свела их далеко от родного дома, на чужой для обоих войне…

«Ненаписанные романы» – это сборник необычных новелл, объединенных одной, не дававшей покоя автору мыслью: что такое неограниченная власть и чем она опасна для большинства людей?

Юлиан Семенов
Он убил меня под Луанг-Прабангом. Ненаписанные романы

© Семенов Ю.С., наследники, 2008
© ООО «Издательский дом «Вече», 2008
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru

Он убил меня под Луанг-Прабангом

21.50

Комиссар охраны Ситонг открыл дверцу «газика», мучительно прислушиваясь. Машина натужно ползла в гору. Подъем был очень крутым.

— Выключи подфарники, — сказал Ситонг шоферу.

— Тут воронки. Можем загреметь в пропасть.

— Выключи подфарники, — повторил Ситонг.

— Что? — спросил Степанов. — Летает?

— Вроде бы, — ответил Ситонг. — Стоп.

Шофер выключил мотор. Машина медленно покатилась назад.

— Поставь на тормоз, — сказал Ситонг.

— Она на тормозе.

— Почему катится?

— А он не держит на таком крутом спуске.

— Поставь на скорость, — посоветовал Степанов.

— Это не разрешается по инструкции, — ответил шофер.

— Инструкция простит, — сказал Ситонг, — сейчас свалимся.

Шофер поставил машину на скорость, и Ситонг выскочил из «газика».

— Никого нет, — сказал Степанов, прислушавшись.

Ситонг, досадливо махнув рукой, стоял замерев. Он прислушивался к небу, вытянув шею, — словно так дальше слышал.

— Ты ошибся, Си, — сказал Степанов, — тебе просто показалось.

И в это время он услышал самолет.

— Ситонг не ошибается, — сказал комиссар охраны. — Ситонгу нельзя ошибаться, иначе тебя давно бы уж убили. Лезем в скалы.

Они взяли рюкзак с едой, автомат, фляги, и полезли в скалы.

— Кто летит? — спросил шофер. — Эй ди сикс[1]?

— Он. Кому же еще летать ночью? С этого тихохода можно бомбить даже ящерицу, не то что машину.

Шофер остановился и сказал:

— Я оставил в машине свою новую куртку на

---

[1] Сноски: 1

АД-6 (эй ди сикс) — самолет ВВС США.

«молнии»…

— Ничего, померзнешь, — ответил Ситонг. — Пошли быстрей, он уже рядом.

21.57

— Ну-ка, Билл, погляди ты: вроде бы они остановились?

— Да, командир.

— Радар не барахлит?

— Нет. Просто, видимо, они услыхали нас. Поэтому и остановились.

— Ты думаешь?

— Я думаю.

— Это хорошо, что ты думаешь, — улыбнулся Эд Стюарт, — на этой земле вообще разучились думать. Чем больше люди научились делать, тем они меньше стали думать. Между прочим, напрасно ты не записываешь мои афоризмы: их можно выгодно продать. Например, во Франции. Зайдешь в «Юманите» и предложишь афоризмы «воздушного пирата». Они очень ценят такие эпитеты. Отвернем, Билл. Все же они нас услыхали. Пусть успокоятся и поедут дальше, а мы сделаем круг. Нет?

— Да, командир.

— Ты был в Париже?

— Нет.

— Плохо. Каждый человек обязан побывать в Париже. Ты читал «Праздник, который всегда с тобой»?

— Нет. Чье это?

— Хемингуэя.

— Это который пустил себе пулю в рот?

— Да.

— Нет. Я читал про то, как он развлекался с молоденькой итальянской потаскушкой.

— «За рекой в тени деревьев»?

— Я не помню названия. Я всегда забываю названия, — улыбнулся второй пилот. — Про что — помню, а вот название и фамилию автора всегда забываю.

Эд засмеялся.

— Значит, говоришь, он развлекался с молоденькой итальянской потаскухой?

— Ну да. Они там еще все время пили. Алкоголики какие-то. Вообще все итальянцы алкоголики.

— Это ты сам? Чуть убавь обороты. Вот так. Хорошо. Это ты сам? — повторил он.

— Что?

— Сам придумал про итальянцев?

— Нет. Там воевал отец, он мне рассказывал.

— Тебе двадцать?

— Почему? Мне двадцать два.

«Неужели я в двадцать два был таким же болваном? — подумал Эд. — В молодости мы все кажемся себе гениями и только к старости понимаем, какие же мы в сущности кретины».

— Ты молодец, старина, — сказал Эд, — ну-ка, давай зайдем на них еще раз.

22.07

— Все, — сказал Ситонг, — отцепился.

— Я так боялся за свою новую теплую куртку на «молнии», — сказал шофер, — она греет словно весеннее солнце.

— Тебе положено бояться за машину, — ответил Ситонг, — а не за куртку на «молнии».

— Ты всегда такой грозный, Ситонг? — спросил Степанов. — Что это с тобой случилось?

— Я всегда становлюсь таким, когда кончается поездка. Когда к нам приезжал профессор-француз из трибунала Честности, я в конце поездки ругал его самыми страшными лаосскими ругательствами.

— Зачем?

— Просто так. Чтобы самому успокоиться. Если убьют в поездке — тут уж ничего не поделаешь: война есть война. А когда до границы осталось двести километров — погибать совсем обидно.

— С той стороны границы бомбят так же.

Ситонг вдруг усмехнулся:

— Там за тебя будет отвечать вьетнамский комиссар охраны, а здесь отвечаю я. Хочешь выпить?

— Хочу.

Ситонг протянул Степанову флягу:

— Держи.

— Спасибо.

Степан сделал два больших глотка и сказал:

— У вас от самогона за версту несет рисом.

— Рис — не дерьмо, можно и понюхать. Зато крепкий самогон. Пей еще.

— Не хочу.

Ситонг сделал несколько глотков, прополоскал рот и сказал:

— Десны очень греет. Приятно. Ладно, пошли в машину.

Мотор никак не заводился, исступленно выл стартер.

— Посадишь аккумулятор, — сказал Степанов.

— Не посажу, — уверенно ответил шофер, и по этой его уверенности Степанов понял, что аккумулятор он наверняка посадит.

Это было в Крыму, в Старом Свете. Степанов тогда купил старенький «Москвич», и они с Надей поехали к морю. Был конец апреля, но он все

же уговорил.

— В мае уже купаются, — сказал он.

— В конце мая, — уточнила Надя, — а ты месяц не усидишь…

Но ему очень хотелось поехать к морю на «Москвиче», и они поехали.

Зачем женщина вначале так легко соглашается с взбалмошным неразумением любимого? Зачем так скоро любовь трансформируется в чувство собственника? Зачем мы, исповедуя философию движения, относимся к любви словно слепые узколобые догматики? Зачем мы не говорим себе сразу, что любовь обязательно переходит в дружбу и в привязанность, а это ведь уже не любовь? Проблема человеческой совместимости — это и есть проблема счастья в любви. Перед тем как зимовщиков отправлять на год в Арктику, их испытывают невропатологи. Неужели влюбленным надо проходить испытание на будущую совместимость? Может быть, кто знает.

— Смотри, море, — сказал тогда Степанов.

Оно появилось в разрыве облаков ранним утром. Старый Свет еще спал — только отчаянно голосили петухи. И еще очень горько пахло жженными листьями. Этот запах казался Степанову горьким, потому что он уезжал от Нади в первый

раз, когда на даче жгли листья — и голубой дым уходил в синее сентябрьское небо. Надя долго стояла возле калитки, глядя ему вслед, и он то и дело оборачивался, и в нем все пело, и идти ему тогда было невозможно легко — как после хороших трех раундов. Только после хороших трех раундов с товарищем, после горячего душа и жесткого полотенца в нем появлялось раньше такое ощущение.

Счастливая горечь первой недолгой разлуки с ней потом прошла, разлуки стали их бытом, а вот горький запах жженых листьев остался в нем, как символ недолгого счастья, и тишины, и любви.

— Очень скользкая дорога, — сказала Надя. — Будь осторожен.

— Да ладно, — сказал он, — ты смотри, какое море!

Он резко перевел рычаг переключения скоростей, и рычаг остался у него в руке — хороший, видно, металл поставили на заводе, черт их дери! Машина заскользила вниз по горной дороге. Она была сейчас неуправляемой и скользила быстро.

— Правь, родной, правь! — прошептала Надя и стала бледной и пальцы поднесла к щекам. Она всегда подносила свои длинные пальцы к щекам, когда пугалась, или когда он обижал ее, или если

она смущалась чего-то. Руки ее не потянулись к дверце, нет. Она сидела возле, повторяя все время как заклинание:

— Правь, Димочка, правь…

А он тихо матерился и не знал, что делать, потому что машину тащило вниз, а метрах в двадцати начинался крутой обрыв. Тогда Степанов зажал в ладони острый огрызок рычага передачи, перевел его на первую скорость, и машина, дрогнув, остановилась.

— Правь, Димочка, правь, — продолжала повторять Надя.

— Чем мне править?! — закричал он тогда. — Что ты болтаешь?!

А она ведь ни разу не потянулась рукой к ручке дверцы…

Все вокруг нас хрупко и непрочно. Зачем мы забываем и об этом? Стекло хрупко? Чушь. Что есть на свете более ломкое, чем человеческие чувствования?

Мы начинаем предавать себя в дни счастья, не замечая этого. Во всяком горе жди радости. Значит, и в счастье должно ждать горя?

— Надо покрутить ручкой, — сказал шофер и засмеялся.

«Веселый парень, — подумал Степанов, — с

таким не соскучишься. Тхань был настоящим водителем, а этот еще совсем мальчик».

— Давай ручку, — сказал Ситонг, вылезая из машины.

Шофер долго копался у себя под сиденьем, а потом сказал:

— Нет ручки.

— Чем же я тебе буду крутить? — рассердился Ситонг. — Пальцем, что ли?

Шофер рассмеялся, и Степанов тоже.

— Ничего, — сказал Степанов. — Сейчас мы развернем машину на месте и пустим ее вниз. Она пойдет под гору и заведется со скорости.

Они взмокли, разворачивая машину. Им приходилось удерживать ее над пропастью, но они все-таки ее развернули.

— Садитесь, — сказал шофер, — сейчас заведется. А внизу есть площадка, там можно развернуться. Там большая площадка…

Но они не сели в машину, потому что снова услыхали самолет.

22.13

— Ты заметил, что обостренное чувство совестливой стыдливости у женщины унижает мужчину? — спросил Эд. — Длительно стыдливая женщина может сделать мужчину импотентом.

Билл смущенно хмыкнул.

— Ты что, девственник?

— Нет, командир. Только меня развратные женщины без стыда совершенно не волнуют. Мне самому стыдно за них. Я люблю нежность.

— Это потому, что вы теперь все слишком рано начинаете.

— Нет, командир. Про это больше болтают.

— Посмотрите-ка, а они все еще стоят. Они не могли нас слышать, мы подлетали из-за хребта.

— Обезьяны, — сказал Билл, — чарли проклятые.

— Они люди, а не обезьяны. Зачем ты так? Надо уважать врагов. Если мы воюем против обезьян уже пять лет и по-прежнему сидим по горло в дерьме, то кто же тогда мы сами-то?

— На них надо бросить пять водородных штучек, и все кончится.

— Кто их будет кидать? Ты?

— Ну и что? Я кину.

«А ведь этот действительно кинет, — подумал Эд, — и с ума потом не сойдет».

— А дети?

— Какие дети?

— Их дети. Маленькие дети. Они ведь тоже сгорят…

— Что — дети? «А ля гер, ком а ля гер»...

— К тому же ты знаешь французский?

— Я беру уроки.

Эд почувствовал затылком, как осклабился его второй пилот. Достав расческу, Эд уложил растрепавшиеся волосы. В расческе тихо потрескивали молнии.

— Ты спишь с мадам Тань?

— О чем вы, командир? — скрывая улыбку, ответил Билл. — Я не понимаю, о чем вы говорите...

— Ну-ка, внимательно посмотри: они на том же месте или сдвинулись?

— Чуть сдвинулись.

— К Лаосу.

— Странно, вначале они ехали во Вьетнам. Хватит горючего еще на один круг?

— Хватит. Не возвращаться же с бомбами...

— Можно отбомбиться здесь.

— По пустой машине?

— Ну и что? Все равно — урон для техники.

— Им русские пригонят взамен этой еще десять штук.

— Почему русские? А может, китайцы?

— Китайцы сами нищие.

— Ты стратег, а?

— Нет, командир. Просто я так думаю.

— Опять ты думаешь, черт возьми! Хватит тебе думать, — я завидую тем, кто не думает…

— Мадам Тань купила вашу книжку.

— Ну?! Она умеет читать? Я думал, что она только умеет… Это прекрасно, когда туземная красавица умеет не только… но к тому же читает книжки.

— Она метиска. Ее отец был французом. А мать — камбоджийка.

— О, это прекрасно, когда отец француз…

— Она говорит, что вы пошли в авиацию из-за неудачной любви.

— Скажи на милость: она и про неудачную любовь знает?

— Зачем вы так? Она очень хорошая…

— Сколько ей?

— Тридцать.

— Молодец. Всегда надо учиться на женщинах, которые старше. Я начал с одногодок и только сейчас понял, какую сотворил глупость. Женщина, которая старше, понимает, что измена это глупость и мелочь… Переспал с кем-то — ну и переспал… Вообще-то мужчины совестливее женщин. Разница в возрасте, Билл, — единственная гарантия прочной любви. Запиши это, старина, запиши. Это купят даже в «Крисчен сайенс мони-

тор» для раздела «Мысли бывалого идиота».

22.24

— Вот сволочь, — сказал Ситонг, — что это он к нам прицепился? Может, диверсанты передали им по рации, что я везу европейца? Они решили, что ты — какой-нибудь важный начальник, а не писатель, какой-нибудь Че Геварра, вот и охотятся. За простым Патет Лао они бы так не охотились…

— Зачем я им нужен? — усмехнулся Степанов. — Лишние дипломатические осложнения.

— Никаких осложнений. Бомбой разнесет в клочья, а они скажут, что это мы тебя… — и он присвистнул, изображая, что «они» сделали бы со Степановым.

— Да?

— Конечно.

И они оба рассмеялись.

— Ты отчего не женишься, Ситонг?

— Нельзя.

— Почему?

— Война идет.

— Тебе не страшно воевать, у тебя нет детей.

— Наоборот, — возразил Ситонг. — Когда есть дети — погибнуть не так страшно: после тебя останется на земле твое семя…

— А если ты останешься жив, а они погибнут? Тогда как?

Шофер осторожно кашлянул и быстро взглянул на Ситонга. Тот ничего не ответил, но Степанов заметил, как у него замерло лицо и вспухли желваки. Ситонг достал флягу и молча протянул ее Степанову.

— Не хочу. Спасибо.

Ситонг отвернул крышку и сделал несколько глотков.

22.30

— Вот теперь они едут, — сказал Билл, — только теперь они снова повернули во Вьетнам. Что это они — то сюда, то туда?

— Посмотри по карте — здесь начинается горный коридор, нет?

— Да. Точно. Я думаю, надо ехать домой, командир. Горючего не хватит — думается мне.

— Опять ты думаешь… Что это за манера такая, — проворчал Эд, прикидывая остаток горючего. — Ты не охотник?

— Что?

— Я спрашиваю — ты не охотник, случаем?

— Нет. Отец мне запрещал охотиться. Он говорил, что это негуманно. Чем лесные птицы виноваты, когда их бьют из ружей с собаками?

Надо охранять живность — ее и так мало осталось на земле. У нас дома всегда жили утята… Вся наша семья любит уточек…

22.34

— Гони! — закричал Ситонг. — Гони, скорей!

На этот раз он услышал самолет, когда уже было поздно выбегать: американец хитро подкрался из-за хребта и теперь догонял машину сзади.

— Стоп! — крикнул Ситонг.

Машина, взвизгнув тормозами, замерла на месте.

— Вперед!

Шофер дал максимальную скорость, но машина все равно ползла очень медленно, оттого что дорога по-прежнему шла вверх. Ситонг кричал на шофера, парень растерялся и, вместо того чтобы дать подсос, врубил большой свет. Длинный, как крик, луч белого света повис в ночи.

— Идиот! — заорал Ситонг. — Идиот! Гони скорей, за поворотом — скала!

«Какая скала? — подумал Степанов. — При чем здесь скала? Здесь кругом скалы».

— Гони! Гони! Кричал Ситонг.

— Не кричи, — сказал Степанов, — ему так трудно править.

И вдруг в луче света, примерно в двадцати мет-

рах перед собой, они увидели спасение: дорога уходила в скальный тоннель.

Степанов никак не мог выдохнуть воздух, хотя ему хотелось это сделать, а самолет ревел где-то совсем рядом.

— Ты гений, Ситонг, — шепнул Степанов, — только бы успеть, ты гений…

22.35

— Уточек, — повторил Эд, — это хорошо, что вы любите уточек. Большие вы все гуманисты, как я погляжу. А вот меня эта машина возбуждает, как кабан, который прошел номер охотника за пределом выстрела. Видишь, чарли нас услышали и с перепугу включили свет. Наивные чарли, они думают, что мы сверху видим их по свету. Они совсем не думают о наших локаторах. Черт, куда это они делись? Успели-таки, — сказал он, откинувшись на спинку своего кресла, — спрятались под скалу. Молодцы. Здорово ездят эти лаосские парни.

Он прикинул по карте, когда они должны выйти из гор на равнину. Выходило, что примерно через пять часов они должны быть на равнине. Там, решил он, чарли от него никуда не денутся.

— Отбомбимся здесь, — сказал он, — через пять часов мы встретимся с ними на равнине.

— Да, командир, — ответил Билл и нажал кнопку. Самолет тряхнуло: бомбы полетели вниз.

22.38

Когда отгрохотало эхо и после взрыва бомб стало вокруг неприглядно темно, Ситонг, двигая нижней челюстью (видно, здорово заложило уши), сказал:

— Все. Теперь можно спокойно ехать. Через шесть часов я передам тебя с рук на руки, а там, во Вьетнаме, русские ракеты, там они не так лихо летают, там они побаиваются. Тебя не задело?

— Нет.

— А уши?

— Ничего.

— Едем, — сказал он шоферу, — или снова надо покрутить?

Шофер рассмеялся — он был веселым парнем — и ответил:

— Я же не выключал мотора!

Когда они двинулись дальше, он по-прежнему веселился, объясняя Ситонгу, что со страху он не успел выключить мотор и, пока американец бомбил, очень боялся, что комиссар услышит, как работает мотор, и даст крепкую выволочку: по инструкции мотор полагается выключать во время бомбежек.

— Интересно бы посмотреть в глаза этому летчику, — сказал Степанов. — Молча посмотреть ему в глаза.

— У него кровавые глаза. Что в них смотреть? В них надо стрелять.

Ситонг говорил неверно. Глаза у Эда были голубые, добрые, очень красивые. И Степанов смотрел в эти глаза дважды: первый раз в Скандинавии, во время фестиваля молодежи. И он не просто смотрел в эти глаза. Он был хорошо знаком с обладателем этих глаз.

Они тогда пошли вдвоем на шхуну «Мария» — это был штаб антисоветского центра. По скрипучей лесенке они спустились в прокуренный трюм; там ревел джаз и потные негры метались между столиками с бесплатным пивом. На стеллажах вдоль бортов были разложены брошюрки НТС. От табачного дыма щипало глаза. К столику, за которым сидели Степанов и Стюарт, подошли два парня — маленький толстяк и белобрысый верзила в белом джемпере и мятых белых джинсах.

— Это мой друг, — сказал белый парень, тронув грудь спутника мизинцем, — он из Кении.

Выкатив белки, тот широко улыбнулся.

— Меня зовут Ононкво, — сказал он, — я учусь

в Киле. До этого я вкусил советского рая в Москве. Откуда вы, друзья?

— Я из Нью-Йорка, — ответил Эд и вопросительно посмотрел на Степанова.

— А я из Москвы.

— Русский? Почему вы здесь? Какой русский? — спросил белый парень, по-рязански окая.

— Советский.

Парень молча, тяжело разглядывал Степанова. К нему подошли еще несколько человек. Тогда он сказал:

— Лучше уйдите отсюда.

Столик теперь окружили тесным, жарким, тихим кольцом. Эд сидел бледный: с детства он боялся драк. Мать запрещала ему драться, и поэтому за ним утвердилась репутация труса. Позже он и сам поверил в то, что он трус. А потом он стал подшучивать над своей трусостью — чтобы ее скрыть. Люди не поверят, что человек, открыто вышучивающий свою трусость — на самом деле трус. Так, считают все, поступают люди сильной воли, очень храбрые, с хорошим чувством юмора.

Белесый парень вдруг очень тихо заматерился. Несколько человек взяли его за плечи, но он вырвался и ударил Эда — тот был к нему ближе,

потом он бросился на Степанова. Степанов врезал ему апперкот — с подъема. Парень опустился на колени. Началась свалка. Потом Степанов услышал английскую речь: трое здоровенных верзил с военной выправкой раскидали дерущихся.

— Что это за бардак! — кричал Эд, вытирая кровь с разбитого рта.

— Кто вы? — спросил его один из трех верзил.

Эд назвался.

— А кто с вами?

— Я из Москвы, — ответил Степанов.

В дальнем углу шхуны начал биться Ононкво.

— Пустите меня! — кричал он тем, кто держал его за руки. — Я покажу сейчас этому из Москвы!

Самый высокий из трех американцев медленно обернулся и негромко сказал:

— Шат ап!

И парень сразу стих. Два американца ушли куда-то и через минуту возвратились с невысоким седым человеком.

«Где я видел его? — подумал Степанов. — Где-то я его видел, это точно. Ага, он приходил на литературную дискуссию».

— Здравствуйте, товарищ Степанов, — сказал седой, — меня зовут Виктор Михайлович. Бога ради, простите этих ребят: они дети горькой русской

эмиграции, в их сердцах постоянная боль. Ведь ни одна нация, кроме русской, не знала такой опустошительной эмиграции. Кто это с вами?

— Эд Стюарт, писатель из Штатов.

Виктор Михайлович кивнул Эду и сказал:

— В России перемены… Идти вдвоем с американцем к нам на шхуну… Не боитесь, что дома потревожит КГБ?

— Боюсь, — ответил Степанов. — Видите, как боюсь…

— Он что — из ваших американцев?

— То есть?

— Марксист?

— Почему? Нормальный империалист.

— У вас тут есть что выпить? — спросил Эд. — Кроме пива, конечно.

— Я говорю только по-немецки, — ответил Виктор Михайлович. — Что он спрашивает?

— Он хочет выпить.

— У нас вообще-то безалкогольный студенческий корабль, но вас я угощу из своих запасов.

— Вы тоже студент? Или как?

— Я преподаватель.

— Чему учите? — хмыкнул Степанов.

— Хватит об этом, — улыбнулся Виктор Михайлович. — Я сейчас вам принесу «Посев». Мы

защищаем вашу последнюю книгу от советской критики. Герр Шульц! — крикнул он вдруг страшным, немецким, командным голосом. — Герр Шульц! Три виски! Герр Шульц!

Появился здоровенный, толстый немец.

— Кто это? — спросил Эд одного из американцев, которые по-прежнему стояли чуть в стороне, словно родители, наблюдающие за тем, как играют детишки.

— Это их Гиммлер, — засмеялся самый высокий американец, — какой-то оберфюрер.

— При чем тут Гиммлер, — поморщился Виктор Михайлович. — Этот американец говорит по-русски?

— Ни бельмеса, — ответил Степанов.

— Обычная американская невоспитанность. Молодая нация, нет культуры, ничего не поделаешь. Герр Шульц — старый демократ.

Потом Степанов и Эд долго ходили по набережной. Белые ночи были на изломе. В серых, зыбких ночных сумерках лица людей были трагичны и нереальны.

— Политика может простить ту или иную ошибку, но она не простит глупости, — говорил Степанов задумчиво. — Живет у вас Керенский, Струве, тысячи других наших эмигрантов — и

пусть себе живут. Но когда вы поддерживаете НТС, то вы поддерживаете фашизм: они шли с Гитлером во время войны и сжигали в печах детей.

— Почему вы думаете, что мы их поддерживаем?

— Откуда на шхуне появились три ваших паренька в штатском?

— Вы думаете, они — наши?

— Уж не наши, во всяком случае.

Эд рассмеялся.

— Только не думайте, — сказал он, — что если я ругаю моего президента, то, значит, я выступаю за вас. Ругать тех, кто неверно правит твоей родиной, совсем не значит желать ей зла. Часто — наоборот.

— Вы ругали своего президента?

— Буду. Когда вернусь.

— В какой газете? Я посмотрю.

Эд назвал газету, от которой он приехал.

— Между прочим, который час? — спросил он. — В потасовке я потерял часы.

— Что ж после потасовки не поискали?

— Я щупал ногой под столом. Там не было.

— Богатая вы нация, — сказал Степанов, — можно было и руками пощупать. А времени сейчас

половина третьего.

— Ого! — присвистнул Эд. — Жена в гостинице лезет на стену.

— Всякий порядочный мужчина должен немного бояться жены, — сказал Степанов, — жену не боится только прощелыга или гений.

— Не всякий гений, — добавил Эд, — а только тот, который вступил в брак уже состоявшимся гением.

— Это вы к тому, что нет пророка в своем отечестве?

Эд поднял палец, остановился и записал что-то в книжечку: каждый человек строит себе баррикаду на тех мудростях, которые утверждают его в своих же глазах.

23.20

Эд спросил Билла, когда они вышли из штурманской прокуренной комнаты:

— Ты куда? К туземной женщине?

— Не знаю, командир, — ответил Билл, смутившись, — сначала я хочу посмотреть на белых женщин.

— Где ты их тут увидишь?

— Сегодня должны прилететь какие-то благотворительные журналистки из дома. Они путешествуют по Азии и должны завернуть сюда

из Бангкока.

— Все наши журналистки забыли, когда у них кончилась зрелость…

— Что? — переспросил радист. — Что они забыли?

Эд снова засмеялся и сказал:

— Иди к черту, старик, ты невозможен.

— А куда вы?

— Я спать. Через пять часов мы с тобой выедем, так что не увлекайся бабушками.

— А я могу не спать двое суток.

— Да?

— Я так думаю.

— Ясно, мыслитель. Ну, пока.

Эд бросил свой джип где-то под деревом, в спешке, и сейчас, чертыхаясь, хлопал себя по карманам: фонарик, конечно, он оставил в кабине.

«Глупость какая, — думал он, — зачем мне в кабине фонарик? Если угрохают — фонарик уже не потребуется. А сесть на вынужденную в скалах немыслимо. Сказано, чтоб держать в кабине — и держу. Болван. Мы все любим жить по предписанию; удел мышей — жить по предписанию. Никакой ответственности — за тебя все расписано».

Ночь была безлунной, темной. Эд наткнулся

на камень, выругался, заскакал на одной ноге. Он вспомнил, как над ним подшутили ребята в школе. Он очень любил представлять себя знаменитым футболистом. Он выучился ловко бить мыском камушки и жестяные банки из-под пива. Однажды ребята завернули в белую бумагу тяжелый камень и положили его на дороге. Эд, конечно, ударил по этой бумажке мыском и упал, потеряв сознание от боли.

«Интересно, как фамилия того, кто это придумал? — подумал Эд. — Ему бы надо взять фамилию Гитлер».

Кто-то метрах в десяти от него включил фонарь. Острый луч света ослепил Стюарта.

— Эй, — сказал он, — осторожней. Посвети пониже — где-то здесь моя машина... И не свети в глаза — я так слепну.

Ему никто не ответил, но рука, державшая фонарик, послушно опустилась вниз, и Эду показалось, что человеку было тяжело опускать руку, — так упруг и весом был луч света. Листва в этом мертвом белом свете была черной, неживой, похожей на чугунную. Днем она была нежно-зеленой, хрупкой.

Эд увидел свой джип и сказал:

— Погоди выключать. Я сяду за руль, и тогда

выключишь.

Фонарик послушно освещал его машину. Эд вспрыгнул на сиденье. Прыгающий луч света приближался к нему.

— Кто ты? — спросил Эд. — Освети себя.

Яркое пятно света все приближалось.

— Эй! — сказал Эд. — Покажи себя, парень!

Ему вдруг стало холодно, и тело покрылось потом.

«Чарли! — мелькнуло в мозгу. — От аэродрома сто метров, рядом — джунгли, и никого нет!» Он ударил себя по левой ляжке: кобура с пистолетом осталась в самолете. И тогда он пронзительно закричал — визгливым срывающимся голосом. Свет исчез. На том месте, где он только что был, зияла черно-зеленая пустота, расходившаяся постепенными радужными кругами.

— Не кричи, — сказал знакомый голос, — не кричи так страшно, дурачок.

Сердце его колотилось где-то в горле, руки мелко тряслись: так с ним было первый раз, когда он проходил сквозь заградительный огонь зениток возле Самнеа.

Кто-то опустился рядом с ним на сиденье, и тогда, в близкой темноте, он увидел лицо жены.

— Зачем ты приехала, Сара? — спросил он

хрипло.

23.20

— Ну-ка, вруби фары, — сказал Ситенг, — что-то на дороге чернеет.

Когда шофер включил свет — через секунду, не больше, — прогрохотала автоматная очередь и машина сразу осела на правое колесо. Ситонг кошкой выскочил из кабины и, бросившись к тому черному, что перекрывало дорогу, на ходу дал ответную очередь, прижав автомат к животу. Степанов, падая на теплую каменистую землю, ясно представил себе, как Ситонг стреляет: когда они попадали в перестрелки, Ситонг бил из автомата, завалив его влево — от живота, бил мастерски, не целясь.

Прогрохотала ответная очередь. Другая. Третья.

«А из разных бьют, — подумал Степанов, — плохо дело-то. Их, значит, там не меньше трех».

К Степанову подполз Ситонг и молча протянул пистолет. Степанов отрицательно покачал головой.

— Почему? — спросил Ситонг одними губами, но он лежал совсем рядом, и Степанов понял его вопрос.

— Если возьмут — сразу поднимут визг: «воору-

женный русский», — ответил он, подумав при этом: «И дома потом, если выменяют, затаскают по начальству».

Ситонг положил рядом со Степановым свой длинный нож и отполз к шоферу. Они пошептались о чем-то, и Ситонг исчез. Шофер подождал несколько минут, а потом дал из своего трофейного американского автомата очередь по тому темному, что было впереди, на дороге. Ему ответили сразу из трех автоматов.

«Значит, их не больше, — подумал Степанов. — Выкрутимся».

— Сколько прошло времени? — шепнул шофер.

— Не знаю.

— Посмотрите на часы.

— У меня стрелки не светятся.

— Покажите мне.

Степанов вытянул руку с часами. Шофер приник лицом к часам, а потом шепнул:

— Без пяти шесть.

— Не может быть, — ответил Степанов. — Ты спутал. Наверное, половина двенадцатого.

Шофер хихикнул в темноте.

— Я всегда путаю стрелки, — сказал он, — особенно в темноте. Конечно, сейчас половина

двенадцатого. В шесть часов начинают светлеть облака на востоке.

Степанов с трудом понимал парня — тот говорил очень цветистым языком. «Наверное, из Саванакета, — подумал Степанов, — там особенно красочный язык».

Снова прогрохотала очередь. Шофер не отвечал. Он потянул к себе руку Степанова и снова приник к часам.

— Пора, — шепнул он. — Если они побегут на вас, хватайте за ноги и бейте ножом.

— А ты?

— Я буду рядом, просто я говорю на всякий случай. Разите коварного врага ножом в горло, — закончил он саванакетской цветистостью.

И шофер отполз в сторону. Именно оттуда через минуту-две он дал несколько очередей, а потом закричал что-то пронзительное — Степанов так и не разобрал что. С дороги ответили очередями — Степанов видел красно-белые точки, разрывавшие черное полотно ночи, а потом выстрелы загрохотали в другом направлении, красно-белых разрывчиков уже не было, а после он услыхал голос Ситонга впереди и почувствовал, как кто-то невидимый бежал прямо на него по теплой каменистой дороге.

«Ну вот, сейчас, — сказал он себе. — Вот он рядом».

Но он не успел броситься на бегущего: чья-то стремительная тень метнулась от скалы. Степанов слышал, как человек тяжело упал. Потом он слышал тяжелые удары, и сопение, и стон, а после Ситонг закричал:

— Включайте фары!

Никто ему не ответил, но сопение где-то совсем рядом и тяжелые удары он по-прежнему слышал. Степанов поднялся, подошел к «газику» и включил свет. В белом луче он увидел шофера, который сидел верхом на человеке в серой куртке и бил его сцепленными руками по голове. Кровь на лице человека была черной.

— Эй, — негромко сказал Ситонг, — хватит. Он же не двигается.

...Двух диверсантов он уложил наповал, а третий, который ринулся вперед от неожиданно прогрохотавших сзади выстрелов, теперь лежал без сознания на дороге, и шофер по-прежнему яростно колотил его: звук был такой, будто мокрое белье били о камни.

Ситонг раскидал завал, который диверсанты сделали на дороге, шофер менял простреленное колесо, а Степанов сидел возле пленника и смот-

рел, как тот медленно приходит в себя. Подошел Ситонг, тронул человека ногой и сказал:

— Не наш. Это вьетнамец. Они сюда забрасывают диверсантов из Сайгона.

— Как ты определил?

— По лицу. Разве он похож на нас?

Степанов взглянул на пленника: тот был похож на Ситонга как две капли воды. Хотя, вспомнил он, в Ханое ему говорили, что все европейцы кажутся в Азии похожими друг на друга. «У нас лица разные, а вы все одинаковые, как братья». Степанов тогда удивился: «Но ведь у нас есть блондины, рыжие, брюнеты». Ему ответили: «А мы не смотрим на волосы. Мы смотрим только на форму глаз и на цвет кожи».

— Вставай, — сказал Ситонг пленному и тронул его мыском своих драных кедов. — Ну!

Пленник лежал не двигаясь, но глаза открыл.

— Что ты с ним говоришь? — удивился шофер. — Пусти ему пулю в лоб.

— Вставай, — повторил Ситонг.

Человек по-прежнему не двигался.

— Не понимает по-нашему, — сказал Ситонг. — Попробуй с ним по-американски.

— Нечего с ним по-американски, — снова повторил шофер из темноты, — ему надо пустить

пулю в лоб.

— Он пленный, — сказал Ситонг.

— Он диверсант и стрелял нам в спину.

— Он стрелял нам в грудь.

— Какая разница?

— Разницы никакой, — согласился Ситонг, — только он пленный.

— Вы говорите по-английски? — спросил Степанов.

Пленный сразу поднялся, и лицо его дрогнуло и стало растерянным.

— Кто вы? — спросил он.

— Патет-Лао, — ответил Степанов. — А вы?

— Пусть говорит правду, — сказал Ситонг. — Скажи ему, что у нас мало времени и трудно с местом в машине. Переводи, переводи! Переводи, — повторил он. — Они бомбят наши госпитали. Они заставляют нас говорить так.

— Откуда вы? — спросил Степанов. — Ваше имя?

— Я из Гуэ. Меня зовут Нгуэн Ван Хьют. Меня забросили американцы.

Степанов перевел.

— Спроси его — будет он говорить все моему командиру?

— Да, — ответил пленный. — Конечно.

— Спроси его: зачем он прилетел к нам?

Пленный долго молчал. Это был не молодой уже человек, очень худой, слишком для вьетнамца высокий. Хотя, может быть, он показался таким Степанову из-за худобы.

— У меня же семья, — очень тихо ответил человек, и губы его затряслись.

23.45

— Я не хочу в бар, — сказал Эд. — Я никуда не хочу, Сара.

— А я очень хочу, — сказала она и прижалась лицом к его плечу, и стало ему от ее прикосновения пусто и горько.

— Не надо, — попросил он.

— Нет, надо.

— Зачем ты прилетела сюда?

Сара отодвинулась, поправила прическу и ответила:

— У тебя есть сын, Эд. У тебя есть семья.

— Я предал самого себя из-за семьи, из-за сына, из-за тебя, — ответил он. — Ты получаешь деньги, Уолту пока еще не бьют морду из-за того, что его папа бомбит Азию, — чего тебе еще надо? Из-за вас я потерял самого себя — чего вам всем от меня надо?

— Теряют, когда есть что терять.

— Ну вот, видишь… О чем же нам говорить? О чем, Сара?

— Ты ведь сам хочешь, чтобы все наладилось.

— Ненавижу, когда за меня говорят. Если бы я хотел, чтобы наладилось, я бы сказал тебе об этом. Кто из нас двух лучше знает меня: я или ты?

— Я.

— В каждом человеке живет много людей. Ты знаешь меня одного, мой радист — другого, мальчик — третьего, лаосцы — четвертого, а я — знаю себя пятого. И все мы разные. Ты всегда хотела, чтобы я был одним. Тебе надо было выйти замуж за клерка из рекламного бюро: они отличаются спокойной одинаковостью, а человек, который пишет или снимает, — обязательно должен быть психом. Ты этого никогда не могла принять, я шокировал тебя тем, что я был таким, каким был, а не был таким, как все.

— Ты изменял мне, Эд. Ты предавал меня с потаскухами, а я всегда была тебе верна.

— Сосуществование — это отнюдь не любовь, Сара, но любовь — это обязательно сосуществование! Любовь предполагает уважение к индивидуальности. Иначе — получается ярмо собственности. Ты считала меня своей собственностью, а человек принадлежит только самому

себе.

— Я всегда была верна тебе, Эд. И меня никогда не тяготила эта верность.

— Что ты кичишься этим?! Что — верность?! Медаль за храбрость? Счет в Лозанне?! Когда верность делается тиранией, так лучше пусть будет взаимоуважительная неверность.

— Тебе всегда хотелось, чтобы я изменила тебе, я знаю. Ты всегда по ночам расспрашивал меня: «Как тебе было бы с другим? Представь, что я другой…»

Стюарту вдруг стало мучительно гнусно: так ему было однажды, когда он пошел в клинику — смотреть аборт. Он писал повесть, и ему надо было описать аборт. Он после этого уехал на два месяца во Флориду и пил, не просыхая, чтобы забыться.

— Ты все помнишь, Сара, — сказал он, — у тебя прекрасная память. А я, когда спрашивал тебя о чем-то ночью, не помнил ничего днем…

— Не ври себе, Эд.

И он понял, что она сейчас сказала правду, и это родило в нем злость.

— Скотина! — сказал он, сморщившись.

— Это ты — скотина, — тихо ответила Сара, — это ты подлая скотина, а не я.

— Так зачем ты приехала сюда?!

— Потому что я тебя люблю…

23.47

Ситонг укрыл трупы двух диверсантов брезентом, связал руки пленному и сказал шоферу:

— Едем.

Шофер сказал:

— Все-таки лучше бы его тут пристрелить. Вдруг впереди еще одна группа? Что тогда нам с ним делать?

Ситонг попросил Степанова:

— Переведи-ка — их выбросили одних или были еще группы?

— Было еще четыре группы, — ответил пленный. — По три человека в каждой.

— Их бросили вместе?

— Вас бросили вместе? — перевел Степанов.

— Нет. Нас бросили последними.

— А те группы тоже должны делать засады на дорогах?

— Да.

— Где?

— Я не знаю.

— Ладно, — сказал Ситонг, — поехали. Мы успеем от него избавиться, если те нападут.

— Враги коварны, ночь темна, и нету серебри-

стой луны, — как всегда, цветисто сказал шофер, включая мотор.

Они проехали километров пять, и Ситонг попросил:

— Останови машину. Я весь измазался кровью.

Шофер остановил машину. Ситонг включил фонарик: весь брезент был черным от крови.

— Как будто оленя везем, а не диверсантов, — усмехнулся он.

Степанов вспомнил якутскую тайгу. Он бродил там вдвоем с охотником Максимом: они промышляли белку. В тот год было хорошее белковье — в тайгу ушли целые деревни, а в домах остались только глубокие старики и школьники. Малышей родители тоже забрали в тайгу, и поэтому поселки были тихие-тихие, будто военные.

Они с Максимом вышли однажды к избушке старика, который раньше был шаманом. К нему перестали ходить люди, потому что приехала девушка-врач. И старик, чтобы не голодать, начал охотиться за волками. Он брал на фактории стрихнин и выслеживал волков — они очень много задирали оленей. Он на это жил: за каждого волка ему давали пятьдесят рублей и двух оленей. Он даже по этому поводу выступил во время предвыборной кампании: рассказал жите-

лям, как он плохо жил раньше и как хорошо ему жить теперь, когда он не эксплуатирует суеверия, а зарабатывает себе пропитание собственным трудом.

Когда Максим и Степанов пришли к нему домой, старик был болен. Он сидел на крыльце и грелся под последним осенним солнцем. Оно уже было не теплым, но все равно старик считал его целебным, потому что раньше он поклонялся солнцу и думал, что оно только и может вылечить либо навлечь болезнь.

Рядом с крыльцом стоял старый олень — такой же старый, как и бывший шаман. Зубы у него были желтые, стертые.

— Лечиться буду, — сказал старик.

— А чего тебе лечиться? — спросил Максим. — Ты нас переживешь.

Старик — довольный — засмеялся, обнажив коричневые зубы.

Он долго грелся на солнце, а потом пошел в дом — за топором. Топор был старый, плохо точенный, но тяжелый. Старик обвязал ноги оленю, которого ему привели утром за убитого волка, и присел на крыльцо — отдышаться. Потом он взял топор и, долго прицеливаясь, ударил оленя обухом по голове. Олень дрогнул, но не упал, и

только в его старых, замшелых, серых глазах высверкнуло черно-красное. Старик ударил его еще и еще раз, и олень упал. Старик вытер с лица пот, ушел в дом и принес большой таз. Он приподнял голову оленя и подсунул под его шею таз. Олень плакал. Старик взрезал ему шею, и дымная кровь полилась в таз, и он пил ее из таза, пачкая лицо. Он долго пил дымную кровь оленя — это самое ценное лекарство здесь от всех болезней и от старости тоже. А потом, шатаясь как пьяный, ушел в дом, повалился на лавку и уснул.

Вечером Степанов, спавший с Максимом на печке, увидел, как старик, совсем уж и не сгорбленный, легко ходил по комнате, мурлыкая что-то под нос, укладывал рюкзак: видно, он собрался в тайгу.

— Кровь все лечит, — сказал он, увидев, что Степанов не спит, — наша доктор меня за это не ругает. Молодец, старый, говорит, до ста, говорит, доживешь. А мне уже сто три, — засмеялся он.

— Здесь сверни, — сказал Ситонг, вглядываясь в темноту, — и здесь, по ручью, в скалах наши пещеры.

— А может, рванем напрямик? — спросил Степанов.

— Надо сдать пленного. Не повезу же я его во

Вьетнам и обратно. И взять запасное колесо. И шоферу хоть часок поспать: дальше самая опасная дорога через равнину…

23.57

Молоденькая девушка, видимо таиландка, делала стриптиз на маленькой, ярко высвеченной сцене.

«Сейчас она улыбнется, — подумал Эд, — она всегда улыбается в этом месте».

— Когда она начнет стягивать рубашечку, посмотри, как она будет улыбаться, — сказал он Саре.

— Ты уже изучил этот номер?

— А сейчас, когда опустится на пол, она начнет кусать губы и закрывать глаза от страсти.

— Бедная девочка. Вы ее тут, наверное, уже все изучили?

— Она единственная девственница в этом городишке.

— Это ты выяснил точно?

— Это я выяснил точно.

Ему очень хотелось, чтобы девушка хоть на минутку забылась, но она была хорошо вышколена антрепренером, месье Жюльеном, и поэтому она начала закатывать глаза, кусать губы и стонать.

— Что ты будешь пить?

— Виски со льдом.

— А потом устроишь мне истерику, если девочка после номера подойдет к столику? Она часто подходит ко мне и садится рядом, мы беседуем с ней о литературе — как это ни смешно…

— Я забыла, как ревнуют, Эд.

— Ты это быстро вспомнишь.

— Я ревновала тебя, только когда мы спали вместе.

Он смотрел на Сару. Она не видела, как он на нее смотрит, потому что разглядывала зал.

«Как же она красива, — думал Эд, — и как я любил ее… С чего же начался крах?»

Вернувшись из Скандинавии, Праги и Берлина, он написал для газеты, которая субсидировала его поездку, цикл очерков.

Он писал, в частности, что юность мира хочет жить в мире, но им этого не дает делать ненависть и подозрительность, оставшаяся в наследство от уходящего поколения.

«Господин президент, — писал он, — живет мнением советников, выстроивших курс и ставших после рабами этого курса. Стране угрожает бюрократическая олигархия. Если не разрушить замкнутый круг правительственных бюрократов, связанных с интересами монополий, и не соеди-

нить президента и конгресс напрямую с народом, то наша великая демократия может вскорости вылиться в диктатуру плутократии. Политику следует строить, базируясь на Институте Гэллопа, который держит руку на пульсе общественного мнения. Болтать о демократии — еще не значит быть демократом. Наша страна имеет все шансы вскорости сделаться жупелом ужаса. Нами будут пугать детей, господин президент. Ревизия нашей политики необходима. Назад, к Рузвельту — означает вперед, к истинной демократии. Твердость курса хороша только в том случае, если наша программа лучше всех остальных в мире. В противном случае “твердость курса” может означать только одно: трусливое своеволие бездарных плутократов!»

Редактор газеты, для которой он ездил на фестиваль, встретил его, мило похохатывая. Он то и дело гладил свой живот нежным движением руки слева направо: ему объяснили врачи, что это — прекрасный способ помогать пищеварительному процессу, не истощая себя диетой.

— Мальчик мой, — сказал он, предложив Эду сесть рядом, — я прочитал ваши опусы. Но это написано для «Дейли уоркер». Это не для нас, ведь мы — серьезное издание.

Эд пожал плечами, улыбнулся:

— Липпман пишет похлеще.

— Станьте Липпманом. Человек, критикующий наши основы с позиций Липпмана, — это одно, а вы — совсем другое.

— Какое «другое»?

— Малыш, — сказал редактор, прекратив поглаживания своего громадного живота, — не сердитесь на меня, но я скажу вам правду. Вы — *ничто*. Пока — ничто. Каждый человек может написать пару книжек про то, как он ложился в постель со своей первой женщиной. Это даже могу написать я. Когда нашего президента и наш курс бранит Липпман — он выдвигает альтернативу, призванную укрепить наши позиции. Наши, малыш, наши! А не их! Состоявшийся человек — будь он писателем, бизнесменом или врачом — всегда будет отстаивать, *наши* позиции. Бунтарство — удел параноиков, экспансивных бездарей или умных авантюристов, которые поняли, что *нашими* благами они смогут воспользоваться, лишь сбросив нас, а отнюдь не уповая на свои деловые либо интеллектуальные способности. Если бы вы были лауреатом премии Пулитцера или еще лучше — лауреатом Нобелевской премии, я бы с радостью напечатал вашу вещь, не тронув ни

строчки. Это будет хорошая сенсация: один из *наших* восстал против *нас*. Значит, действительно кое-что следует переосмыслить. А сейчас некое *ничто*, научившись слагать литеры в слова, а слова в фразы, выступает против *нас*. А это уже пахнет жаждой крови тех, кто смог добиться чего-то в нашей жизни — своим трудом, ранами, горем.

— Вы что, не хотите меня напечатать?

— Почему? Я же сказал — если вы получите какую-нибудь премию, я напечатаю вас, не тронув ни строчки.

— При чем тут премия? — пожал плечами Эд.

— При том, что политика — это всегда союз нескольких сил, целенаправленных против иного союза сил. Союз предполагает равенство значимости. Я — это я. Я могу постоять за себя. А вы? Чем вы постоите за себя? Чем вы поддержите меня, если мы начнем драку? Мы с вами — против президента и тех сил, которые стоят за него? Зачем мне идти на заведомый проигрыш? Удар обрушится не на вас, написавшего, — мы живем, слава богу, в демократической стране, — а на меня, опубликовавшего это, — редактор ткнул пальцем в листки голубоватой бумаги, лежавшие на его округлых коленях. — Я это все говорю от-

того, что добро к вам отношусь и не хочу вашего духовного краха. Политика — это игра равных, в противном случае это уже не политика — это бунт.

За поездку в Европу Эд был должен редакции полторы тысячи долларов. Он вернулся домой злым и растерянным. Сара сидела в ванной комнате возле большого зеркала и причесывалась. Он поцеловал ее в затылок и посмотрел в зеркало, устремив взгляд в свой взгляд. Сара сказала:

— Знаешь, Уолт сегодня сам ходил, без помочей.

Эд посмотрел в приотворенную дверь: малыш спал в кровати, раскрывшись. Его рыжие кудряшки прилипли к вискам — лето было очень знойным.

— Эд, — сказала Сара, кончив причесываться, — надо нам уехать в пригород, здесь жить невозможно: я очень боюсь за мальчика, такая жара… И тебе там будет спокойнее работать. Сейчас можно купить недорогой дом — возле Шерфелда. Мари написала мне, что там продается дом.

Он рассказал ей о том, как с ним говорил редактор.

— Не обращай внимания, — сказала Сара, — пи-

ши то, что тебе хочется писать.

— То, что мне хотелось написать, я написал, но это не печатают.

— Сядь за повесть.

— Я могу сесть за повесть, если я знаю, какой она будет. Я сейчас не могу сесть за повесть, потому что ее нет у меня в голове. Я сейчас хочу опубликовать то, что я написал, это мой долг.

— Ну так опубликуй.

— Не публикуют, — усмехнулся он.

— Ну и не надо, — сказала Сара, обняв его. — Ну и пусть не печатают.

— А что мы будем есть? И как быть с недорогим коттеджем в пригороде?

— Ну, придумай что-нибудь…

— Что я могу придумать? Я ничего не могу придумать.

Он пошел к себе в кабинет, снял пиджак, бросил его на спинку кресла, развязал галстук. Рубашка прилипла к спине. «Надо надевать майку, — подумал он, — а то кажется, будто оплевали все лопатки». На столе, аккуратно скрепленные зажимом, лежали счета — за свет и от портного. Эд почесал затылок, бухнулся на тахту и стащил с себя мокрую рубашку. Вошла Сара. Она присела рядом с ним. На ней была коротенькая серая

туника.

«Завтра поеду к Тому Маффи, — думал Эд, — он любит резкий и категоричный стиль. Его газета это может взять. Тогда я хотя бы расплачусь с долгом, тогда еще можно будет выкрутиться…»

Сара прилегла рядом с ним и стала целовать его плечи и грудь. Глаза ее были полузакрыты, а красивые пальцы сжимали шею Эда. Она знала, что он очень любил по ночам, когда она гладила его шею — сильно гладила своими длинными нежными пальцами.

— Подожди, Сара, — сказал он, отодвигаясь. — Откуда там счет на девяносто долларов?

Она открыла глаза и сразу же отодвинулась от него. А потом резко поднялась и, выходя из кабинета, сказала:

— Там же написано, милый. Прочти внимательно.

— Сара, — позвал он ее. — Сара!

Она не ответила. Он вздохнул и пошел в спальню. Она сидела возле спящего Уолта, накинув на себя длинный халат.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего, — ответила она, — говори, пожалуйста, тише, мальчик еще должен спать полтора часа…

23.59

Машина теперь спускалась вниз — по узкому ущелью. Ветви огромных деревьев срослись над дорогой, и поэтому казалось, что путь шел через тоннель.

— Можешь включить фары, — сказал Ситонг, — все равно сверху не увидят.

Шофер врубил фары. Свет метался по громадным стволам диковинных деревьев. Несколько раз Степанов заметил вырезанные на коре большие сердца, пронзенные стрелами. Когда фары осветили еще одно сердце, Степанов попросил шофера остановиться. Он вылез из машины и подошел к дереву. Под сердцем были написаны инициалы и вырезана дата: «17 августа 1967 года».

— Ситонг! — крикнул Степанов. — А что тут пониже написано?

— Там написано: «Понг и Кемпет = любовь», — ответил он, не вылезая из машины.

«В августе здесь особенно сильно бомбили, — вспомнил Степанов, — каждый день по нескольку раз. “Понг и Кемпет = любовь”. “Маша и Коля = любовь”. Только у нас пишут не “и”, а “+” «Маша + Коля = любовь”. И вся разница».

Дальше они ехали быстрее, потому что дорога

была не очень изрыта воронками. Впереди замаячили странные фигуры в белых одеждах. Когда машина подъехала ближе, Степанов увидел, что все люди смеются, пританцовывая, что-то поют. Люди смеялись странным, заданным смехом, то и дело утирая со своих впалых щек слезы.

— Что это? — спросил Степанов.

— Похороны, — ответил Ситонг. — Наверное, хоронят бонзу. По обычаю, во время буддистских похорон надо смеяться и радоваться, чтобы не тревожить дух умершего. Он должен уходить на небо провожаемый весельем, а не слезами.

Ситонг открыл дверцу и, попросив шофера притормозить, спросил:

— Кто умер?

Старик в белом халате ответил:

— Мост через ручей восстановили…

— Я спрашиваю — кого хоронят? — повторил Ситонг.

— А? — прокричал старик. — Воронки? Какие воронки?

— Хоронят его внука! — кашлянув, ответил юноша, шедший рядом, тоже в белом халате. — Его вчера убили при бомбежке. Старик оглох, не сердитесь на него… — И он пошел дальше, шмыгая носом, но сохраняя на лице гримасу смеха.

Ситонг захлопнул дверцу и сказал шоферу:

— Нажми, а?.. Можешь как следует поднажать?

Ситонг достал сигарету; разломил ее пополам и протянул половинку пленному. Он очень резко повернулся, протягивая эту половину сигареты, и пленный испуганно шарахнулся: он решил, что Ситонг хочет его ударить.

— По себе мерит, — сказал Ситонг и попросил Степанова: — Переведи ему на американский, что мы не бьем пленных.

— Я его бил, — сказал шофер, — зачем говорить неправду?

— Ты бил не пленного. Ты бил его, когда он был вооружен автоматом и ножом. Ну-ка, притормози.

Впереди по дороге медленно шел старый монах в широкой желтой юбке.

— По-моему, это его святейшество Ка Кху, — сказал Ситонг, — тот такой же сутулый. Останови, подвезем, он, верно, с похорон.

Только когда машина остановилась возле него, Ка Кху обернулся. Он узнал Ситонга и ответил на его приветствие тихим, ласковым голосом. Степанов подвинулся, и монах сел рядом.

— Здесь совсем недалеко, — сказал он, — я бы

мог дойти.

У входа в пещеру их встретил служка Ка Кху — высокий бритоголовый парень. Он обжаривал на костре оленью ногу. Сало, стекая, капало в костер, и от этого огонь ярко вспыхивал, становясь сине-желтым.

— Я скоро вернусь, — сказал Ситонг, — сдам пленного и скоро вернусь.

— А мы пока попьем чаю, — сказал Ка Кху. — Хотя пить чай — это привычка, и моя религия считает привычку самым главным злом в мире, тем не менее выпить крепкого зеленого чая — очень приятно…

— Правильно ли считать привычку главным злом? — спросил Степанов, глядя вслед уезжавшему «газику». — На земле есть кое-что похуже.

— Земля населена людьми, — мягко улыбаясь, ответил Ка Кху, — а люди сотканы из привычек. Привычки — это жалкий слепок сути. Люди стремятся не к счастью, но к привычному понятию счастья. Привычная жажда привычных благ рождает в мире суету, а Будда считает суету злом. Будда — над привычками, и поэтому он счастлив, ибо свободен. Люди закабаляют себя, принимая от уходящих поколений привычки.

— В таком случае, они закабаляют себя и при-

нимая от уходящих привычку верить…

— Верить во что? Вы имеете в виду веру в Будду?

— Не только в Будду… в Иегову, Христа, Мохаммеда…

— Христос — это иное. Христиане ставят человека под власть Бога, они отделяют человека от Бога. А Будда никогда не настаивал на незыблемости своих догм. Принцип Будды — отрицание отрицания. Только мы отрицаем устаревшую догму не с привычной кровожадностью к чужой ошибке, но с уважением к отринутому, ибо оно натолкнуло нас на истину. На ту истину, которая тоже, рано или поздно, будет отринута потомками. Рожденье нового и смерть старого — это звенья одного процесса развития.

— Как бы это получше объяснить людям? — улыбнулся Степанов.

— Людям мешает привычная система мышления.

— Может ли человек избавиться от привычки?

— Будда смог. А каждый человек может стать Буддой, если он готов победить в себе зло.

— Как это сделать?

— Смирить привычную гордыню. Человек должен исповедовать систему вакуума.

— Как это? — не понял Степанов.

Монах поднял с пола пачку сигарет, оглядел ее со всех сторон и спросил:

— Что это?

— Сигареты, — ответил Степанов.

— Почему? А может быть, это — ящерица? Или кабан? Почему это — сигареты? Только потому, что я имею глаза — раз, в пещере есть свет — два, пачка сама по себе имеет форму и цвет — три, мои пальцы ощущают форму — четыре и, наконец, все эти объективные компоненты складываются в понятие, которое отныне будет заложено в меня — в мой вакуум. Как только человек перестанет быть вакуумом, способным воспринимать новое, он делается рабом привычных понятий, он перестает явления пропускать через себя, он духовно погибает. А что логичнее воспринять вакууму: добро или зло? Конечно же добро.

— Добро — не пачка сигарет, — ответил Степанов. — Это не объемное понятие, но термин, который каждый человек понимает по-разному; все зависит от того, в каких условиях, — Степанов улыбнулся, — в каких привычных условиях жил человек, кто его воспитывал и наставлял… Американцы, которые бомбят ваши пагоды и школы, считают, что они сражаются со злом во

имя добра.

Ка Кху тоже улыбнулся и очень мягко ответил:

— Быстрота и категоричность мышления — тоже привычка. Вы торопитесь в вашем мышлении. Наши враги привычно считают, что они выполняют свой долг перед их родиной. Я слежу за радиопередачами из Америки; назовите мне хотя бы одного нашего врага, приехавшего на эту войну добровольно. Непривычно для людей только одно — смерть. А тысячи смертей их солдат заставляют Америку искать зло в происходящем. Поиск зла — это всегда путь к добру. Их солдатами движет не порыв, но привычка выполнять приказ.

— Сдаюсь, ваше святейшество, — сказал Степанов, поднимая руки: он боялся обидеть этого сутулого старика с громадными скорбными глазами.

— «Сдаюсь» — это термин войны, а религия Будды — это учение мира и любви.

— А как быть с любовью? — не удержался Степанов. — Любовь — это тоже привычка?

— Да.

— Значит, любовь порочна?

— Суетна, — улыбнулся Ка Кху. — Что такое любовь? Минутное наслаждение, а после усталость

и пустота…

— Любовь не приносит усталость. Любовь дает силу.

— Вы не правы. Любовь не может быть равноправной, это всегда — борьба. А разве неравноправие может дать силы? Впрочем, Будда не запрещает любить. Будда вообще ничего не запрещает. Будда лишь советует…

К монаху подошел бритоголовый служка и сказал:

— Святой отец, через десять минут у вас проповедь…

— Здесь есть монастырь? — спросил Степанов.

— Нет. Я буду выступать с проповедью по радио. Здесь в пещерах радиостанция.

— О чем будет проповедь?

— Об основной догме нашей веры — взаимоотношение силы и гуманизма.

Степанов закурил и сказал:

— Насколько я знаю, ваша главная догма — гуманизм и сила. Или от перемены мест сумма не меняется?

Ка Кху отхлебнул остывшего чая, нахмурился и ответил — совсем тихо:

— Вы правы. Классический буддизм древности ставил на первое место гуманизм, а уже после

силу, которая необходима каждому, чтобы стать гуманным. Не наша вина, что нам приходится звать народ поначалу к силе, а не к гуманизму. Мы должны быть сильными, чтобы победить, а уж после наступит эта гуманизма — так учим мы сейчас. Нас заставляют бомбежки учить азиатов догме силы. Америка забыла, что нас — половина мира. Это очень страшно, когда половина мира начинает исповедовать догму силы, отводя на второй план догму гуманизма. Но как же быть иначе, — спросил он скорбно, — когда убивают детей и разрушают больницы?

00.31

— Почему ты не пьешь? — спросила Сара.
— У меня скоро новый вылет.
— Когда?
— Через четыре часа.
— Разве нельзя его отменить?
— Можно. Наверное, можно.
— Ну так что ж?
— Я не хочу его отменять.
— Почему?
— Так.
— Что с тобой случилось, Эд?
— А что случилось с тобой, Сара?
— Может быть, правильнее спросить: что слу-

чилось с нами?

— Может быть.

Он вспомнил, как назавтра, после разговора с редактором своей газеты, он поехал к Тому Маффи. Тот прочитал рукопись при Стюарте. Эд сидел на краешке стула: он всегда неловко себя чувствовал, когда при нем читали его вещь.

— Ну что ж, — сказал Маффи. — Занятно, интересно и — главное — во многом справедливо.

Он сидел мгновенье задумавшись, потом быстро закурил, забросил ногу на ногу и неожиданно спросил:

— Как вы представились мне по телефону?

Эд собрался повторить, но Маффи, улыбнувшись, махнул рукой:

— Не надо. Вы спросили меня поначалу, читал ли я ваши книжки. Так?

— Так.

— Как это ни странно, я прочитал вашу книгу год назад, когда летел в Лос-Анджелес. Хорошая обложка, недорого стоит и завлекательно-сексуальное название. На ваше счастье, я вспомнил книгу. Книгу, а не вас. А что такое писатель, имеющий свое политическое мнение, идущее вразрез с общепринятым? Не знаете? Я объясню, — сказал Маффи и подвинул Эду телефонный

аппарат. — Наберите номер и закажите себе билет на самолет, уходящий куда-нибудь через час. Только на тот рейс, где уже нет билетов. Валяйте, валяйте. Если вы просто назовете свою фамилию и на другом конце провода девочки захлопают от восторга крыльями и посадят вас к пилотам — я замолкну. Но вам откажут, Стюарт. Если бы позвонил Хемингуэй — ему бы билет дали. Писатель, Стюарт, — лишь тот, кого знают по имени, даже не читая книжек. В этом, конечно, есть великая таинственная непознанность: иной выцедит пару книжонок, но у него хорошая фамилия, которую легко запомнить, — он победил, он счастливчик. А вам придется мямлить: «Вы читали повесть “Ночь в ватерклозете”? Не помните? Ну там еще кастрируют гермафродита в Валенсии…» А вам ответят: «Не читал, до свиданья!» Можете жить с козлом, но пусть об этом напишут в газетах, пусть вас запомнят, вас и — главное — ваше имя.

— Это несерьезный разговор, — сказал Эд. — До свиданья, мистер Маффи.

— Это очень серьезный разговор, — ответил Маффи, — и не дело мужчинам обижаться друг на друга. Если вы считаете, что я вас оскорбил, попробуйте набить мне морду.

— Мой шеф советовал мне получить Нобелевскую премию, я уже слышал советы, подобные вашим: жить с козлом или получить премию — все это рядом.

— Ну так я вам скажу, почему вас не напечатал толстый в своем официозе, Стюарт. Ваш шеф — смелый человек, и он умеет драться — это я вам говорю. Он не напечатал вас потому, что он мудрее вас. Из литературы вы полезли в политику. Литература — это безответственные эмоции, а политика — это наука, равная математике. Вы предлагаете низвергнуть устоявшуюся систему, Стюарт. Во-первых, кто ее будет ломать? Вы?

— Почему я? И почему ломать?

— Потому что я умею читать и думать — вот почему! И не врите себе и мне, — это детство. Все люди понимают, когда их обманывают, но стесняются об этом сказать в глаза обманщику. Я — исключение. Ладно. Поломали систему. А что будем строить вместо? У вас есть программа созидания? Нет ее у вас. Всегда легче создавать программу разрушения, Стюарт, это в людях от детства, от нежных младенческих игр, когда куклам отрывают головы, а велосипеды кидают под поезд. Устоявшееся настоящее лучше неизвестного будущего. Впрочем, если вы приехали из

Хельсинки с программой Маркса, то я, конечно, напрасно мечу перед вами бисер. В этом случае нам надо не разговаривать, а стрелять друг в друга.

Эд тогда начал метаться: нет груза тяжелее, чем груз неопубликованной рукописи, особенно если тебе двадцать девять и к жажде правды примешано проклятие честолюбия. Деньги кончились, он жил в долг, с ужасом думая — где взять денег, чтобы расплатиться с кредиторами. Он пошел в крайне левую газету.

— Э, нет, — сказали ему там, — нет, Стюарт. У вас нет позиции: вы себя половините. Высказывая правильные вещи о положении в нашем доме, вы называете русских «кремлевскими диктаторами». Зачем? Вы справедливо ругаете и госдепартамент, который поддерживает русских фашистов из НТС, и нашу интеллигенцию, которая спокойно взирает на то, как подкармливают фашизм, но при этом обвиняете советское искусство в утилитаризме. Вы хотите стать над проблемой, Стюарт. А люди не терпят судей, они любят собеседников.

Так, в метаниях, прошло два месяца. Он не спал ночами, его раздражало все: и люди, которые шли по улицам тугой безликой массой, и жар, и

даже то, как Сара гремела тарелками на кухне.

Однажды под утро она его спросила:

— Я совсем перестала быть для тебя женщиной, Эд?

— Ты сошла с ума, — только и ответил он ей.

Одолжив денег, он пригласил стенографистку, мисс Бьюти. Девочке шел девятнадцатый год, но она великолепно работала. Он попробовал передиктовать ей свои очерки, в чем-то смягчить, что-то спрятать, пожертвовать мелочами во имя главного. Он читал написанное и приходил в ярость — на туловище волка баранья шкура не влезала. Он хотел дать все прочесть Саре, но ее целыми днями не было дома: взяв Уолта, она с утра уезжала на Лонг Айленд.

— Ты мне сейчас нужна дома, — сказал он, протягивая ей рукопись.

— Да? — удивилась она. — А я как раз считала, что мое присутствие будет мешать тебе с мисс Бьюти. Ты так мил с ней, и она смотрит на тебя влюбленными глазами…

— Уж не сплю ли я с ней, по-твоему?

— А почему бы нет? Девушка очень мила, в твоем вкусе…

«Женщине, сотворенной из нашего ребра, надо всегда все объяснять, как в школе для дефектив-

ных, — сказал ему уже после, здесь, журналист Тэдди Файн. — Только художники стоят над природой и живут в мире созданных ими же образов. Подруги художников сотворены из обычного человеческого материала. Умозрительно понять разницу между собой и художником, который рядом, — удел добрых гениев. Ты гениальных женщин видел? Я — ни разу».

Теперь на маленькой сцене стоял мальчик в коротких штанишках с проймами и отбивал ногой ритм. Он ослепительно улыбался залу и пару раз подмигнул Саре: он заметил ее, хотя они с Эдом сидели в самом темном углу.

— Сейчас я вам расскажу про мою подружку, — вдруг запел он хриплым голоском, — про девочку, у которой все как у мальчиков, только у нее нет пиписьки!

— Боже ты мой, — охнула Сара, — что поет этот карапуз?! Ужас какой!

— Это лилипут, — ответил Стюарт, — ему пятьдесят два года.

— Я посмотрела на него и ужаснулась за Уолта. — Она достала из кармана несколько фотографий и протянула их Эду. — Самые последние.

Он долго рассматривал фотографии сына, а потом сказал:

— Оставь их мне.

— Конечно, из-за него глупо жить вместе, — сказала Сара. — Вообще нельзя жить вместе из-за детей. А еще противней, когда говорят: «Это его жена и сын, но он не живет с ними». Через пять лет для меня все будет кончено, Эд. Через пять лет мне будет сорок.

— Как ты сюда приехала? — усмехнулся он. — Я даже забыл об этом спросить…

— Я нанялась к этим сумасшедшим старухам журналисткам.

— Зачем?

— Я приехала за тобой, Эд. Ты прилетел сюда добровольно, ты имеешь право добровольно уехать — в любое время.

— А что дальше? То же, что было?

Он вспомнил, как на следующий день после этого глупого скандала, когда она приревновала к нему Бьюти, он разъярился и ушел с утра из дому, но не в редакцию, а к своим друзьям по колледжу.

— Хочется пить, — сказал он.

Глупая ревность рождает глупую измену. Он с содроганием вспоминал тощую рыжую бабу, с которой он тогда спал. Он вернулся домой под утро и долго мылся в ванной, а наутро сказал Саре:

— Я достал денег. Едем на форель, а? Поедем, малыш…

Они уехали на форель, но в машине поссорились — из-за пустяков, из-за сущей ерунды. Ему бы промолчать, а он боялся триппера или еще чего-то после той бабы и не знал, что ему делать, когда наступит ночь и надо будет влезать в маленькую палатку возле реки. Поэтому он раздраженно ответил ей. И она тогда сказала:

— Мы жили, и все было хорошо, пока у нас была постель! Да, да! А теперь этого нет, и все летит к черту! И нечего врать друг другу, люди без этого не могут! Нормальные люди, а не психи! Ты шатаешься целыми днями черт знает где, а я живу как соломенная вдова! Ты существуешь только самим собой и только для себя! А тот, кто живет для себя, всегда прикрывается высокими идеалами!

00.35

Монах Ка Кху привел Степанова на радио. Они спустились в глубокую пещеру. Здесь был «вестибюль» радиоаппаратной. На табуретке сидела шоколадная женщина — Кемлонг. Она поклонилась монаху, встав с табуретки, и подошла к Степанову. Их познакомил неделю тому назад редактор газеты Патет Лао. Кемлонг была кра-

сива — поразительной, странной красотой. А ее нежная застенчивость — и то, как она прикрывала лицо рукой, и то, как, смеясь, отворачивалась, и то, как она внезапно краснела, замечая на себе взгляд, — все это делало ее беззащитной, а потому еще более прекрасной. Наверное, она и не знала, что только слабость делает женщину всесильной. Это, видимо, жило в ней само по себе. В каждой женщине есть свой дар. Это словно счастье: если есть — так есть, и уж нет — так нет…

— Здравствуйте, Кемлонг, — сказал Степанов, пожимая ее тонкую руку.

— Здравствуйте. Как вы поживаете?

— Спасибо. Хорошо.

— Как вы доехали? Не очень устали в дороге? — Она задавала ему обычные здесь вопросы: они входили в состав простого слова «здравствуй». Если не задать всех этих обязательных вопросов, можно подумать, что человек обижен на тебя или совсем не рад встрече.

— А вы еще больше похорошели, Кемлонг. Улыбнувшись ослепительно и белозубо, она закрыла лицо рукой и тихонько засмеялась.

— Давно здесь?

— Нет. Я пришла сюда утром.

— Откуда?

— Из Самныа.

— Это же сто километров, — сказал Степанов. — Пешком?

— Пешком, — снова улыбнулась она. — Я люблю ходить по горам одна.

— А диверсанты?

— Так я ж маленькая, они меня не заметят. А потом, я бегаю быстро.

— Сегодня выступление?

— Да. Поем, — ответила она. — Хотите, посмотрим наше радио?

Степанов видел много радиостанций: холод плафонов дневного света, тяжесть звуконепроницаемых дверей, мощность хромированной аппаратуры, таинственное перемигиванье красных и синих ламп на пультах громкости… Эта радиостанция в пещере была иной — вместо дверей здесь висели тяжелые одеяла, видимо домотканые, аппаратура была старой и примитивной, а свет на нее падал от нескольких керосиновых ламп, поставленных под потолком в ряд на длинной полке.

— Тс-с, — шепнула Кемлонг, приложив палец к губам, — здесь диктор.

Степанов заглянул через ее плечо: возле маленького микрофона сидел босой человек в

ватнике и читал военную сводку, помогая себе жестами левой руки. Когда он перечислял количество оружия, взятого как трофей, голос его ликующе поднимался. Закончив последние известия, он обернулся, выключил микрофон и спросил:

— Ты готова?

— Да, — ответила Кемлонг.

— Пригласи оркестр.

Кемлонг вернулась с оркестром, и диктор, включив микрофон, сказал веселым, несколько даже игривым голосом:

— А теперь слушайте новые песни в исполнении нашей Кемлонг!

Первым громко заиграл гитарист, его точный ритм подхватил аккордеон, а трубач отвернулся в сторону, чтобы не заглушать своих товарищей серебряной пронзительностью звуков, которые он извлекал из маленькой помятой трубы.

Пританцовывая, полузакрыв глаза, Кемлонг запела «Чампу».

«Джаз — музыка толстых? — подумал Степанов, слушая ее песню. — Накладка с этим делом вышла, по-моему».

Музыкантам было холодно, потому что пещера была глубокой, чтобы сюда не доходили помехи

во время бомбежек, а курточки на джазистах были хлопчатобумажные, легкие. Они поэтому особенно яростно притопывали ногами и быстро передвигались, сменяя друг друга у микрофона. Но, видимо, постепенно ритм песни захватил их, и они забыли про холод; только аккордеонист, вконец простуженный, то и дело шмыгал носом и покашливал, опустив голову к перламутровой деке.

— О чампа, мой цветок, — пела Кемлонг, закрыв глаза и откинув голову, — какое счастье близко видеть тебя и чувствовать твое цветенье и бояться, что скоро все это кончится…

— А теперь, — сказал диктор, озорно посмотрев на Степанова, — Кемлонг исполнит песню ламвонг в честь нашего друга.

Кемлонг запела:

Вокруг тебя ночь, но жди!
Пусть грусть, пусть один, но жди!
Пусть ночью идут дожди,
Пусть утром туман, туман,
Ты – жди…

Она стала приплясывать, меняя ритм, приглашая и Степанова танцевать вместе с ней. Лицо ее было сейчас неулыбчивым, строгим, громад-

ноглазым.

Пусть дожди, пусть туман,
Но ты…
жди…
Жди…
жди…

Потом к микрофону подошел монах Ка Кху. Степанов и Кемлонг вышли из пещеры. Млечный Путь запрокинул свои руки, словно в плаче по этой скорбной земле. Ночь была безмолвной и холодной. Черные скалы вокруг были особенно рельефны и близки из-за алюминиевого надменного света луны.

— Здесь есть такие пещеры, — сказала Кемлонг, — в которых песни звучат по-разному.

— Покажете?

— Пошли.

Она взяла его за руку и повела через лощину по едва заметной тропинке к тому месту, где шумел ручей. В густой темноте плавали зеленые точки светлячков. Вход в пещеру был низеньким — Степанов ударился лбом, и Кемлонг испуганно спросила его:

— Больно?

— Очень, — ответил он.

— До крови?

— Сейчас упаду, — сказал Степанов и застонал.

Кемлонг взяла его голову обеими руками, приблизила к себе и сказала:

— Ничего нет.

Степанов засмеялся:

— Я пошутил.

Кемлонг погладила пальцами то место, которым он ударился, и сказала:

— Сейчас все пройдет.

— Уже.

— Что? — не поняла она.

— Прошло.

— Ну, пошли.

И они шагнули в гулкую кромешную темноту.

— У вас нет фонарика? — спросила Кемлонг.

— Есть. Зачем?

— Просто так. Вы станьте здесь, а я отойду вот туда.

— Куда?

— Здесь есть уступ.

— Вы как кошка — видите в темноте?

— А разве кошки видят в темноте?

— Еще как.

Кемлонг усмехнулась:

— Не зря, значит, женщин считают кошками.

Она запела, и голос ее сейчас был совсем иным — низким и гулким.

— Теперь пойдем дальше, — сказала она, — в следующей пещере будет иначе.

— Я ничего не вижу, Кемлонг.

— Я тоже, — улыбнулась она.

Степанов слышал ее шаги, а потом почувствовал ее рядом с собой — близко-близко.

— Когда война, — шепотом сказала она, — очень хочется любить кого-то, кто сильнее.

Степанов чувствовал, что она хочет, чтобы он обнял ее. Это всегда чувствуешь.

Она вздохнула и сказала:

— Пошли в следующую пещеру. Я ее зову веселой.

Кемлонг снова взяла его за руку и повела за собой.

— Здесь опустите голову. Сейчас повернем налево. Вот здесь. Стойте.

Она отошла от Степанова, и он услышал иной голос, повторявшийся разнозвучащим эхом:

Какая же она, любовь?

Огромная, как облако, или маленькая,

как опавший лист?

Кто видел ее – глаза в глаза?

Никто, никто, никто…
А счастье какое? Светлое, как утро,
или пронзительное,
Как одинокие сумерки?
Кто ответит мне?
Эхо, мое эхо, только эхо…

00.40

— Мы с тобой люди разных скоростей, Сара. Каждому человеку сообщена своя скорость. Так вот, наши скорости, как выяснилось, не совпали.

— Пойдем танцевать, Эд. Бог с ними, со скоростями.

— Я не хочу танцевать.

— Я прошу тебя, Эд… Я тебя очень прошу…

— Я не буду танцевать, — повторил он и сразу же подумал: «Зачем я говорю с ней так? Ведь она — единственный человек на земле, который меня любит. Она знала меня вывернутым наизнанку и все равно любит меня. Она знала про всех моих баб и все равно любила меня. У меня у самого комплекс неудовлетворенности — при чем здесь она?»

— Ну, представь себе, что я вернулся, Сара. Что будет?

Она ответила:

— Не знаю.

— Хорошо, ты не знаешь… Тебе легко ничего не знать. Ты всегда пряталась за мою спину: «Эд все знает, он что-нибудь придумает!» А как быть с Уолтом? Как быть с нашим мальчиком?

— Что — мальчик?! При чем здесь мальчик? Не прячься за Уолта. Поживет с отчимом — в конце концов.

— Это запрещенный прием.

— Почему? Ты можешь делать мне больно, а когда я говорю правду — это запрещенный прием?

— Сара, я живу на этом свете только для того, чтобы могли жить вы.

— Ты врешь. И самое отвратительное, что ты сам веришь в эту ложь! Мы здесь ни при чем: ни Уолт, ни я. Ты же все время ищешь! Себя, свою литературу, правду, ложь! А главное — ты ищешь ту, которая тебе нужна, которая вернет вдохновение, съеденное твоим безденежьем и моими скандалами. Ты же сам сказал мне, что у каждого мужчины есть своя женщина-мечта. Вот ты и ищешь эту мечту, а из-за того, что их нет на свете, этих женщин, ты мечешься, а я схожу с ума и старею, разрываясь между собой, Уолтом и тобою. Это так жестоко и нечестно, Эд. Я ни о чем тебя не прошу. Я хочу правды. Понимаешь? Правды

и определенности. Я же обыкновенный человек, Эд… Я не могу как ты… Я хочу обыкновенного маленького счастья, а оно всегда маленькое — это настоящее счастье. Большим бывает только горе.

Когда ему стало совсем плохо, он поехал к знаменитому писателю. Он так запутался в простых сложностях этого мира, что решил поехать к тому знаменитому писателю, который жил безвыездно у себя на ферме: издатели сами приезжали к нему по первому же вызову.

— Научитесь смотреть вокруг себя, как биолог, препарирующий лягушку, — говорил тот, расхаживая по громадному холлу, отделанному мореным дубом, вывезенным из старинного британского замка. — И не лезьте на стенку. Не ищите ничего в сфере чувствований. Мир определяют формы собственности. Я сделал обрезание этой мудрой марксистской догме. Мы отменили рабство, это было непопулярным по форме, но суть рабства царствует в мире: из каждых двух один мечтает быть собственником другого. Это повсеместное явление: в любви, стоматологии, ядерной физике, сельском хозяйстве. Это справедливо. Стюарт, это справедливо, как ни грустно мне это говорить. Иначе и не может быть, потому что тогда начнется хаос. Что будет с деревьями,

если они перестанут принадлежать земле? Или с вашими руками, если они перестанут принадлежать туловищу? Наша демократия — это хаос, но при этом же — преддверие научно продуманного, демократичного по форме рабства. Мы все на грани рабства, Стюарт. Нам говорят, что мы свободны, и нам лгут, но если нам скажут правду, если нам скажут, что мы — рабы, — о, вы поглядите, какая тогда начнется потасовка!

Эд слушал писателя и чувствовал острую ненависть к этому человеку в красной дырявой нелепой кацавейке, который расхаживал по своему громадному барскому холлу и, потешаясь, говорил о том, что терзало мозг и сердце Стюарта.

— А что же делать? — спросил Эд.

Писатель долго смеялся.

— Откуда я знаю, — ответил он, по-прежнему смеясь. — Я не знаю, что надо делать. Все равно вы ничего не поделаете с безумием этого мира. Лучше смотри-те на это безумие со стороны и помните: нет на свете ничего страшнее, как неудачники-правдолюбцы. Они всегда торопят процесс, а исход один — кровь. Так лучше пусть это будет после нас, а?

Прилетев в Нью-Йорк, Эд бесцельно бродил по

городу, путаясь в темных коридорах улиц. Потом он зашел в клуб, где собиралась богема. Раньше он находил здесь успокоение, ему было спокойнее, потому что люди, собиравшиеся здесь, говорили так же, как он писал. Он тогда пил с ними вместе и говорил, никого не слушая, а когда говорили другие, он готовился к ответу и совсем не слушал, что они говорили.

А сейчас он сидел в углу молча и не пил, а просто пытался впервые в жизни понять — о чем же говорят те, кого он считал своими, кого он считал больной совестью страны. Они сейчас, как и всегда, бушевали и спорили, и каждый из них — Эд увидел это очень рельефно, будто при вспышке фотоблица — говорил лишь для себя, о себе и про свое.

«Это же все бездари, — думал он тогда, — и к тому же лентяи. Им надо сидеть за письменным столом, а не за ресторанным. Они импотенты, они ничего не могут. Они могут только хулить, но чтоб создать — нет…»

Он поехал к Маффи.

— Я на лопатках, — сказал он тогда. — Пошлите меня куда-нибудь к чертовой матери, я сделаю для вас то, что вам нужно.

— Я подумаю, — ответил Маффи очень серьез-

но, — спасибо за предложение.

Назавтра он разыскал Эда, пригласил его к себе и сказал:

— В пустыне есть сказочный шейх. Как вы относитесь к сказкам? Я надеюсь — хорошо? Так вот этот шейх проводит ряд интересных комбинаций в своем княжестве: он занятен как личность. Он — хозяин нефти. Естественно, им интересуется и Насер, и русские, и евреи, потому что этот шейх верен нам: у него наши базы и наши советники. В вас, видимо, аккумулировалось много злости. Поезжайте туда и, если шейх вам покажется таким же занятным, каким он кажется «Стандарт ойл», — поддержите его и дайте по зубам тем, кто хочет ему мешать.

Эд знал, что газета Маффи связана со «Стандарт ойл». После года метаний он испытал огромное облегчение, получив задание от другого человека. Он больше не мог жить как раньше: сердце говорило одно, мозг — другое. Руки поэтому не работали. И он полетел на Восток.

00.57

Кемлонг вела Степанова по узенькой дорожке в горы.

— Здесь недолго, — сказала она, — совсем рядышком, на вершине.

— Фонарик можно включить?

— Не надо. Я все вижу.

— А я ничего не вижу.

— Вы идите за мной — шаг в шаг.

— Я так и иду. А где он живет?

— В хижине.

— А бомбежки?

— Он вырыл бомбоубежище. Правда, оно плохое. Оно же не в скалах…

— Почему ему не спуститься в долину? Там можно жить в скалах, это безопасней.

— Он не может оставить дерево «табу».

Они вышли из леса. Тропинка казалась покрытой льдом: так холодный свет луны отражался в маленьких лужицах, оставшихся после недавнего дождя. Эта ледяная, в алюминиевых бликах тропинка вела к одинокому громадному дереву. Ветви его были без листьев, ствол разбит молнией, но дерево казалось могучим и грозным. Черный, четкий рельеф его впечатывался в звездное безмолвие. Звезды здесь были очень яркие, и поэтому небо казалось голубоватым из-за ярко-зеленого перемаргивания далеких светил.

Кемлонг подвела Степанова к маленькой хижине и негромко позвала:

— Бун Ми!

Никто не отвечал.

— Бун Ми! — повторила Кемлонг.

Снова никто не ответил.

Она поднялась по маленькой лесенке в хижину.

— Кто?! — услыхал Степанов гортанный, страшный, похожий на карканье голос.

— Это я, — ответила Кемлонг.

— Кто?! — еще более сердито прокричал кто-то невидимый каркающим голосом.

Кемлонг тихонько засмеялась и стала что-то шептать; Степанов не мог разобрать слов, которые она говорила, но по интонации можно было понять — она шептала что-то очень ласковое и нежное: так говорят с грудными младенцами.

— Зачем?! — прокаркал злой голос.

— Кемлонг, — позвал девушку Степанов, — мне можно туда?

— Сейчас, — ответила она и вышла из хижины. В руках у нее был большой попугай. — Старика нет, — сказала она, — это говорит его птица.

— А где старик?

— Может быть, спустился вниз, за патронами и солью. Вчера на машине привезли товары.

Степанов пошел к дереву «табу».

— Нельзя! — прокричал попугай.

— Не надо, — попросила Кемлонг.

— Почему? Ты веришь, что оно действительно «табу»?

— Я не знаю, — Кемлонг пожала плечами. — Так здесь все говорят.

— Что будет, если я подойду к дереву «табу»? — улыбнувшись, спросил Степанов.

— Старики говорят, что этого нельзя делать: будет горе.

— Прямо сразу, на месте?

— Да. Говорят, что каждый, тронувший это дерево, испепелится.

Степанов пошел к дереву. Его ветви казались руками, открытыми для объятий.

— Нельзя! — снова прокричал попугай, но Степанов уже был возле дерева. Он тронул кору. Она была теплой.

— Хватит, — услышал он голос у себя за спиной.

Он обернулся: Кемлонг стояла рядом, закрыв попугаю глаза.

— Зачем ты подошла? Ты же боишься.

— Я боюсь, когда одна.

— А со мной не страшно?

— Нет. Страшно ведь только первым.

— Верно, — согласился Степанов.

— Только вы никому не говорите про то, что трогали «табу».

— Ладно.

— Пошли к хижине.

— Пошли.

— Этот попугай умеет гадать.

— Ну?

— Да. Возьмите какую-нибудь палочку и нарисуйте череп и цветок. Вот здесь, тут хорошая земля.

— Зачем?

— Птица ответит, что вас ждет.

Степанов послушно нарисовал щепочкой на холодной земле, влажной от росы, череп и цветок. Кемлонг опустила попугая на землю и, став перед ним на колени, шепнула:

— Что его ждет, птица? Ну, покажи!

Попугай прокричал что-то пронзительное и долго щелкал клювом — будто подавился. Потом он поджал левую лапу и ткнул своим клювом в цветок, нарисованный Степановым.

— Вас ждет долгая жизнь, — сказала Кемлонг, — видите, он указал на цветение.

— А если б указал на череп?

— О, это очень плохо, — сказала Кемлонг. — Хотя, — она тихо засмеялась, — я бы соврала

вам: я бы сказала, что череп по нашим обычаям означает долгую-долгую жизнь, а цветок — это символ прощания и смерти.

— Спроси попугая про любовь…

— Я могу ответить сама.

— Ты знаешь, что такое любовь?

— Конечно.

— Так что же такое любовь?

Кемлонг ответила:

— Любовь — это любовь.

Когда они спускались по тропинке, она сказала:

— Сейчас очень важный год.

— Почему?

— Он двенадцатый. Это год Солнца. Он будет или очень хорошим, или страшным и плохим. Наши старики считают, что в дне двенадцать часов, в году двенадцать месяцев, в цикле двенадцать лет.

— В каком цикле?

— А я не знаю. Они говорят, что сейчас — год цикла, год Солнца. В этом году все звезды зеленые, видите? — она посмотрела на небо, остановившись. — А в остальные годы звезды синие и кажутся маленькими. А во-он та звезда — моя. Я родилась под ней и всегда смотрю на нее перед

тем, как лечь спать. Здесь идите осторожней — по жердочке: тут болото.

— Где?

— Давайте руку.

Она повернулась к нему и сказала:

— У вас в глазах отражается моя звезда.

Второй раз Степанов встретился с Эдом в пустыне, километрах в ста от Басры. Там, среди барханов, стоял стеклянный дом странной конструкции. Сюда антрепренер привез немецких танцовщиц, и каждую ночь наряд автоматчиков сдерживал толпу, стекавшуюся на эти танцевальные представления. Возле здания стояли машины. Там стояли самые роскошные машины: «крайслеры», «рольс-ройсы», реже — бело-красные «импалы» и совсем редко голубые «форды». Поодаль, возле двух пальм, стояли верблюды, охраняемые вооруженными людьми в белых одеждах, — это приезжали богатые кочевники, вожди племен.

Именно здесь шейх — владелец крупнейших нефтяных скважин — назначил встречу американскому, русскому и цейлонскому журналистам. Цейлонец заболел и на встречу не приехал. Поэтому за маленьким столиком, в ложе, нависшей прямо над стеклянной сценой, где танцевали

немки, шейх, одетый в традиционный белый бурнус, беседовал с Эдом и Степановым. Он был еще совсем молодым человеком, видимо, очень кокетливым: отвечая на вопросы, он то и дело поглядывал на свое отражение в огромном — во всю стену — зеркале. Говорил он, путая английские, французские и арабские слова. Внизу толстенькая немочка с добродетельным лицом Маргариты исполняла танец живота. Кочевники, которых впускали за огромные деньги вниз, на кресла вокруг сцены, сверлили огненными глазами пухлый живот немки, цокали языками и громко аплодировали, когда танцовщица делала мостик.

— О какой свободе вы говорите? — разглагольствовал шейх. — Посмотрите на мой народ. Они приезжают сюда, за границу, смотреть танец живота, но попробовал бы я разрешить этот танец у нас дома — они бы меня растерзали! Это ж безнравственно — дома! И так упоительно — за границей! Народ темен и полон предрассудков — и этому народу сейчас дать полную свободу? Свобода, дарованная народу, не готовому к свободе, оборачивается кровью.

— Может быть, — спросил Степанов, — народ стоило бы готовить к свободе?

— Посоветуйте, как это делать? — улыбнулся шейх с грустной снисходительностью. — Дать сейчас свободу моему народу — значит отбросить его назад на десятилетия. Свободой воспользуются честолюбивые реакционеры, для которых все зло мира сконцентрировано в стриптизе, ночных барах, где появляются женщины с открытым лицом, и в мужчинах, которые носят европейские костюмы и бреют бороду. Пусть уж лучше меня называют махровым реакционером: я взял на себя тяжкое бремя привести народ к демократии через эволюцию, — шейх снова взглянул на себя в зеркало, — и пусть эту эволюцию охраняет тайная полиция. Ничего, мне это простится в будущем.

Шейх уехал, а Степанов и Эд спустились вниз, в зал.

— Как вам понравился шейх? — спросил Степанов.

— Он интересно думает.

— По-вашему, он думает? Очень люблю думающих людей. На этой земле вообще, по-моему, перестают думать: чем больше люди научились делать, тем они меньше стали думать.

Эд записал слова Степанова в книжечку и заметил:

— Он верно сказал: «Мои люди больше всего ненавидят то, что любят в глубине души».

— Когда монарху нечего сказать — он сыплет афоризмами и цитатами.

— Вы предвзято к нему относитесь. Он ищущий человек.

— Что он ищет? — поморщился Степанов. — Бросьте вы, Эд. Как только он начнет искать, его сразу же спросят: «Почему вы берете себе, ваше величество, восемьдесят три процента прибыли от нефти, а государству оставляете семнадцать?» Что он тогда ответит, хотел бы я знать? Вы были в его княжестве?

— Я туда еду.

— Ну так посмотрите вокруг себя повнимательнее: он не разрешил ввезти партию транзисторных приемников, он боится информации, а информации боятся только тираны. Если раньше уровень национальной культуры определялся количеством потребляемого мыла, то сейчас этот уровень определяется количеством радиоприемников, находящихся в пользовании у народа, и ценой на них в магазинах. Он покупает у вас только ковбойские фильмы, а Крамера, Феллини и Эйзенштейна он запрещает к прокату. Он посадил в тюрьмы двадцать молодых парней за

то, что они обратились к нему с просьбой дать им иностранные паспорта: они хотели поехать учиться в институт Лумумбы.

— Вы надели на глаза шоры, — сказал Эд, — шейх против вас, поэтому вы не хотите видеть в нем ничего хорошего.

— Бросьте, Эд, — поморщился Степанов, — если вы работаете на людей, которым выгоден этот парень в бурнусе, со мной-то зачем так? Мы ж с вами коллеги, у нас может быть свое мнение о происходящем. Пишите что хотите, это ваше личное дело, но зачем прислуживать в разговоре со мной?

Эд сказал:

— Что это у вас за интонация евангелического пастора? Слушать проповеди можно и дома, для этого существует жена!

Степанов перебил его:

— Как Сара?

Стюарт досадливо махнул рукой и подумал: «Русский прав. Я ничего не смогу написать, если не заставлю себя поверить в истинность того, о чем я пишу. Он верно сказал — зачем сейчас-то прислуживать? Впрочем, с большим наслаждением я бы поступил наоборот: я бы в очерках ругал этого кретина с чалмой, а в разговоре хва-

лил — писателя судят по словам написанным, а не произнесенным».

— Возьмем танцорку? — предложил он и поманил немочку, сидевшую неподалеку: после своего номера она пила кофе. — Меня возбуждает доступность, — пояснил он. — Вас — нет?

Немочка улыбнулась и подсела к их столику.

— Давно здесь, козочка? — спросил Эд.

— У меня контракт на год.

— Хорошо платят?

— Хорошо…

— А эти? — Эд кивнул головой на богатых кочевников, сидевших возле сцены.

Немочка сделала большие глаза, покачала головой и приложила палец к губам.

— Зачем вам это? — спросил Стюарт.

— Мой жених — шофер в Гамбурге. Я скоро вернусь, и мы поженимся. Мы не могли раньше пожениться: плодить нищих? Когда я вернусь, мы сможем обеспечить нашу семью.

Тогда Стюарт в первый раз — именно Степанову — сказал фразу, ставшую после его заклинанием:

— На предательство человека толкает не любовь, а обременительное последствие любви — то есть семья…

Он написал в газету Маффи цикл великолепных очерков, в которых он поднял шейха — «человек интересно строит свободу методом жесткого курса». Он писал о парадоксе: диктатура во имя будущей демократии. Через два дня после того как Маффи кончил печатать его очерки, «Стандарт ойл» удвоило субсидии шейху, а через неделю шейха свалили: молодые офицеры расстреляли его во дворце и провозгласили республику.

— Служить — это не значит врать, — сказал тогда Маффи, — мне вы обязаны были сказать всю правду. Апологеты нужны кретинам, которые боятся мыслить и принимать быстрые решения.

Эд снова метнулся в левые газеты, но там его предложений не приняли: у всех был в памяти скандал с «демократическим» шейхом. Тогда Стюарт плюнул на все и пошел работать в рекламу, на телевидение.

01.12

— Так что же будем делать, Эд, — спросила Сара, и на глаза ее навернулись слезы.

— Ты много пьешь.

— Ну и что? Что еще мне остается делать?

Она заплакала.

— Сейчас будет истерика?

Сара вытерла слезы, но подбородок ее по-прежнему дрожал.

— Истерики не будет, милый…

— А что же будет? — спросил он, и огромная грустная нежность вдруг сжала его сердце, когда он посмотрел на нее, — так прекрасно было ее лицо.

Она ответила:

— Будет развод.

Он положил руку на ее холодную длинную ладонь.

— Только ты напишешь просьбу о разводе сейчас, немедленно, — сказала она, — вот хотя бы на этой салфетке.

— Ты вправду этого хочешь?

— А ты?

— А если я не напишу? У нас снова будет все как было?

— Не я в этом виновата, Эд. Тебе нужна другая женщина — сильная, талантливая, жестокая, — она снова заплакала, — она принесет тебе счастье своей нелюбовью. А я своей любовью приношу тебе только горе…

После года работы на телевидении он выпустил несколько лихих передач. Какой-то критик, запомнивший его первую книжку, написал

коротенькую рецензию: «Талантливое самопредательство». Эд несколько раз прочитал рецензию, и все в нем захолодело от сладостной, горькой обиды.

«Вспомнили, сволочи, — думал он. — Когда я погиб, тогда обо мне вспомнили. Тогда я стал нужен и стали жалеть мой загубленный талант! Раньше, когда я мучился, я никому не был нужен, а когда начал просто жить, просто ездить на красивой машине в свой просто красивый, дом, — я им понадобился!» Саре он сказал:

— Все равно меня бы здесь не поняли: я слишком сложно писал. Мне бы родиться чехом или голландцем: маленькие нации любят сложную литературу с непонятностями.

— А когда ты сядешь за роман? — спросила Сара.

Он взорвался:

— Когда ты получишь в наследство от доброго дяди миллион! Или когда я найду в лифте портфель с золотом!

— У тебя же есть сейчас деньги…

— Что значит — «у тебя»?! Мне не нужны деньги: я могу уехать на Аляску! Деньги нужны семье! Нам! Тебе!

— Это же бессовестно — так попрекать меня…

Он сел за роман. Он писал уже не о зле и добре, не о лжи и правде, не об уме и тупости — о чем ему раньше мечталось. Он начал писать о женщинах, чужих женщинах, которые устраиваются на твоей груди, словно на принадлежащей им подушке, о пьяных, радостно-тревожных рассветах, когда мучительно вспоминаешь прожитую ночь и безразлично, устало смотришь на незнакомые мокрые крыши; он начал было выворачивать прожитые годы, как перчатку, но — не смог. Он чувствовал, как на страницы ложится аккуратная полуправда. Он говорил себе, что он боится обидеть Сару, поэтому вещь не идет, но в глубине души он понимал, что он себе врет. Он боялся не Сары, нет, он — просто боялся. «Жизненный опыт — это опыт разумного страха, — сказал тогда он себе, — это точно». В нем поселился второй Эд Стюарт, который тщательно взвешивал, анализировал и отвергал еще в замысле то, что предлагал первый Эд Стюарт.

«Все, — сказал он, — хватит. Надо уметь вовремя выскочить из тележки».

Он прошел летную переподготовку, застраховал себя на сто тысяч и поехал во Вьетнам. Но из тележки он уже полтора года никак не мог выскочить: то ли он привык жить, то ли боялся

смерти.

Эд взял салфетку, разгладил ее и написал прошение о разводе, у него был мягкий японский фломастер, он не рвал тонкую бумагу.

Сара прочитала написанное и улыбнулась:

— Подумают, что на пипифаксе.

— Тебя отвезти?

— Куда?

— Ты где остановилась?

— В твоем доме мне места не найдется на эту ночь?

— Зачем?

— Тогда не надо меня отвозить. Не надо, милый. Я побуду здесь.

— Как ты доберешься потом?

Она постаралась улыбнуться:

— Как-нибудь. Не беспокойся, Эд.

— Прощай, Сара.

— Можно проще, милый. Ты всегда любил театральность. Можно ведь проще: до свиданья. Нет?

— В общем — да.

— Ты придешь меня проводить?

— Когда ты улетаешь?

— Часть наших улетает сегодня ночью…

— Ты с ними?

— Наверное — да.

— Аэродром ты найдешь?

— Найду. Только мне надо еще будет заехать в отель.

— Оставить тебе машину?

— Не надо, милый. Иди. Тебе надо отдохнуть, ты плохо выглядишь. Спокойной тебе ночи. Я доберусь сама, это близко.

Он поднялся и пошел к двери. Больше всего на свете он хотел уйти от нее к той мечте, которой не было. И больше всего он страшился того, что когда-нибудь действительно сможет от нее уйти.

Сара проводила его глазами и написала на той салфетке, где было его прошение о разводе: «Он убил меня под Луанг-Прабангом».

01.26

Эд медленно ехал по темным улицам: отель, в котором он жил, был расположен в пригороде, здесь ложились спать рано, с появлением луны. Опавшие листья шершаво гонялись друг за другом по асфальту. Эд свернул в переулок, слабо освещенный фонарями. Он увидел, как по тротуару старик бегал за собакой. Пес был маленький, дворовый. Он отбегал от старика метров на десять и останавливался. Подпускал старика на шаг и снова отбегал. Эд притормозил, потому что пес

выбежал на дорогу и, ослепленный светом фар, остановился, потом завилял маленьким обрубленным хвостом. Старик упал на пса, задыхаясь. Эд близко увидел его потное лицо с пергаментными висками. Он лежал, тяжело дыша, виновато улыбаясь Эду. Поднявшись на колени, он достал из кармана веревку, обвязал пса за шею и, резко дернув, взбросил себе на спину. Пес завизжал, вытягивая лапы.

— Он задохнется, — крикнул Эд. — Ты задушишь собаку.

Старик, утерев с лица пот, ответил:

— Я и хочу его задушить — я несу его в ресторан.

Эд выскочил из машины и сказал:

— Пусти веревку!

— Это моя собака, — заплакал старик, — я ловил ее весь вечер!

Эд вырвал у него из рук веревку, освободил пса и опустил его на землю. Пес, по-прежнему скуля, понесся по тротуару.

— Зачем вы взяли мою собаку? — тихо плакал старик. — Мне бы уплатили за нее. Я же ловил эту собаку весь вечер.

— Сколько тебе платят за собаку?

— Доллар.

Эд поискал в карманах мелочь и высыпал деньги в костлявые ладони старика. Тот поцеловал руку Эда.

— Я их тоже жалею, но у меня пять детей… Их же надо кормить…

— Ты их душишь?

— Да.

— Веревкой?

— Да, я привязываю на один конец камень и вешаю их в сарае.

— Они очень воют?

— Очень. Я сначала не мог слышать, как они воют.

— А теперь привык?

— К этому быстро привыкаешь, — засмеялся старик, — особенно когда потом платят деньги. Потом даже делается интересно смотреть, как они извиваются и высовывают синий язык.

Эд заглянул в черные добрые глаза старика. В них искорками метался безумный смех. Эд с трудом подавил в себе желание ударить старика кулаком в переносье, так чтобы он упал на асфальт и разбил себе череп, а потом — бежать по тихой улице и орать что есть силы.

Он впрыгнул в машину, и «джип» рванулся с места, стремительно набирая скорость. Эд гнал

по левой стороне и отчаянно сигналил.

Возле своего отеля он резко нажал на тормоза и сидел минуту не двигаясь, сильно зажмурив глаза. Потом устало вылез из машины и медленно пошел к себе. Он хотел принять душ, но в ванной — она была на два номера — заперся его сосед Тэдди Файн, журналист из Балтимора. Он всегда забирался в ванную комнату на час, не меньше.

— Ты скоро? — спросил Эд.

— Нет. А что?

— Ничего. Просто так.

— Хорошо слетал?

— Плохо.

— Когда возьмешь меня с собой?

— Скоро, — ответил Эд и повалился на кровать. Включил лампочку-ночничок и, взяв на ощупь одну из книг, валявшихся на полу, быстро пролистал ее. «Пулэм. Эсквайр».

«Поддавок, а не книга, — подумал он. — Нельзя делать героя глупее писателя».

Эд бросил книгу на пол, потянулся и зевнул.

«Не проспать бы. Я обещал вылететь к утру за той машиной. А зачем она мне? — вдруг спросил он себя, открыв глаза. — На черта мне сдалась та машина? Я похож на этого старика: он вешает собак, а я охочусь за машинами. Мне просто

хочется быть сильнее тех, кто в машине. Мне приятно чувствовать их ужас, когда они станут метаться по голой равнине. Унизив страхом тех, кто внизу, я сам себе покажусь сильным. Разве нет, Стюарт?»

Ему вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь пожалел его. Это желание пришло внезапно, и он почувствовал себя маленьким и беззащитным, вконец запутавшимся — как в детстве, когда самым страшным грехом было принести к Рождеству плохие отметки.

«Заплакать бы, — подумал он. — Легко женщинам, им стоит только открыть шлюзы — сразу польются слезы».

Он стянул с себя куртку и сбросил ботинки на черный паркетный пол. Натянул на голову подушку и шепнул:

— Спокойной ночи, родной…

Но сон не шел. Громадное, как живопись на белой стене, стояло перед ним нежное, любящее лицо Сары.

«Это ты во всем виновата, — сказал он ее лицу. — Ты, и никто больше. И в том, что я не пишу книг, которые у меня в голове, и в том, что я не могу спать с тобой, и в том, что я почти ни с кем не могу спать — разве только с продажными

шлюхами. Во всем виновата ты, Сара, а я никак не могу выбросить тебя из сердца».

Как и всякий слабый человек, Эд Стюарт искал причину своих неудач не в себе самом, но в том, кто его окружал и кто был ему ближе всех…

01.41

Сара попросила принести ей виски и выпила залпом, по-мужски. Она ненавидела эту гадость, пахнувшую ячменем, но обожала то состояние, которое наступает после. Однажды она сказала Эду: «А как было бы здорово, если бы люди изобрели пилюли — безвкусные, как аспирин, и пьяные, словно виски».

В баре сейчас ничего не было слышно, хотя люди кричали: так громко ревел джаз.

«Хорошо, когда ничего не слышно из-за музыки, — подумала Сара, — тогда и саму себя не слышно. Плохо только, что к утру джаз кончит играть свою музыку и наступит полная тишина, и тогда все в тебе закричит — то, что веселилось вместе с музыкой».

— Простите, к вам можно присесть? — спросил ее высокий, рыжий, смешной парень.

— Можно, — ответила Сара. — Конечно, можно.

— Спасибо, — ответил парень, смущенно каш-

лянул в кулак и неловко сел на краешек стула.

Сара посмотрела на его рыжие вихры, на веснушчатый мальчишеский нос и улыбнулась и испугалась, что снова заплачет.

— Я вас тут раньше не видел, — сказал парень.

— А я только сегодня прилетела.

— Вы журналистка? — спросил парень. — Сюда прилетело целое стадо журналисток.

— Стадо? — усмехнулась Сара. — Это верно — стадо.

— Извините, если я вас обидел…

— Ну что вы, — сказала она, — вы меня совсем не обидели.

— Меня зовут Билл Смит.

Сара повторила:

— Билл Смит… Очень категорично… Сильное созвучие.

— Вы смеетесь?

— Ничуть, — ответила Сара. — Просто у меня дурацкая манера говорить вслух то, что думаю.

— Вы танцуете?

— Танцевала.

— Только не говорите, пожалуйста, «когда-то танцевала». Это из кино. Там всегда красивые усталые женщины говорят — «когда-то танцевала»…

Сара поднялась, и Билл поднялся. Он был широкоплечий, на голову выше Эда. Когда они пошли танцевать и кто-то крикнул из зала «браво, Билл», парень покраснел, и его веснушки сделались темно-коричневыми.

— Вы здорово танцуете, — сказал он.

— Да?

— Да.

— Вы тоже.

Билл держал ее за спину — очень осторожно, не прижимая к себе.

Негр, игравший на саксофоне, вываливал голубые белки, заходясь от счастья и ритма.

— Вы меня держите, как ядовитую змею, на дистанции, — сказала Сара и сразу подумала: — «Зачем я это сказала?»

Билл снова покраснел и прижал ее к себе.

— Так ничего? — спросил он.

Сара засмеялась. Негр уронил на грудь свой саксофон и поклонился. Он хорошо играл, и ему здорово свистели. Билл подвел Сару к столику и заботливо развернул ее кресло. На третьем кресле сидел парень в летной форме. Он был еще моложе Билла, но совсем уже лысый.

— Это Самни, — сказал Билл, — он тоже летает бомбить чарли.

Самни молча поклонился Саре.

— Как потанцевали? — спросил кто-то рядом.

Сара обернулась: никого не было.

«Этого мне еще не хватало, — подумала она. — Звуковые галлюцинации начинаются, глупость какая…»

— Что будете пить? — улыбаясь, спросил Билл.

— Ничего не пейте, — сказал тот же голос.

Сара снова обернулась, потом незаметно заглянула под стол: «Может быть, это карлик, который пел гадости?»

— Здесь есть хороший «перно», — сказал Билл.

— Угости даму коньяком, — сказал тот же голос, и Сара поднялась со стула, приложив пальцы к ушам.

Билл упал на стол от смеха.

— Это он, — говорил он, хохоча, — это Самни, он так умеет! Он умеет говорить, не открывая… не открывая… — хохотал он, — рта…

Сара опустилась на стул и улыбнулась, растерянно посмотрев на Билла, а потом на Самни.

— Ну, пока, ребятки, — сказал тот же голос, а после Самни открыл рот и, выдохнув, произнес другим, тонким голосом, таким, каким он разговаривал обычно: — Я их здесь так веселю. Пока. Я скоро вернусь.

— Куда ты? — спросил Билл.

— На вылет.

— Далеко?

— Нет, туда же, где были вы. — Он поднялся, поклонился Саре и спросил: — Вы не рассердились?

— Я испугалась, — ответила Сара.

— Сначала все пугаются. А потом смеются. Очень смеются. Я не прощаюсь: мы вернемся через час — мы ж реактивные, а не тихоходы типа АД-6, — и он подмигнул Биллу.

Глядя вслед ему, Билл сказал:

— Славный парень. Его однажды сбили, мы его отвоевали у чарли с вертолетов, они чуть было не взяли его в плен. Так что же будете пить?

— Виски, — сказала Сара.

— Ого! — сказал он и, быстро взглянув на Сару, снова покраснел.

«Мальчик не знает, как подступиться, — подумала Сара. — Он сам этого хотел, — вдруг подумала она, увидев лицо Эда. — Он сам хотел, чтобы я спала с другим. Тогда ему было бы легче перед собой. И со мной тоже — ночью. Он сам говорил: ничто так не возбуждает, как порочность и доступность».

— Я и так пьяна, — решила она помочь Биллу и густо покраснела. — А если я выпью еще — вам

придется тащить меня на себе.

— Я оттащу, — сказал Билл и начал суетливо искать глазами кельнера, — я оттащу, не беспокойтесь…

01.59

Степанов сидел на большом теплом камне и смотрел на пыльную полосу Млечного Пути. Пересекая Млечный Путь, излучая пульсирующий зеленый свет, медленно пролетел чей-то спутник.

Степанов слышал у себя за спиной плеск воды и тихий смех Кемлонг. Она провалилась в болото и сейчас, взяв у него фонарик, пошла мыться в маленьком озере. Она положила фонарик на камень, чтобы мыться не в полной темноте. Степанов чуть обернулся, доставая из кармана сигареты, и увидел в луче света Кемлонг.

— Холодно? — спросил Степанов.

— Что?

— Я спрашиваю: не холодно?

Она обернулась на его голос, доверчиво посмотрела в темноту и ответила:

— Сначала всегда бывает холодно, а после тепло.

Степанов вспомнил венгерскую художницу

Еву Карпати. Она была похожа на Кемлонг такой же — через край — женственностью и при этом застенчивостью ребенка, считающего себя уродцем. Степанов испытывал чувство острой жалости к таким женщинам; он видел их в старости, и в нем все сжималось от гнева — нет ничего беспощаднее и холоднее времени. Оно ничего не жалеет; безразличие времени казалось Степанову унизительным и неразумным. «Остановись, мгновенье!» — так и осталось заклинанием поэта. Можно остановить коня или ракету, несущуюся со скоростью звука. Нельзя остановить время.

Ева Карпати водила Степанова по своему крохотному ателье и показывала картины, смущаясь того, что она ему показывала. Картины ее были прекрасны: синий, таинственный, грозный лес и девушка с голубыми голубями в нежных ладонях, или сумеречное туманное утро и лицо той же громадноглазой девушки в чердачном окне, и красные черепицы, по которым ходят белые атласные голуби.

Оттого, что она смущалась своего искусства, она писала редко, то и дело бросая кисть. Иногда она резала уже готовые холсты и не заходила к себе в ателье месяц, два, а то и полгода.

— Надо все это вообще кончать, — сказала Ева

Степанову. — Хватит.

— Почему?

— Так… Скучно все это… Сейчас можно писать как угодно, но только не скучно.

— Ева, эта живопись прекрасна.

— Да ну… Я знаю, отчего ты говоришь так.

Она ушла в магазин — купить масла, чтобы сделать яичницу. Степанов сел к маленькому столу, покрытому клеенкой, измазанной краской, и написал тогда стихи — первые в жизни…

— Кемлонг, — сказал Степанов, — вылезай. Замерзнешь.

— Вода теплая, — ответила она. — У меня только макушка мерзнет.

— А почему ваших детей запрещено гладить по голове?

— Так ведь на голове у каждого ребенка — Будда. Его Будда. Можно столкнуть Будду. Кто ж тогда будет охранять ребенка?

Степанов улыбнулся: «Нет ничего прекраснее доверчивости взрослого человека. Когда во взрослом живет дитя — такому можно верить».

Вдруг где-то рядом неожиданно возник грохочущий рев: он возник из тишины. Ничего промежуточного между полной тишиной и ревом не было.

— Самолеты! — крикнул Степанов и побежал к озеру. — Кемлонг! Самолеты!

Грохот был ярко-белым. Все вокруг высветилось неживым, контрастным светом, а после землю резко тряхнуло, и стало темно, и эту темноту запоздало рвануло красное длинное пламя. Он увидел Кемлонг — она бежала к нему и тоже что-то кричала, а потом упала на землю рядом с ним, и тут небо снова было разорвано ревом самолета, заходившего в пике. Степанов подмял под себя Кемлонг, и снова стало светло, и он почувствовал, как мелко дрожит девушка. Громыхнуло еще два взрыва, и он закрыл ее голову руками, потому что боялся, что осколок разобьет ей лицо. Она, верно, тоже боялась, что его прошьет осколками, поэтому она закрыла ладонями его голову. А после стало тихо-тихо, и рев самолета исчез так же резко, как и появился минуту назад…

02.17

«Все равно я без нее не смогу, — продолжал думать Эд. — Хотя именно она подвела меня к тому, что было с другими женщинами. Она виновата и в этом, потому что сказала, что ей не хватает. Как только мужчине скажут, что его мало — он погиб. Проклятый Фрейд».

Эд снова включил свет и закурил. Файн по-

прежнему плескался в ванной комнате.

«Сейчас я поеду за ней, — вдруг понял он, и сразу ему стало легко, и он улыбнулся. — А завтра мы улетим, и пусть все катится к черту — вместе со страховым полисом».

Он быстро поднялся с кровати и забарабанил в дверь ванной комнаты.

— Э, Файн! Ты не утонул?

— Да. А что?

Оттого, что он решил поехать за Сарой и привезти ее сюда, ему стало так радостно, как уже давно не было.

— Вылезай и приготовь нам что-нибудь перекусить. И выпить.

— Жрать на ночь?

— Скоро утро. Я привезу даму.

Файн выглянул из ванной. Длинный, нескладный, он обвернулся в белую короткую простыню и поэтому был похож на римского диктатора.

— Кого ты собираешься притащить?

— Сару.

— Уже началось?

— Что — началось?

— Сумасшествие. При чем здесь Сара?

— Она прилетела сегодня вечером с твоими коллегами женского пола. А завтра мы улетим

домой. Сейчас я ее привезу.

— Ну хорошо, — сказал Файн, — только у меня туго с едой: какие-то орешки и пара банок консервов.

— Ничего. Сделай это красиво, и я привезу чего-нибудь.

— Ты решил помириться?

— Да, а что? — ответил Эд, зашнуровывая ботинки.

— Не передразнивай меня. Манера переспрашивать пришла ко мне от телевизионных дискуссий: когда я переспрашивал, у меня оставалось лишних десять секунд на обдумывание.

— Что ты мог обдумать за десять секунд?

— Чудак, — ответил Файн. — Глупый чудак, из секунд сложена история человечества. Пренебрежительное отношение к секундам — проявление примитивизма.

— Хитрый ты парень, а?

— Я умный, — ответил Файн и ушел к себе в номер.

— Слушай, — крикнул вдогонку Стюарт, — ты умеешь формулировать. Сформулируй раз и навсегда: что может дать семье счастье?

Файн вернулся, сел рядом с Эдом на краешек кровати и ответил:

— Я развелся с тремя женами, а от четвертой сбежал сюда. Могу тебе сказать точно: ни ты, ни я никогда не дадим счастье семье, потому что мы пускаем дым ноздрями, желая удивить мир. При этом мы хотим, чтобы жены нас понимали — во-первых, преклонялись перед нами — во-вторых, принимали все наши сумасшествия — в-третьих. А жене надо только одно: чтобы она со страхом высчитывала свои сроки и боялась только одного — не вовремя забеременеть. Тогда в семье будет счастье, потому что усталая женщина хочет спать, а не выяснять отношения.

— Ты скотина, Файн, — ответил Эд. — Ты злая, циничная скотина. Готовь стол, я через двадцать минут вернусь.

02.26

В баре по-прежнему гремела музыка. Сары за столиком не было. Эд увидел за тем столиком мадам Тань.

— Хэлло, Тань, — сказал он, — вы сегодня очаровательны. Где Билл?

— Мы договорились увидеться здесь, я немного опоздала, и его уже не было. А может быть, он еще не приходил.

Эд поманил кельнера.

— Да, сэр…

— Здесь сидела дама…

— Черная, с голубыми глазами?

— Да. Черная, с голубыми глазами. Это моя жена. Она ушла?

— Я не заметил, сэр. Сегодня что-то особенно шумно. Сожалею, я не заметил.

Кельнер видел, как эта голубоглазая, красивая дама ушла вместе с рыжим пилотом.

— Вы не знаете, где остановились журналистки?

— Сожалею, сэр, я не знаю, где остановились журналистки.

— Позвоните на аэродром и спросите от моего имени: вам ответят.

— Да, сэр…

Он отошел, и мадам Тань спросила:

— Вы сказали правду, что прилетела ваша жена?

Эд усмехнулся и молча покачал головой.

— Вы сегодня такой веселый.

— А вы — красивая.

Тань была красива необыкновенной, ломкой красотой полукровки: на смуглом лице сияли серые длинные французские глаза.

— Как мой мальчик? — спросил Эд.

— Билл прелесть.

— Вы его очень любите?

Тань удивленно посмотрела на Эда.

— Разве таких любят? — спросила она. — Таких жалеют.

— Это теперь называется «жалеть»? В таком случае пожалейте меня.

— Разве вас надо жалеть? Вы такой сильный человек…

— Вы обманываетесь, Тань.

— Нет. Просто вы не знаете про себя ничего. А ваши женщины не умеют понимать силу мужчин. Ваши женщины избалованы вами. Вы им дали равноправие, и это погубило их. И, конечно, вас.

— Это все философия, Тань. А правда заключается в том, что Билл моложе меня и сильней.

— Он маленький, слабый мальчик. Вы, европейцы, все понимаете не так, как надо. Вам кажется, что сила мужчины проявляется только в постели…

— Это неверно?

— Это слишком рационально, чтобы быть верным. Любовь — иррациональна, она должна быть отрешенной от плоти. Сила мужчины проявляется в том, как устало он говорит с женщиной, как он шутит, пьет чай, как он грустит, как он

смущается случайной измены с другой…

— Вы действительно верите в то, что говорите?

— Зачем иначе говорить?

— Откуда у вас мои книжки, Тань?

— Я их взяла в библиотеке, когда узнала от Билла, что вы умеете писать.

— Вы тоже умеете писать.

— Видите, какой вы сильный, — сказала она, — вы не засмеялись надо мной, а добро пошутили. Вы умеете сочинять, а я — писать, это же разные вещи.

Подошел кельнер и, дождавшись, когда Тань кончила фразу, сказал:

— Вот номер телефона отеля, где остановились журналистки, сэр.

— Такой длинный номер?

— Я записал то, что мне продиктовали, сэр.

Эд поднялся.

— Я вынужден попрощаться с вами, Тань.

— Вы домой?

— Да.

— Подвезите меня.

— Пошли. Только я позвоню.

Он зашел в будку. В телефонных будках он всегда чувствовал себя приговоренным к смертной казни.

— Алло, — сказал он, услыхав сонный голос портье, — в котором номере остановилась миссис Стюарт? Соедините меня с ней.

Он слышал длинные гудки и думал: «Лежит и плачет, дуреха».

— Никто не отвечает, сэр.

— Сейчас ответят.

«Нельзя отказываться от прошлого, — продолжал думать он, — каким бы оно ни было. Даже если у нас с ней был час счастья, — а у нас были годы счастья, наши первые голодные годы, — я обязан расплатиться по векселю. Чего мне надо? Я выиграл по билетику из гардероба человека, который верно любит меня».

— В номере никого нет, сэр.

— Пожалуйста, поднимитесь в номер и постучите в дверь.

— Я посмотрел у себя, сэр. Ключ здесь, сэр. Прошу простить меня, сэр…

Опустив трубку, Эд почувствовал, как жарко в этом стеклянном колпаке.

— Все в порядке? — спросила мадам Тань, когда он вышел.

— В полном, — ответил он. — Пошли посидим еще немного, а?

— Нет того, куда вы звонили?

— Что-то я устал, Тань. Пошли сядем.

— Все европейцы устают оттого, что не знают, чего хотят.

— Я американец.

— Это не важно. Вы — белый.

— В общем, верно. А чего хотите вы?

— Спокойствия.

— Хотите выпить?

— Нет, спасибо.

— Закройте колени, у вас слишком красивые ноги.

— Я думала, что надо закрывать плохие ноги.

— Простите, Тань, — сказал Эд, — мне надо еще раз позвонить.

Он набрал номер аэродрома.

— Хэлло, это Эд.

— Хэлло.

— Журналистки улетели или остались ночевать?

— Несколько человек только что улетели в Бангкок.

— Сара Стюарт улетела, не помнишь?

— Твоя жена?!

— Однофамилица.

— Рейс отправлял Кегни.

— Спроси его, а?

— А он уехал.

— Ты не заметил — там была такая черная женщина? Голубоглазая, черная, высокая женщина?

— Черт их знает… Я их видел со спины, отсюда, из будки. У нее большой зад? Там была одна с задом громадным, как ракетодром.

— Нет, — ответил Эд, — у той ничего патологического.

— По-твоему — здоровый зад это патология?

— Нет, ну все-таки, — ответил Эд.

— Кажется, высокая черная женщина улетела…

Стюарт вытер со лба пот и медленно положил трубку на рычаг.

«Дура, — подумал он. — Истеричная дура. Конечно, она улетела! А что ей оставалось делать? Она прилетела ко мне, а я даже не позвал ее к себе. В конце концов она могла бы понять меня: я искал этой войны, чтобы найти в себе силу, а она отняла у меня последние силы. Она никогда не хотела понять меня: она живет по таблице умножения, интегралы не для нее. Ну и пусть… Пусть пеняет на себя…»

В дверях Эд столкнулся с Лэсли.

— Хэлло, Эд, — сказал он, — у твоего второго пилота сегодня великолепная женщина.

— Да? — рассеянно переспросил Эд. — Молодец. Ты куда — спать?

— Нет. Мы бомбим то же место, где катаетесь и вы.

— Ночью бомбить там с «фантомов» бессмысленно.

— Смысл не в том, чтобы разбомбить, а в том, чтобы попугать чарли, — ответил Лэсли. — Пока, Эд.

— Счастливо…

02.44

Степанов и Кемлонг возвращались в пещеры.

— Ситонг, наверное, ищет меня.

— Нет. Он пошел на могилу. Он всегда заворачивает сюда, чтобы зайти на могилу.

— Какую могилу?

— Здесь убили его жену. Диверсанты во время бомбежки стреляли в людей из леса. Она должна была через месяц родить ребеночка.

«Когда есть дети, — вспомнил он слова Ситонга, — не страшно умирать: на земле останется твое семя».

— А ее брату, — продолжала Кемлонг, — оторвало руку, а он художник. И он теперь не может рисовать. — Кемлонг улыбнулась: — В детстве наши родители договорились, что я стану его

женой.

— Почему же не стала?

— А мы не любим друг друга. Мы просто дружим. Он всегда шутит надо мной.

— Он тоже живет здесь?

— Да. Хотите, сходим к нему? У него красивые рисунки.

— Очень хочу.

И снова — без всякого перехода — из тишины вырвался рев самолета. Кемлонг и Степанов упали на землю; раздались близкие взрывы, и самолет начал набирать высоту.

— Фосфор, — сказала Кемлонг, поднимаясь на локтях. — Слышите? Фосфор…

Степанов быстро поднялся: неподалеку, возле пещер, густо белело, словно на утренней осенней тяге вдоль озера стелился плотный туман.

Мимо Степанова пробежал монах Ка Кху.

— Там в пещере дети! — крикнул он. — Там ясли для малышей!

Степанов ринулся туда, обогнав монаха. Споткнувшись возле пещеры, он упал в белый туман, горло его сдавил спазм, и глаза защипало. Он рассек ладонь, сильно ушиб колено, но рывком поднялся и побежал в пещеру, кашляя надрывно и сухо.

Фосфор засасывало в пещеру, словно в вытяжную трубу. Он стелился по полу. Две женщины в белых халатах, Ситонг и Ка Кху то и дело опускались в этот белый, удушающий, плотный туман и поднимали с нар маленьких детишек. Степанов тоже опустился на колени и нащупал в этом плотном, удушающем, тяжелом тумане двух недвижных детей. Он поднял их, прижав к груди. Сначала дети были недвижные по-прежнему, но, глотнув свежего воздуха — тяжелый фосфор не поднимался наверх, — они забились в пронзительном крике.

В пещере стоял страшный, пронзительный детский крик: квадратные рты детей, синие губы, набухшие веки, серые слезы, катившиеся по впалым щекам, — все это было нереальным из-за происходившего ужаса. На груди Ситонга болтался транзисторный приемник. Передавали концерт джазовой музыки; когда кончился твист, раздались аплодисменты и смех далеких людей, сидевших в концертном зале. Степанов побежал с детьми к выходу из пещеры, но Кемлонг крикнула:

— Нельзя! Обратно! Они сейчас будут кидать бомбы!

Кемлонг тоже опустилась на колени и начала

ползать по пещере, ощупывая нары; но всех детей разобрали, и поэтому Кемлонг вытащила из белого дыма пеленки и одеяльца.

— Они фосфором выгоняют людей под бомбы из пещер, — сказала она, прижимая пеленки и одеяла к груди.

Чтобы унять дрожь, Степанов прижался спиной к стене пещеры.

Снова прогрохотали тяжелые взрывы, земля под ногами пошатнулась, и с потолка посыпались мелкие камни.

— Все, — сказал Ситонг, — они отбомбились. Надо детей отнести в госпиталь, это рядом.

И он длинно выругался…

02.44

Сначала Сара пыталась сопротивляться. Билл придавил ее своим тяжелым, мускулистым телом к жесткому матрасу. Он жадно целовал ее лицо, шею, а потом нашел ее рот. Сара вдруг почувствовала слабость, и в голове у нее все стремительно завертелось, и она ощутила себя — на какое-то мгновение, отрешенно и со стороны — чужой и податливой. Она чувствовала, как дрожали ледяные пальцы Билла, пока он неумело раздевал ее. А после, чем ближе был этот молоденький веснушчатый рыжий парень и чем страшней и

нежней ей с ним было, тем больше ей хотелось, чтобы все это сейчас исчезло, ушло, а рядом с ней был Эд, а потом она вообще перестала чувствовать что-либо, кроме себя, только себя, и этого парня, который был с нею…

02.47

— Ты сошел с ума, — сказал Файн, увидав в дверях Стюарта с мадам Тань. — При чем здесь Са…

— Тэйк ит изи! — прикрикнул Эд. — Мадам Тань и я любим друг друга.

Тань засмеялась своим серебристым смехом.

— Мы не умеем любить, — сказала она, — мы умеем быть покорными, а вы принимаете это за любовь.

— Покорность — это и есть любовь, — сказал Эд. — Как ты думаешь, Файн? Ты же у меня теоретик.

— Я думаю, что покорность — это начало бунта. Женщина должна быть ершистой и злой. И обязательно неожиданной. Только тогда мужчина пойдет за ней на край света.

— Такой может быть любовница, — сказала Тань, — на короткое время. Только жадных и властных женщин пугают любовницы. Мужчины всегда возвращаются к покорным и любящим.

— Да? — спросил Файн. — Черт его знает. Может

быть… Будете пить?

— Нет, благодарю вас, — ответила Тань.

— А ты, Эд?

— Я выпью. С удовольствием выпью виски. И совсем безо льда. Просто пару добрых глотков виски.

— Тебе же скоро лететь…

— К черту. Никуда я не полечу. Пусть они проедут и поблагодарят за это очаровательную и покорную мадам Тань. Пусть они спокойно проедут по равнине и помолятся за меня своему богу.

— Их бог, — задумчиво сказала Тань, — является также и моим.

— Ваш бог стал нашим, — засмеялся Эд. — Бог всегда на стороне сильных.

— Сказал Адольф Гитлер, — добавил Файн, — в одной из своих исторических речей. Не трогай бога, Эд, он не любит, когда за него говорят земляне.

— Ты веришь в Бога?

— Нет. А что?

— Просто занятно…

— Я его боюсь…

Тань сказала:

— Включите какую-нибудь музыку, а то вы

погрязнете в своих философских спорах.

— Включи радио, дерево, — сказал Эд. — Дама хочет музыки и не хочет философии.

— Наоборот, — сказала Тань, — я хочу философии, но только такой, которая разумна. А ее сейчас нет.

Эд и Файн переглянулись.

— Вы всерьез интересуетесь философией? — спросил Файн.

— Я закончила университет в Дели.

— И вас не устраивает философия?

— Почему? Я люблю философию древних и нелюбимого вами Энгельса. А современной философии попросту нет — как можно ее любить или не любить? Нельзя любить несуществующее.

— Почему? — спросил Эд. — Мы ведь любим мечту. А это — несуществующее.

— Нет, — мягко возразила Тань и положила свою маленькую горячую руку на плечо Эда, словно сдерживая его. — Мечта существует, потому что существуете вы, прародитель мечты. Мечта — это неудовлетворенность прошлого, опрокинутая в будущее вашим настоящим.

Файн зааплодировал.

— Каждая эпоха, утвержденная научными открытиями, рождала свою философию. Когда

научно утвердилась гидравлика, сменившая ручной труд на мельницах, родилась философия Вольтера и Руссо, философия революции. Когда утвердилось электричество, открытое практиками науки, родилась философия Маркса. А сейчас расщеплен атом и сфотографированы гены. Где философское обобщение этого?

— Боже мой, — сказал Эд, — вы, оказывается, тоже мыслящая женщина?

— Я думала, вам это нравится, — улыбнулась Тань. — Я это говорила для вас. Я люблю совсем другое… Женщина должна любить только то, что нравится мужчине.

Тань сняла кофточку. Спина ее была совсем открыта, грудь четко вырисовывалась под легкой тканью платья.

Файн увидел, как Эд смотрел на женщину, и сказал:

— Ну, счастливо. Я снова залягу в ванну.

Тань колокольчиком рассмеялась.

— Нет уж, — сказал Эд. — Лучше ты не занимай ванну. Она может в любую минуту понадобиться.

— Кому? — ухмыльнулся Файн.

— Нам, — ответил Эд и положил руку на мягкую коленку мадам Тань.

02.44

Художник был в пещере не один: в углу, на нарах, тесно прижавшись друг к другу, спали три мальчика и, чуть поодаль, старуха, прижавшая к себе младенца.

— Его зовут Кхам Бут, — сказал Ситонг. — Знакомься, Степанов.

— Здравствуйте.

— Добрый вечер. Как ваше здоровье? Как добрались, не очень ли устали в дороге?

— Спасибо, все в порядке.

— Пожалуйста, протяните вашу левую руку, — попросил художник.

Степанов вытянул руку, и Бут, достав из нагрудного кармана толстую нитку, начал обвязывать его запястье. Он никак не мог управиться одной своей левой рукой, нитка то и дело выскальзывала у него из пальцев. Степанов заметил, как у Бута под кожей, возле ушей, перекатывались острые желваки.

— Помочь? — спросила Кемлонг.

Бут, не отвечая ей, продолжал завязывать нитку на запястье.

— Ты не торопись, — посоветовал Ситонг. — Не торопись, и все получится.

Бут выронил нитку и, взглянув на Кемлонг,

сказал:

— Рыбка выскользнула. Кемлонг, хоть ты у нас и неуклюжая, все же теперь ловчей меня. Завяжи ему ниточку ты.

— Это обычай, — пояснил Ситонг, — ниточкой он привязывает к твоей руке свою душу, чтобы она оберегала тебя на этой войне.

Кемлонг обвязала ниточкой запястье, стянула узелок и сказала:

— Кхам Бут, гость хочет посмотреть твои рисунки. Ему интересно, как ты рисуешь…

— Рисовал, — поправил ее художник и жестко усмехнулся. — Птичка пела, а ворона только каркает.

— Э, — поморщился Ситонг, — рисовать можно и левой рукой. Рисовать — не стрелять, — добавил он и засмеялся. — Правда, Степанов?

Кхам Бут внимательно посмотрел на Степанова, который ничего не ответил.

— У меня в Москве много друзей-живописцев, — сказал Степанов. — Я люблю сидеть у них в мастерских.

— Запах скипидара? — улыбнулся Бут. — Живопись имеет приятный запах, да? Я мало знаю художников. Когда я учился в Америке, я часами простаивал возле картины русского художника

Кандинского «Я и моя деревня». Я думал, что он это писал и про мою лаосскую деревню.

— Спасибо, — тихо сказал Степанов, не в силах отвести взгляда от громадноглазого, худого лица Бута.

— Он что, твой родственник? — спросил Ситонг.

— Кто?

— Ну, этот… Русский художник в Америке?

— Нет. Почему?

— Зачем же ты благодаришь?

Кхам Бут снова усмехнулся. Усмешка его была жесткой и внезапной.

— Пошли, — сказал он, — я покажу вам кое-что. Вообще-то все — мура. Я только начинал искать.

Он зажег еще один керосиновый фонарь и достал из-под циновок два блока. Первый — большой, коричневый — он отложил в сторону, а тот, что был поменьше, открыл резким жестом, будто дирижер, начинающий работу. Он начал неторопливо раскладывать по кремневому полу пещеры свои рисунки. Живопись его была пронизана синим громадным солнцем.

— Любите Ван Гога?

— Очень. Заметно, что подражаю?

— Не подражаете. Продолжаете. Подражателем

быть плохо, продолжателем — почетно.

— Спасибо.

Ситонг снова засмеялся:

— Неужели все художники только и благодарят друг друга?

— Какой ты черствый, — сказала Кемлонг. — У тебя совсем огрубело сердце.

— У вас солнца через край, — сказал Степанов, разглядывая живопись. — И трав тоже.

— Через край? — не понял Бут.

— Это значит много, — пояснил Степанов.

— Пишешь всегда то, что хочется видеть. Мы же лишены здесь солнца.

— Вы любите музыку?

— Я знаю, отчего вы меня об этом спросили, — сказал художник. — Ваш композитор Скрябин делал музыку цвета.

— Верно.

— Интересно бы это посмотреть. Вообще, я думаю, живопись не нуждается в музыке. Если это самовыражение художника — там обязательно будет и музыка, и скульптурная форма, и философия.

— А что во втором блоке? — спросил Степанов и потянулся рукой к плоской коричневой папке, лежавшей поодаль.

— Это — так, ерунда, наброски, — ответил Бут, — это совсем неинтересно.

Он как-то слишком торопливо поднял блок, чтобы забросить его под циновку, поэтому блок выскользнул из его пальцев, и на пол посыпались рисунки. Это были одни только портреты Кемлонг: вот она смеется, а вот поет, а здесь — купается в зеленом пруду.

Художник метнулся растерянным взглядом, увидел застывшее лицо Кемлонг и, опустившись на колени, начал ползать по полу, суетливо собирая рисунки. Степанов опустился рядом с ним и помог ему собрать рисунки.

— Спасибо, — сказал Бут и снова метнулся взглядом по пещере: Кемлонг уже не было.

— Ну что? — спросил Ситонг, отхлебнув холодного чая. — Пора трогать, а? Надо ж равнину проскочить в сумерках. Мы там как мишень: голое место… Ни камня, ни деревца… А то, может, поживем тут денек? А?

— Нет, поедем, — сказал Степанов.

Он очень торопился сейчас, потому что ему надо было как можно скорее рассказать людям про то, что он здесь увидел.

— Скажи ему, чтоб он не горевал, — сказал Ситонг. — Вы ж одного поля ягоды — ненормаль-

ные… Скажи ему, что прожить можно и без руки.

— Прожить, — кивнул головой Бут. — Именно — прожить.

— Будто ты не можешь жить без этих своих рисунков… — сказал Ситонг.

Кхам Бут поглядел на Степанова, словно ища у него защиты.

— Жить — нельзя. Прожить — можно.

— Брось, — сказал Ситонг. — Надо только сказать себе злое слово. Надо уметь быть сильным.

— Сильнее себя человек быть не может, — сказал Степанов.

— Может, — упрямо повторил Ситонг. — Может. Человек все может.

— Я пробовал рисовать левой, — словно оправдываясь, сказал Бут, — но это очень плохо. Я почувствовал себя немым: все слова слышу, а сказать ничего не могу. Я пробовал к этой культе, — он тряхнул обрубком правой руки, — привязывать кисть. Ничего у меня не вышло, мазня одна… Вышла мазня… Я говорил себе: если ты настоящий художник, пусть тебе отрубят обе руки — не погибнешь; если есть что сказать людям — ты скажешь этой песней. Пусть отрежут язык — ты все равно будешь думать свое. Я так сначала говорил себе… А когда попробовал привя-

зать кисть к культе и ничего не вышло, тогда я…

— Когда победим, — сказал Ситонг, — мы заставим американцев построить для тебя специальный протез.

Кхам Бут опустил голову, спрятав лицо в коленях.

Ситонг обнял его за плечи, и лицо его мелко затряслось.

— Ну что ты, что ты? — ласково, совсем иным голосом — такого голоса Ситонга ни разу не слышал Степанов — заговорил он. — Ну не надо, брат мой, ну не надо же, любимый брат мой… Разве можно так жалеть себя?

Степанов вышел из пещеры. Кемлонг стояла возле дерева и рисовала пальцем на коре замысловатый узор.

— Пойди к нему, — сказал Степанов.

Она отрицательно покачала головой.

— Почему?

— Я не люблю его.

— Ты знала про эти рисунки?

— Нет.

— Пожалей его.

— Разве можно жалеть мужчину? Он тогда погибнет.

— До свиданья, Кемлонг. Мы сейчас уезжаем.

— Я знаю.

— Ты очень хорошая девушка, Кемлонг.

— Я знаю, — пожала она плечами, по-прежнему рисуя пальцем замысловатый узор на коре дерева.

— Мне жаль уезжать.

— Дайте мне вашу руку, — попросила она.

Кемлонг обвязала его запястье красной шелковой ниточкой и сказала:

— Это я вам дала свою душу на дорогу…

03.40

Файн сидел возле включенного диктофона и неторопливо курил.

— Неужели в мир пришла ночь? — заговорил он, поставив нужную тональность записи. — Неужели двадцатый век — последний век человечества? Этого человечества?

Файн отмотал запись, прослушал свой голос и досадливо затушил окурок в пепельнице, сделанной из половинки шариковой бомбы. Стер написанное и начал диктовать снова:

— Люди, считающие, что они служат долгу, попросту выполняют то, что *время* запрограммировало в их генах. Мы все запрограммированы, сейчас уже с этим не спорят. Когда-то древние знали про это. Недаром осталась мудрость: «Тот,

кому суждено быть повешенным, не утонет в луже». Раньше *время* было медлительным. Его называли рекой. Теперь оно стремительно. Отчего оно так убыстрилось? Наверное, оттого, что *оно* не хочет открыть нам свою тайну. Главную тайну. Поэтому *оно* заставляет нас прожигать и проживать время жизни. Оно подгоняет нас, выдвигая иллюзорные мечты, мы гонимся за ними, пробегая сквозь время. Мы не успеваем осмыслить происходящее: *время* готовит нам одну феерию за другой. Память мира стала, как никогда, короткой: так бывает в концерте, где отличные номера следуют один за другим. Этот наш бег за мечтой порождает усталость. И мы передаем эту усталость потомкам. Мы программируем усталость в будущем через гены наших детей и внуков. Видимо, мы слишком близко подошли к тайне *времени*. Мы начали выходить из-под контроля. И *время* тогда, поняв, что впрямую нас не победишь и прошлое — спокойное прошлое — не вернешь людям, а следовательно, и ему самому — позволило простой микроскоп сделать электронным и помогло тем, кто слепо тыкался носом вокруг проблемы наследственности, сфотографировать клетку ДНК. *Время* решило столкнуть количество открытого людьми с их разумом, который не в

силах это открыто осмыслить. И тогда *время* помогло Виннеру создать кибернетического робота. Это был самый коварный ход *времени*. Человек, преклоняющийся перед творением рук своих, перед всезапоминающим и всевычисляющим роботом, обречен на умильное рабство. Робот будет служить не человеку, как он надменно думает, но — времени. Спасти от гибели можно только верующих рабов. Богов свергли. Робот — бог будущего. Боги — слуги времени. Время нас снова обыграло. Человечество, погрязшее в маленьких личных, групповых и государственных заботах, уже проиграло, не заметив этого катастрофического проигрыша. А порой даже аплодируя поражениям — когда выдавали Нобелевские премии мудрецам от математики и электроники. Эти мудрецы были невольными *провокаторами времени*. Не зря инквизиция жгла на кострах тех, кто дерзал думать шире пределов, утвержденных религией: видимо, папские нунции, лишенные радостей плотской, простой жизни, мечтали, чтобы этим простым счастьем наслаждалась их паства. Паства дерзко отринула этот путь устами Галилея, который сказал, что шарик все-таки крутится. Будь он проклят, этот вздорный старик, этот вздорный старик… Только равенство

мысли могло бы уравнять людей в их правах и обязанностях. Но разве люди согласятся уравнять себя в мысли? Личный агент *времени* в каждом из нас — честолюбие и алчность — не позволит сделать этого. Маленькие люди заняты своими маленькими радостями, крохотными горестями и глупенькими страстями. *Время*, наблюдая нас, видимо, потешается: «На что замахиваетесь, мыши?»

Файн выключил магнитофон и, откинувшись на спинку старинного, с истертыми валиками кресла, закурил и почувствовал, как у него устало расслабились мышцы живота.

Он потянулся и закинул тонкие руки за голову. Возле окна, в дальнем углу номера, запел сверчок. Файн долго слушал, как поет сверчок, а потом — неожиданно для самого себя — заплакал. Он включил диктофон и поднял микрофон, чтобы песня сверчка явственнее записалась на пленку. Он долго сидел с вытянутой рукой и, улыбаясь, счастливо плакал, слушая, как пел сверчок. А когда он замолчал, Файн сказал в микрофон:

— У времени добрая песня…

04.07

— Поставь будильник на пять часов, — сонно пробормотал Билл. — Я хоть часок вздремну. Мы

в пять должны вылетать…

— Я разбужу. Спи, — сказала Сара. — Я разбужу тебя в пять.

— Мы разбомбим эту машину с чарли и быстренько вернемся.

— Спи. Спи, — повторила Сара. — Спи же ты…

— У меня очень свирепый командир. Мне нельзя проспать.

— Спи. Я тебя разбужу.

Саре показалось, что парень уснул. Она осторожно отодвинулась от него. Ей хотелось бежать отсюда, но парень обнял ее, прижал к себе и спросил:

— Куда ты?

— Никуда. Просто мне жарко.

— Нет. Лежи рядом. Я не буду спать, я только подремлю пятнадцать минут, — он поцеловал ее в шею. — И сразу проснусь. И у нас еще останется полчаса на любовь. Поцелуй меня.

Сара прикоснулась губами к его щеке.

— Нет, поцелуй меня так, как раньше.

— Я устала.

— Ты думаешь, я не устал? Я тоже очень устал.

— Поспи. Поспи немного.

— Хорошо. Совсем немного. Разбуди меня через десять минут. Ладно?

— Хорошо.

И Билл уснул: он всегда засыпал сразу, как ребенок.

04.29

— Я не мешаю тебе своими коленками? — спросил Ситонг.

— Нет, что ты, совсем не мешаешь.

— Я взял еще две канистры на обратный путь и продовольствия, поэтому стало так тесно.

— Ты на границе не отдохнешь? Там хорошее убежище.

— Нет. Надо возвращаться на фронт, — ответил Ситонг. — Там дел много. Ну-ка, поддай скорости, — попросил он шофера. — Надо поскорей проскочить равнину.

— Я и так гоню, — сказал шофер. — Равнина очень красивая, — обернулся он к Степанову. — Вы ее днем не видели?

— Чего красивого может быть в равнинах? — удивился Ситонг. — Красиво бывает только в горах.

— Почему? — спросил Степанов.

— Потому что в горах неизвестно, что будет дальше. Поднимешься на вершину — и видишь: водопад. Поднимешься на вторую — а там ульи с медом; опустишься в ущелье — а там олень стоит.

А равнина — что? Как жизнь: заранее знаешь, что в конце помрешь…

— В равнине можно построить красивый город, — сказал шофер. — Кхам Бут, когда был с рукой, нарисовал такой город: он весь стеклянный. Когда мы победим, в тот город станут приезжать люди со всего мира — отдыхать, и охотиться, и ловить рыб в горных потоках, стремительных как любовь, — закончил он обязательной саванакетской цветистостью.

— Жаль только, — задумчиво улыбаясь чему-то своему, далекому, сказал Ситонг, — что у нас нет снега.

— А у нас жалеют, что мало лета, — сказал Степанов.

— Всегда жалеют о том, чего нет, — сказал Ситонг. — Вообще-то снег — это очень красиво.

— В нем много высокой эстетики, — сказал Степанов, — особенно когда его вспоминаешь, а не идешь по нему босиком…

— А что такое эстетика? — спросил шофер.

— Эстетика? — переспросил Степанов и пожал плечами. — Черт его знает… Наверное, это — когда уважают человека. В жаре нет эстетики, например.

— Жара — это ничто, — засмеялся шофер. — Как

же может ничто уважать человека?

— Жара — это нечто, — сказал Ситонг. — Ведь ты реагируешь на нее?

— Я на нее потею, — ответил шофер, — а не реагирую.

Ситонг спросил Степанова:

— Ты любишь снег?

— Очень.

— Я тоже очень люблю снег, — сказал Ситонг. — Я очень любил подниматься на фуникулере в Париже, когда шел снег.

Степанов вспомнил фуникулер в Татрах. Он тогда забрался на самую вершину — думал только посмотреть на Татранскую ломницу, но начался буран, и водитель фуникулера вошел в маленький ресторанчик, отряхнул с фуражки снег и сказал:

— Будем отдыхать.

В ресторанчике было четыре человека: краснолицый седой австриец в спортивной ношеной куртке, женщина-горнолыжница, сидевшая возле самого окна, парень, игравший на губной гармонике, и Степанов. Водитель фуникулера ушел на кухню, и оттуда был слышен его рокочущий голос, — наверное, он пил пиво и поэтому так довольно рокотал.

Австриец спросил Степанова:

— У вас нет огня?

— Есть. Пожалуйста. — Степанов протянул ему зажигалку, и австриец прикурил треснувшую, намокшую сигарету.

— Спасибо, — сказал австриец. — Хороший снег, а?

— Снег дрянной, — сказал парень, перестав играть на губной гармошке. — Если он не прекратится, надо будет здесь ночевать.

— Ну и прекрасно, — сказал австриец, — это ж приключение. Что может быть лучше приключений в нашей жизни?

Парень показал глазами на женщину, сидевшую спиной к ним возле окна, и ответил:

— Любовь лучше приключений.

Австриец громко крикнул:

— Эй, кто-нибудь!

Из-за занавески выскочила девушка и сказала:

— Просим вас…

— Сливовицы… Пять крат, — показал на пальцах австриец.

Девушка сделала испуганные глаза и побежала выполнять заказ.

— Девушка, — попросил ее Степанов, — мне тоже. Пять крат.

Степанов вообще не хотел пить, но его всегда злило и обижало, когда за границей он видел седых, краснолицых буржуев, делавших то, что им хотелось делать.

— Приятно шумит ветер, — сказал австриец, — особенно это приятно, когда сидишь возле раскаленной печки и можно выпить.

Буран крутил все сильнее, и парень, спрятав губную гармошку, сказал:

— Пойду хлопотать о ночлеге.

Он посмотрел на женщину и, подойдя к ней, спросил:

— О вас позаботиться?

— Спасибо, — ответила женщина, не оборачиваясь, — не надо.

Парень пожал плечами и вышел. В ресторанчик, когда он открывал дверь, залетел снег — огромные белые хлопья. Они быстро растаяли, сделавшись грязными каплями воды на дощатом, плохо крашенном полу.

Австриец подошел к музыкальному автомату и бросил туда монетку.

Женщина обернулась и сказала:

— Какая громкая музыка.

— Разве это плохо? — спросил австриец. — Это хорошо, когда громкая музыка. Хотите выпить?

— Нет. Не хочу, — ответила женщина и, помедлив, добавила: — Благодарю вас.

Она была смуглой, но загар у нее был нездешний. Тут, в горах, загар бывает бронзовый, очень яркий, а потому — недолгий.

Австриец опрокинул подряд две рюмки, вытянул ноги, откинулся на высокую спинку и закрыл глаза.

— Боже ты мой, — сказал он, — как это хорошо, когда в горах шумит буран. Когда человечеству делается скучно, оно начинает войны. А горнолыжники, когда им скучно, уходят в буран, и у них проходит и скука и злость.

Степанов отошел к окну.

«Мело, мело по всей земле во все пределы, — вспомнил он, — свеча горела на столе, свеча горела...»

Женщина обернулась и поглядела на австрийца. Он курил, тяжело затягиваясь.

— Выключите, пожалуйста, эту дурацкую музыку, — попросила она.

Степанов сделал шаг к музыкальному автомату, но пластинка кончилась, и стало тихо, и особенно слышным сделался буран и рокочущий голос водителя фуникулера на кухне.

— Вам не холодно возле окна? — спросил Сте-

панов.

— Нет.

— Издалека приехали?

— Да, — ответила женщина и поднялась. Надев шапку, она вышла из ресторанчика.

Австриец поднялся и спросил:

— Посмотрите, она начала спуск?

— Куда? — не понял Степанов.

— Вниз. Она всегда ждет бурана и спускается вниз через метель.

Степанов смотрел на снежную мглу, но ничего не смог увидеть.

Австриец застегнул свою куртку, допил сливовицу и сказал:

— Если бы эта женщина смогла меня полюбить, я был бы самым счастливым человеком в мире.

Степанов заметил, что австриец сейчас уже не был краснолицым. Он видел только, что он седой, а лицо у него стало бледное и скулы обтянуты щетинистой кожей.

— В мире, — сказал он очень грустно, — есть одна-единственная женщина, которая может дать счастье, но она всегда принадлежит другому.

И он ушел, и Степанов увидел, как сквозь метель промелькнула стремительная тень, — австриец погнал вниз, следом за этой молчаливой,

смуглой, совсем не красивой женщиной.

04.47

— Вы просто устали, милый, — сказала Тань, целуя Эда.

Эд повернулся на спину и закурил.

— Ты все знаешь, Тань? А? Ты знаешь все?

— Про мужчин я знаю все, — улыбнулась она в темноте, — а про себя я ничего не знаю.

— Наверное, в моем возрасте уже нельзя ложиться с женщиной, если не любишь ее. Или хотя бы не увлечен самую малость.

— Вы хотите обидеть меня?

— Прости. Просто такая дурацкая привычка — рассуждать о себе вслух.

— А я думала, что писатели чаще думают о других.

— Ты тоже думаешь? — сказал он жестко. — Кто бы рядом со мной хоть немного не думал, а?

— Поспите, милый, — сказала она, обнимая его своей тонкой, прозрачной рукой, — вам надо отдохнуть. На этой страшной войне вы совсем не щадите себя.

— Ты заплачешь, если я ударю тебя, Тань?

— Если вам станет легче — ударьте. Я не заплачу. Хорошо, что вы сказали, а то я бы очень удивилась. Меня никогда не били.

— Это хорошо.

— Я любила первого мужчину. Побои нравятся тем женщинам, которые поняли любовь после насилия.

— А кто был твоим первым?

— Муж.

— Где он?

— Его убили.

— Когда?

— В позапрошлом году.

— Кто?

— Вы. Он попал в бомбежку.

— И ты можешь лечь со мной в постель?

— Люди никогда не умирают бессмысленно. Значит, его смерть была угодна Богу. Иначе бы он не погиб. Ну, ложитесь сюда, — сказала она, — еще ближе. Вам надо отдохнуть, и тогда вы будете сильным.

— Тебе было хорошо только с мужем, Тань?

— Нет. Мне было хорошо с другими тоже. Мне с вами будет тоже очень хорошо.

Эд поднялся. Ему хотелось сказать этой красивой женщине что-то грязное и злое, но он ничего ей не сказал. Он только попросил:

— Одевайся, Тань. Мой друг отвезет тебя домой, а я поеду на аэродром.

Он зашел в комнату к Файну.

— Ты не спишь?

— Сплю, — ответил тот, пряча диктофон. — А что?

— Отвези женщину домой, а я пока оденусь и позвоню Биллу.

…Билл не поднимал трубку, потому что Сара тихо, то и дело оглядываясь на спящего, опасаясь разбудить его, ненароком выдернула каблуком штепсель телефона из белой фосфоресцирующей розетки. Когда штепсель брякнулся на кафельный пол, Сара, вздрогнув, замерла и осторожно повернула голову: Билл по-прежнему сладко посапывал во сне.

Она тихо приоткрыла дверь, и дверь длинно, протяжно заскрипела. Сара снова вся замерла и снова обернулась на парня, повторяя про себя как заклинание: «Сейчас, ну сейчас, сейчас… сейчас». А выйдя из его комнаты, она побежала по длинному стеклянному коридору и уже не боялась холодного перестука каблуков по кафельному бело-голубому полу.

Около двери, которая вела на улицу и которая была все ближе и ближе, которая наваливалась на нее, как громадная тяжесть, и приближалась к ней, как будущая свобода, появился Самни, тот

чревовещатель, который так смешно пугал ее в баре. Он появился неожиданно — видно, быстро выскочил из своей комнаты. Он стоял в майке — здорово пьяный.

— Хэлло, — сказал он, больно схватив Сару за руку. — Хэлло. Где наш Билл?

— Что? Он у себя. Пустите, мне больно руку.

Не открывая рта, он произнес горлом:

— А вот у меня болит душа! Это хуже, чем ручка!

Он потянул Сару к себе и сказал:

— Зайдите ко мне на минуту, я вам что-то покажу…

— Хорошо, — сказала Сара, — только пустите руку.

Он покачал головой, и странно улыбнулся, и обнял Сару. Она рванулась что было сил: Самни, потеряв равновесие, упал, увлекая Сару за собой — на холодный голубой кафельный пол. Она ударила его каблуком в живот, он, охнув, отпустил ее руку. Сара вскочила и выбежала из двери. Она бежала по темной улице, больше всего страшась услышать позади себя сопение этого Самни. Она боялась оглянуться, она бежала, повторяя все время: «Сейчас, сейчас, Эд, родной, сейчас! Сейчас, Эд!» Она часто жмурилась, чтобы

отогнать навязчивое, до ужаса явственное видение: голова Билла на смятой подушке и слюнка, которая стекала желтым пятном из его большого мальчишеского рта, а еще она видела близкое лицо Самни, который хватал ее и что-то говорил, а губы его были недвижны, как и недвижно лицо, замершее словно маска.

04.47

— Мой парень где-то загулял, — сказал Эд вернувшемуся Файну. — Хочешь слетать со мной? Это будет нетрудный полет.

— Спасибо.

— Спасибо — да?

— Конечно. Сейчас я переоденусь.

— Зачем? Включим печку, ты не замерзнешь.

Когда они сели в машину и Стюарт включил зажигание, Файн спросил его:

— Скажи правду: ты летишь со злобы? Тебе надо сорвать злобу? Или — что?

— Как тебе сказать? — медленно ответил Эд. — Наверное, я лечу сейчас только потому, что, садясь за штурвал, начинаю по-настоящему ощущать свою силу.

04.57

— У нас батарейки еще не сели, Ситонг? — спро-

сил Степанов.

— Хочешь послушать радио?

— Да, — ответил Степанов, но, взглянув на часы, попросил: — Погоди включать. Сейчас одна музыка. Знаешь, когда я слушаю радио, я думаю, что мир все-таки плоский. Разность часовых поясов, по-моему, выдумали досужие мудрецы.

— Конечно! — радостно согласился шофер. — Я ничего в этой премудрости так и не смог понять.

— Вообще-то мир — круглый, — сказал Ситонг. — Это точно. Почему тебе кажется, что часовые пояса выдумали?

— А вот ты послушай последние известия… Весь мир передает последние известия в одно и то же время. Как уговорились.

— Вообще-то верно, — сказал шофер. — Мир прекрасен, как синяя равнина при рассвете…

Ситонг засмеялся и сказал:

— Может, послушаем музыку?

— Я боюсь, не хватит батареек на последние известия. И так радио еле слышно. Хочется послушать последние известия.

— Скорбные и радостные известия с полей битв, — заключил шофер в своей обычной манере, — заслуживают того, чтобы мы ограничили музыкальные программы. В конце концов мы

можем спеть сами.

— Ты скоро совсем перестанешь говорить, а начнешь петь, — сказал Ситонг. — Прямо соловей, а не шофер. Еще б заводную ручку с собой возил — тогда полный порядок! Выключи фары, в тумане лучше ехать без света.

Шофер убрал свет, и в зыбкой, рассветной, сероватой мгле Степанов увидал расплывчатые фигуры. Люди в длинных одеяниях ходили по кругу, словно в феерическом, сказочном хороводе. Движения людей были ритмичны, будто согласованы с неслышимой, но очень четкой музыкой.

— Что это? — спросил Степанов.

— Это? — переспросил Ситонг. — А, это, наверно, ансамбль «Сипахатон». Здесь же равнина, они тут репетируют по ночам. От скал ведет траншея, они в случае чего убегают. Здесь до скал метров пятьдесят.

— Остановись, — попросил Степанов. — Давай посмотрим.

— Нельзя. Светает. Надо проскочить долину. Тут еще километров десять открытой долины.

— Ну хоть на минуту, — попросил Степанов. — Я не буду вылезать, только выключи мотор, это надо слушать…

— Выключи мотор, — сказал Ситонг, и шофер выключил мотор, и стало тихо.

И в этой наступившей тишине Степанов услышал песню. Она была очень странной — то быстрой, то — вдруг — замирающей. В такт этой песне по зеленой поляне двигались танцовщицы, то появляясь, то исчезая в белом тумане.

— Ты оставил пленному риса? — шепотом спросил Ситонг шофера.

— Оставил.

— Тише, — попросил Степанов.

— И банку консервов, — шепнул шофер.

Степанов смотрел на танцовщиц и вспоминал Дунечку: она любила танцевать, когда ее никто не видел. Движения ее были неожиданны и странны. Лицо ее замирало, очень взрослело, и под глазами залегали серые тени — от волнения. Она слушала свою музыку, которая звучала в ней, и маленькое ее тело двигалось по комнате, подчиняясь этой не слышимой никому, кроме нее, музыке.

Однажды Степанов спросил ее:

— Про что ты танцуешь, Дуня?

— Ну… Не знаю, — ответила она. — Когда как. Иногда я танцую про кукол, иногда по то, какое вкусное мороженое… Не знаю, — повторила она,

и в интонации ее прозвучало что-то взрослое и чужое — то, что Степанову не дано было понять.

— Сейчас они начнут ламвонг, — сказал шофер.

— Да, — сказал Ситонг, — едем.

Степанов почувствовал, как тот задвигал коленями: ему, видно, очень хотелось потанцевать ламвонг — здесь это самый любимый танец, который танцует каждый.

05.13

— Это война неудачников, — говорил Эд, вглядываясь в рассветную, серовато-синюю землю. — Это война несостоявшихся честолюбцев — политиков и генералов. И писателей. И ученых. Вообще — всех неудачников.

— Эта война — война умных политиков, Эд. Ты очень ошибаешься. Это война хитрых людей. Они сплачивают нашей жестокостью всех азиатов против белых. У нас с ними нет границы. Граница у Азии есть только с красными. С Кремлем. Гнев Азии против белых, который мы уже создали, выльется в бойню красных и белых… Помяни мое слово…

— Это слишком умно и дальновидно для наших кретинов, Файн.

— Черт с ними, с нашими кретинами. А что на

этой войне делаешь ты?

— То же, что и ты, — убегаю от себя.

— Я не смог убежать от себя, Эд. Мне тут еще хуже, и я понял, в каком грязном мире мы с тобой живем. В каком жестоком и грязном мире мы живем, Эд.

— Знаешь, когда я летаю бомбить этих маленьких, несчастных чарли, мне приятно сознавать себя подлецом. В другое время я боюсь даже подумать об этом. Мы ведь все так любим себя, Файн, что даже противно.

— Я помню у Сент-Экзюпери… Помнишь, он писал, что в каждом человеке может жить Моцарт.

— Сейчас мы с тобой договоримся до того, что я брошу бомбы на скалы.

— Может быть, в этом есть смысл.

Эд обернулся и спросил:

— Ты борец за мир, а?

— Нет. А что? Лети тише, Эд. Давай экономить время хотя бы в этом.

— О чем ты?

— Так…

— Ну-ка, взгляни вперед. Что-то там ползет, а?

— Ничего там не ползет.

— Это тебе кажется, что не ползет. А мне кажется, что это машина. Я точно рассчитал, Файн.

Я их здесь догоню, этих чарли. Им здесь будет некуда деться…

05.15

Ситонг, как всегда, услыхал самолет первым.

— Гони к скалам! — крикнул он.

— Там нет дороги.

— Без дороги! Скорей!

Шофер нажал на акселератор, и машина рванулась, набирая максимальную скорость. Машина неслась по ухабам и рытвинам, и от этого отчаянно гремели канистры, взятые Ситонгом про запас.

— Стоп!

Машина остановилась, и Ситонг повалился на Степанова.

— Гони!

«Ничего не будет, — спокойно думал Степанов. — Ничего не имеет права быть. Я не имею права уйти, не сделав того, что я обязан сделать. Это будет слишком бессмысленным, чтобы случиться».

05.15

— Видишь, как забегали, — сказал Эд. — Это у них такая тактика. Они хотят, чтобы я бросил бомбы в тот момент, когда они останавливаются.

— Ты всегда так психуешь, когда их видишь?

— С чего ты взял, что я психую? Я совсем не психую. Наоборот, я делаюсь спокойным и расчетливым, когда вижу их.

Файн смотрел на лицо Стюарта: лицо его изменилось до неузнаваемости — нос внезапно заострился, губы были поджаты, как у старика, и чуть посинели, и ноздри тонко трепетали.

— Не очень увлекайся, — сказал Файн. — Что с тобой, парень?

Эд ничего ему не ответил: он заходил для бомбового удара.

05.15

Сара быстро расхаживала вдоль взлетной полосы: от одного фонаря — к другому, вперед и назад. Мимо нее пронесся самолет, и горячий вихрь увлек ее следом, и она пробежала несколько метров вдоль по бетонной дорожке, не в силах противиться этому жаркому, устремленному, тугому движению воздуха.

«Я могу устоять, — подумала она. — Стоит мне только захотеть, и я смогу устоять и не двинуться с места».

Второй самолет начинал разбег в далеких голубых сумерках.

Сара напружинилась, чуть согнула в колене

ногу и повернулась лицом к самолету, который несся прямо на нее по широкой бетонной полосе. И снова горячий вихрь обнял ее, и она, чувствуя, что может устоять, позволила себе пробежать следом за самолетом, уносившимся в небо.

«Скоро вернется Эд, — все время думала она. — И все станет хорошо. Так хорошо, как у нас никогда не было. Только б он скорей вернулся».

Она что-то запела, и, когда стих рев улетавшего самолета, она смогла услышать ту мелодию, которую пела. Эту песенку кричал ночью лилипут в коротких штанишках. Она продолжала петь, меряя расстояние большими шагами — от одного фонаря к другому. Она шла чуть пританцовывая, улыбаясь и чувствовала себя так хорошо, как никогда раньше.

05.17

Бомба разорвалась метрах в тридцати от машины. Комья мокрой грязи залепили ветровое стекло, и шофер машинально затормозил. Но в следующий миг он что есть силы нажал на акселератор, и машина, проехав метров десять, ухнула в воронку. Это была старая воронка, уже заросшая травой, поэтому шофер решил дать задний ход, чтобы выбраться с помощью включенного демультипликатора. Машина начала

буксовать.

— Вылезайте, быстро! — сказал Ситонг очень тихо. Он слышал, что самолет заходил для второго удара, и понимал, что в запасе еще есть пара минут.

— Бегом в разные стороны, — сказал он и ринулся направо — не к горам, что громоздились в ста метрах, а наоборот — в равнину. Степанов и шофер побежали к горам, но шофер вдруг повернулся и бросился к машине.

— Ты куда? — закричал Степанов.

— Там моя теплая куртка! — крикнул парень. — Новая, на «молнии»!

Ситонг услышал их голоса, обернулся и заорал страшно:

— Назад! Назад! Беги назад! Идиот! Убегай!

Он кричал, не останавливаясь, прилаживая на ходу обойму, бросив старую себе под ноги. Огромная, стремительная, все увеличивающаяся расплывчатая тень самолета неслась на Ситонга. Он упал на колено и пустил по самолету очередь, и Степанов, падая, понял, отчего он менял обойму: он поставил обойму с трассирующими пулями, чтобы отвлечь пилота на себя, чтобы заставить его на себя сбросить все бомбы.

— Ситонг! — закричал Степанов. — Ситонг!

Но Ситонг не слышал его: в небо поднялся черный столб раскаленной земли, и настала оглушительная, рвущая перепонки тишина, а после этот громадный столб жара начал медленно оседать, а после из этого — теперь уже коричневого — столба вырвалось бело-красное пламя.

05.19

— О'кэй! — сказал Эд и как-то странно засмеялся. — Эти чарли в порядке. Сейчас мы поохотимся за тем, который в нас стрелял.

Заложив крутой вираж, он лег на курс и бросил самолет в пике. Ему хотелось быть близко к этому человеку, который, по-заячьи петляя, метался на земле.

— Как он смешно прыгает, а?! — кричал он Файну.

— Эд, Эд, не сходи с ума, — быстро говорил Файн, толкая Стюарта в плечо. — Что с тобой, Эд?!

— Иди к черту! — крикнул Эд. — Не мешай мне, идиот!

И он нажал на гашетку, и самолет затрясло, и вокруг человека на земле забурлили серые фонтанчики. Человек упал на колени, как при молитве, и пустил по самолету еще одну очередь.

Самолет резко тряхнуло, но Эд не понял, отчего так тряхнуло самолет, потому что он снова нажал

на гашетку. Он увидел, как человек пустил по самолету очередь, он видел, как белые длинные тире пуль медленно неслись навстречу самолету, но он был уже не в силах свернуть от этих длинных белых тире, потому что наблюдал за тем, как человек, нелепо взмахнув руками, бросил автомат и повалился на землю.

— Ага, чарли! — засмеялся Эд. — Порядок, чарли?

И в ту же минуту в лицо ему ударила струя ледяного воздуха, лицо вмиг окровавилось от осколков стекла, и он не успел даже понять, что это разбито ветровое стекло кабины, потому что одновременно рвущая, толстая боль вошла в него, и он закричал и бросил штурвал, чтобы руками ощупать эту свою боль, а потом он потерял сознание.

05.58

Никто не видел, как самолет Стюарта врезался в скалы.

Оглохший и наполовину ослепший Степанов полз по земле, и за ним оставался кровавый след. Он полз мимо разорванного в клочья шофера, мимо раненого Ситонга — не понимая, куда он ползет и зачем. Он полз только для того, чтобы чувствовать себя живым, видимо, поэтому он так

неторопливо полз. Земля была по-рассветному холодной. Он чувствовал холод утренней росы, и ему виделся громадный русский луг, над которым весенним пролетом низко летели серые птицы: впереди — гусыня, а сзади, словно незримо привязанный, — гусь. Трава на лугу была желтой, прохладной, убитой морозами. Запах ее был таким же сладостным и горьким, как в первый день его недолгой разлуки с Надей, когда на даче сжигали прошлогоднюю коричневую листву.

Степанов полз теперь очень медленно, по-прежнему ощущая запах того весеннего рассветного луга под Сасовом, на первом, самом первом пролете гусей.

Ненаписанные романы

Вместо предисловия

Хочу предложить вниманию читателей короткие сюжеты из «Ненаписанных романов», которые уже никогда не станут романами: не успею, увы.

В новеллах нет вымысла: они построены на встречах с живыми свидетелями и участниками описываемых событий.

Литератор не прокурор. Он имеет право на свою версию истории, хотя высшее право беспристрастного судьи присуще именно Истории. Стремление к однозначным оценкам скрывает неуверенность в себе или страх перед мыслью. Лишь те выводы, к которым человек приходит самостоятельно, единственно и формируют его нравственную позицию.

Главное, что меня занимало, когда я работал над этой вещью, — это проблема неограниченной власти в годы, именуемые сейчас периодом культа личности.

Механика такого рода власти, ее непреклонная и неконтролируемая воля, низводящая гражданина великой страны до уровня «винтика», — вот что трагично и тревожно, вот что следует в

первую очередь анализировать — без гнева и пристрастия.

Понимание такого рода феномена должно помочь наработать в каждом из нас гражданское противодействие даже легчайшим рецидивам возможности возрождения чего-либо подобного в той или иной форме.

1

Сталин читал работы Сергея Булгакова еще до того, как тот был выслан в Париж и стал протоиереем; строй рассуждений философа казался ему любопытным, в нем не было ничего от убеждающе-стремительной легкости Бердяева, которая болезненно его раздражала, потому что в ней он чувствовал нечто похожее на стиль Троцкого — такая же парадоксальность, раскованность, блеск; естественно, это привлекает к нему широкого читателя, жаль.

Булгаков был ближе к надежной теологической доказательности; очень русский, оттого постоянно искал исток духовности и правды; именно у него Сталин как-то прочитал длинную цитату из Библии без сноски на страницу; это помогло ему на диспуте с лидером меньшевиков Ноем Жордания: когда стало очевидно, что легендарный «Костров» берет над ним верх, Сталин процитировал пассаж, абсолютно подтверждавший его правоту, сказав слушателям, что он оперировал выдержкой из Маркса, — это и решило исход дела; изумленный Авель Енукидзе спросил: «Из какой работы ты это взял, Коба?» Сталин усмех-

нулся: «Пусть ищут! Откуда я знаю? Главное сделано, люди пошли за нами».

Поэтому, узнав, что Политпросвет не разрешает МХАТу показ пьесы Михаила Булгакова, — как говорят, родственника столь уважаемого им православного философа, — Сталин попросил Мехлиса позвонить Луначарскому и предупредить наркома, чтобы без его, Сталина, посещения театра окончательного решения по пьесе не принимать: «Хочу посмотреть сам».

…Он тяжко страдал от того, что в свое время высказался против привлечения Троцким военспецов в Красную Армию: «Опасно давать командирские звания бывшим офицерам-золотопогонникам; сколько волка ни корми — в лес смотрит!» Он полагал, что его поддержат Дзержинский, первый красный главком Крыленко, Антонов-Овсеенко с Раскольниковым, Невским, Дыбенко и Подвойским: не могут же первые народные комиссары Армии и Флота так легко уступить свое место «команде» Троцкого, все же каждым движет не только понятие чести за содеянное, но и память, неужели так легко отдадут то, что по праву принадлежит им?

Однако и Подвойский, и Крыленко с Раскольниковым, и Дыбенко с Антоновым-Овсеенко

согласились с доводами Троцкого; наверняка запомнили его, Сталина, возражение, именно поэтому, вероятно, главком Вацетис и его штаб так настороженно относились к нему во время сражения против Колчака.

…Время кидать камни и время собирать камни, воистину так. Сейчас, когда Троцкий, Каменев и Зиновьев потеряли свои позиции в ЦК, именно он, Сталин, должен приблизить к себе буржуазных спецов в сфере культуры; Горький позволил себе стать эмигрантом; таким образом, его детище, ЦЕКУБУ[2], вполне может послужить его, Сталина, целям: буржуазные деятели культуры — при том, что маскируются, — таят в себе заряд русской государственной идеи, а это надежный заслон против «мировой революции» Троцкого и иже с ним; русский народ не сможет не оценить этого — в будущем, понятно; торопиться негоже, выдержка и еще раз выдержка, только она являет собою вернейшую константу окончательной победы… Он мучительно, до щемящей боли в сердце, сознавал, что ему ничего не остается, кроме как ждать: он не мог, не имел права выйти на общесоюзную трибуну до тех пор, пока рядом

[2] Сноски: 2

Центральная комиссия улучшения быта ученых (здесь и далее — *прим. авт.).*

Бухарин — с его эрудицией, раскрепощенностью, с блестящим русским языком; пока приходится терпеть Луначарского, пока в народе свежа память о зажигательных речах бывшего предреввоенсовета Троцкого — никакого акцента, фейерверк мыслей, какое-то странно-вольготное отношение к чувству собственного достоинства на трибуне…

…И ведь снова он, именно он, Троцкий, — в пику мнению большинства ЦК — выступил с эссе о «талантливом русском поэте Сергее Есенине»; снова оказался впереди, хотя потерял и Армию, и Политбюро. Однако популярность — с ним; ведь именно он заступился за русского поэта; ничего, когда перестанем печатать Есенина, то и статью Троцкого забудут… Пусть порезвится; сжать зубы и ждать, уж недолго осталось…

С его, Сталина, акцентом, с его директивностью стиля и чувством гордой ответственности за каждое произнесенное слово (Мехлис — надежный редактор, недаром его так не любят; ясное дело, зависть: не у них, а у него, Сталина, такой помощник), сейчас надо готовить поле боя, но не выходить на него, рано, народ не созрел еще, он должен устать от дискуссий и свободы, он должен возжаждать единого вождя — кто знает русских,

как не он, Сталин?!

Итак, Сталин приехал на *закрытый* спектакль во МХАТ; в ложе рядом с ним сидели Станиславский, Немирович-Данченко, начальник ПУРККА Бубнов; наркома Луначарского, Крупскую, Ульянову не пригласили, Мехлис вызвал завагитпромом Стецкого, замзавотделом Кагановича и Николая Ежова.

Сталин оглядел зал: множество знакомых лиц; ясно, собрали *аппарат.*

После первого акта, когда медленно дали свет, зрители обернулись на ложу, стараясь угадать реакцию Сталина; он, понимая, чего ждут все эти люди, нахмурился, чтобы сдержать горделивую — до холодка в сердце — улыбку; медленно поднялся, вышел в *квартирку,* оборудованную впритык к правительственной ложе; заметив ищущий, несколько растерянный взгляд Станиславского, устало присел к столу, попросил стакан чаю; на смешливый вопрос Немировича-Данченко — «Ну как, товарищ Сталин? Нравится?» — и вовсе не ответил, чуть пожав плечами.

И после второго акта он видел взгляды зала, обращенные к нему: аплодировать или свистеть? Он так же молча поднялся и ушел, не позволив никому понять себя, — много чести, учитесь вы-

держке. С острой неприязнью мазанул быстрым взглядом лицо Сольца, члена ЦКК; ишь, «совесть партии»; а как Старик склонен к политическим спектаклям?! Дело в том, что Мехлис доложил ему: Сольц, ехавший в ЦК, как всегда, на трамвае, зачитался книгой и не заметил свою остановку. Легко вскочив с места, бросился к выходу; здоровенный верзила с мутным, похмельным взглядом закрывал проход.

— Товарищ, разрешите, пожалуйста, — обратился к нему Сольц.

Тот осклабился:

— Куда торопишься, юркий?! Больно шустрый!

Сольц не понял потаенный смысл сказанного, повторил просьбу. Верзила зло осклабился:

— Подождешь, жиденыш!

Стоявший неподалеку милиционер усмехнулся:

— Да пусти ты старика пархатого.

— Как же вам не стыдно?! — тихо сказал Сольц, обернувшись к милиционеру. — Что можно пьянице, то непозволительно вам, представителю Советской власти!

Милиционер лениво посмотрел на пассажиров:

— Все слыхали, товарищи? Слыхали, как при

вас оскорбили красного милиционера?! — И не дождавшись ответа, взял Сольца за руку и подтолкнул его к выходу…

В отделении дежурный выслушал милиционера, потом обернулся к Сольцу и попросил дать показания; Сольц рассказал все, как было. Дежурный пожал плечами:

— Конечно, про жида нехорошо, но мы вам не позволим оскорблять красного милиционера!

Сольц потребовал встречи с начальником отделения; тот слушать его не стал, махнул рукой:

— Нечего оскорблять наших людей, они же вас и защищают, в камеру его!

— Я хочу позвонить Дзержинскому, — сказал Сольц, — немедленно!

Все трое рассмеялись:

— Только что и дел до вас Феликсу Эдмундовичу!

И только после этого Сольц достал трясущимися руками свое удостоверение; имя этого политкаторжанина, героя революции, ленинца было известно всем. Он позвонил Дзержинскому. Через двадцать минут Феликс Эдмундович был на Солянке, в милиции; дверь и окна приказал заколотить досками; через час в ОГПУ был отдан приказ, вычеркивавший это отделение из списка

московских: нет такого номера и впредь не будет, рецидив охранки, а не Рабоче-Крестьянская милиция…

…В сороковых годах отделение восстановили: Сталин никогда ничего никому не прощал, оттого что все *помнил*…

…После окончания спектакля Сталин так же медленно поднялся, подошел к барьеру ложи и обвел взглядом зал, в котором было так тихо, что пролети муха — гудом покажется…

Он видел на лицах зрителей растерянность, ожидание, восторг, гнев — каждый человек — человек: кому нравится спектакль, кто в ярости; нет ничего опаснее затаенности; церковь не зря обращалась к пастве, но не к личности — слаба Духом, падка на Слово…

Сталин выдержал паузу, несколько раз похлопал сухими маленькими ладонями; в зале немедленно вспыхнули аплодисменты; он опустил руки; аплодисменты враз смолкли; тогда, не скрывая усмешки, зааплодировал снова; началась овация, дали занавес, на поклон вышли плачущие от счастья актеры.

Сталин обернулся к Станиславскому и, продолжая медленно подносить правую ладонь к мало

подвижной левой, сказал:

— Большое спасибо за спектакль, Константин Сергеевич…

В правительственном кабинете при ложе был накрыт стол — много фруктов, сухое вино, конфеты, привезенные начальником кремлевской охраны Паукером; напряженность сняло, как рукой; Немирович-Данченко оглаживал бороду, повторяя: «Я мгновенно понял, что Иосиф Виссарионович в восторге! Я это почувствовал сразу! Как всякий великий политик, — нажал он, — товарищ Сталин не может не обладать даром выдающегося актера».

Сталину явно не понравилось это замечание, он отвернулся к Станиславскому и, принимая из рук Паукера бокал с вином, чуть кашлянув, поднялся; сразу же воцарилась тишина.

— Скажите, Константин Сергеевич, сколь часто наши неучи из Политпросвета мешают вам, выдающимся русским художникам?

Не ожидая такого вопроса, Станиславский словно бы споткнулся:

— Простите, не понял…

Сталин неторопливо пояснил:

— Вам же приходится сдавать спектакли политическим недорослям, далеким от искусства…

Вас контролируют невежды из охранительных ведомств, которые только и умеют, что тащить и не пущать… Вот меня и волнует: очень ли мешают вам творить эти проходимцы?

И тогда Станиславский, расслабившись, потянулся к Сталину, словно к брату, сцепил ломкие длинные пальцы на груди и прошептал:

— Иосиф Виссарионович, тише, здесь же кругом ГПУ!

…Когда Сталин, отсмеявшись ответу Станиславского, сделал маленький глоток из своего бокала и сел, рядом сразу же устроился Немирович-Данченко; мгновенно просчитав их отношения во время всего вечера, понимая, как Немирович тянется к нему, Сталин обернулся к Владимиру Ивановичу:

— А вот как вам кажется: опера Глинки «Жизнь за царя» имеет право на то, чтобы быть восстановленной на сцене Большого театра?

Немирович-Данченко растерянно прищурился, поправил «бабочку» и в задумчивости откинулся на спинку стула.

Сталин, улыбнувшись, придвинулся к нему еще ближе:

— Говорите правду, Владимир Иванович… Мне — можно, другим — рискованно.

— В конечном счете это опера не о царе, но о мужике Иване Сусанине. Это гордость русской классики, Иосиф Виссарионович. Восстановление этой оперы вызовет восторг артистической Москвы…

Сталин достал трубку, закуривать не стал, спросил задумчиво:

— И Мейерхольд будет в восторге?

— Конечно!

Сталин покачал головой:

— Хм… Любопытно… Впрочем, если Троцкий так поднимает на щит Есенина, почему бы Мейерхольду не повосторгаться Глинкой?

О Немировиче подумал: «Чистый человек, весь наружу, наивен, как ребенок».

…Спустя почти десять лет генсек предложил на Политбюро восстановить оперу Глинки, переименовав ее в «Ивана Сусанина».

…Мехлис позвонил Самуилу Самосуду — в ту пору, ведущему дирижеру театра — и сказал, что эту оперу будет готовить Голованов, заметив:

— Кстати, вас правильно поймут, если вы порекомендуете заслуженную артистку Веру Давыдову на главную роль в этом спектакле…

Мехлис знал, что это будет приятно «хозяину»,

поэтому решение принял самостоятельное: «кто не рискует — тот не выигрывает…»

Спустя некоторое время Сталин, — зная все обо всех заслуживавших мало-мальского внимания, — позвонил домой больному, затравленному Булгакову: «Может, вам поехать в Париж? Отдохнете, подлечитесь, как бы здесь не доконали, а?»

Булгаков ответил, что русский писатель умирает дома, за любезное предложение поблагодарил, и только; странный человек; насильно мил не будешь.

Положив трубку, Сталин тем не менее усмехнулся: завтра об этом звонке будут знать в Москве; что и требовалось доказать.

2

...Я никогда не забуду руки Сталина, — маленькие, стариковские уже, ласковые...

...Звонок «вертушки» раздался около одиннадцати; отец подошел к аппарату — точное подобие того, что стоял в ленинском кабинете, копия с фотографии Оцупа.

— Слушаю.

— Бухарина, пожалуйста.

— Его нет, — ответил отец, дежуривший в кабинете редактора «Известий».

— А где он?

— Видимо, зашел к Радеку.

— Спасибо.

Голос был знакомым, очень глухим, тихим. Через две минуты снова позвонили:

— Что, Бухарин не вернулся? У Радека его нет...

— Наберите номер через десять минут, — ответил отец, — я поищу его в редакции.

Он, однако, знал, что Николай Иванович уехал к Нюсе Лариной, своей юной, красивой жене, матери маленького Юры: поздний ребенок — родился, когда Бухарину исполнилось сорок семь,

копия отца, такой же лобастый, остроносенысий, голубоглазый.

Отвечать по «вертушке», что редактора нет на месте, — невозможно: руководители партийных и правительственных ведомств могли разъезжаться по домам лишь после того, как товарищ Сталин отправится на дачу; обычно это бывает в два-три часа утра, когда на улицах нет людей, абсолютная гарантия безопасности во время переезда из Кремля за город.

Отец поэтому решил — от греха — уйти из кабинета, где стояла «вертушка». Тем более в типографии у дежурного редактора Макса Кривицкого возникли какие-то вопросы, есть отговорка: перед самим собой, не перед кем-то…

Вернулся он что-то около трех, лег на диван, положив под голову подушку-думку Николая Ивановича, — тот привез ее из Америки, спал на ней в тюрьме, куда его посадили в семнадцатом: не хотели пускать в Россию, знали, что этот человек может стать одной из пружин новой революции, страшились…

В три часа снова раздался звонок «вертушки». Голос был тот же, тихий, глухой:

— Алло, простите, что я вас так поздно тревожу, это Сталин говорит…

Отец, испытывая звенящую горделивую радость, сказал, что он счастлив слышать Иосифа Виссарионовича, какие указания, что следует сделать?

— Бухарина, видимо, в редакции уже нет? Пусть отдыхает… Тем более сегодня уже воскресенье… Ваша фамилия? Кто вы?

Отец ответил, что он помощник Бухарина, заместитель директора издательства «Известий».

— Вы в курсе той записки, которую Бухарин направил в Политбюро? — спросил Сталин.

— Мы готовили ее проект вместе с Василием Семеновичем Медведевым.

— А не Бухарин? — Сталин чуть усмехнулся.

— Николай Иванович попросил нас сделать лишь экономические расчеты, товарищ Сталин.

— Завтра в три часа приезжайте ко мне на дачу, вас встретят, передадите Бухарину и редколлегии мои соображения по поводу записки…

…Я отчетливо помню, как отец усадил меня в свой маленький «фордик» — подарок Серго Орджоникидзе за организацию выставки «Наши достижения к XVII партсъезду». Называли эту машину «для молодоженов с тещей», потому что впереди было два места для шофера и пассажира, а сзади откидывался багажничек, куда мог

поместиться третий человек; вот журналисты и шутили: «Там будет сидеть теща с зонтиком, чтобы не промокли во время дождя», — «фордик» — то был открытый, без крыши…

…Через восемнадцать лет, в январе пятьдесят четвертого, когда приговор по делу отца, осужденного особым совещанием на десять лет тюремного заключения во Владимирском политическом изоляторе, был отменен и его вернули в Бутырку, меня вызвал полковник Мельников, ставший — во время переследствия — другом отца.

— Обыск проводили только в вашей квартире? — спросил он.

— Верно, — ответил я.

— А у бабушки, где в ту ночь почивал отец, обыска не было?

— Не было.

— Скажите, а какие-нибудь отцовские документы могли остаться у вашей бабушки?

— Какие именно?

Мельников помолчал, потом глянул на молчаливого соседа по кабинету, размял папиросу и, наконец, ответил:

— Ну вот, в частности, одним из пунктов обвинения вашего отца было то, что он получил в

подарок от Бухарина автомобиль… А ваш отец утверждает, что был премирован лично товарищем Орджоникидзе…

— А что, нельзя запросить архив Наркомтяжпрома?

— Наркомтяжпрома нет и архива нет, — ответил Мельников. — Я пытался…

Я вспомнил пятидесятые, ночь двадцать девятого апреля, когда подполковник Кобцов руководил группой, приехавшей забирать отца, вспомнил, как на полу квартиры валялись книги, документы, записки, фотографии, вспомнил, как возле моей левой ноги лежала бумажка: приказ по Наркомтяжпрому о награждении отца автомобилем, подписанный Серго, вспомнил, как, страшась самого себя, я осторожно подвинул каблуком эту бумагу под тахту, а потом, когда обыск кончился, все документы и фотографии отца (с Серго, с генералом Берзариным в Берлине, с маршалом Говоровым, с Константином Симоновым, с Ворошиловым) увезли, а комнату опечатали, я ночью вскрыл форточку, влез в бывший кабинет и достал из-под тахты этот приказ Серго — все, что у меня отныне оставалось от *памяти*…

— А что, если я вам найду этот документ? — спросил я Мельникова. — Это во многом поможет

делу?

— Во многом. Отпадет одно из самых серьезных обвинений: согласитесь, подарок от троцкистского диверсанта Бухарина не украшает советского человека…

…Итак, отец усадил меня в свою машиненку, и был он тогда одет в черную косоворотку с белыми пуговичками, в коричневый пиджак, и было ему тогда двадцать девять (одногодка моей старшей дочери Дунечки. Спаси Бог их поколение от повторения ужаса тех лет) и счастливо шепнул:

— Сынок, я еду к товарищу Сталину!

И каким же одухотворенным было его лицо, когда он шепнул мне это, сколько в нем было мальчишеского счастья и невыразимой гордости от того, что увидит «фельдмаршала революции», «вождя народов», «творца нашего счастья», «отца всех одержанных нами побед»…

…Оставив машину возле ворот сталинской дачи, назвал свое имя, несуразно ответив на то, как ему, вытянувшись, откозыряли люди из личной охраны Сталина, отец попросил их поглядеть за мною: «пусть мальчик поиграет рядышком, только б далеко не отходил, ладно?»

…Спустя восемнадцать лет, вернувшись из

тюрьмы, он рассказал мне все, что произошло дальше, — в подробностях.

По песчаной дорожке к дому Сталина его сопровождали два человека в форме; Сталина отец увидел издали: тот окапывал молодое грушевое деревцо, делал он это неторопливо, вкрадчиво, но одновременно резко нажимая маленькой ногой на остро отточенную лопату, входившую на штык в жирную, унавоженную землю.

— Знаешь, — говорил мне потом отец, — в его фигуре, особенно когда он наваливался на лопату, чувствовалась литая сила; он наслаждался этой работой, и что-то неестественное было в его единении с жирной землей, тем более что рядом стояла легкая плетеная мебель: столик и три кресла; на столике лежал утренний номер «Известий», придавленный ножницами, коробкой «Герцеговины Флор», трубкой и спичками.

— Садитесь, — Сталин кивнул на кресло, словно бы спиною заметив, что отец подошел к нему.

Вогнав лопату в землю, он обернулся, достал платок, вытер маленькие руки, сел рядом и, неторопливо набив трубку папиросным табаком «Герцеговины», заговорил:

— Мы в Политбюро познакомились с запиской Бухарина… Он предлагает понизить стоимость

газеты с пятнадцати копеек до десяти потому, что вырос тираж, газета стала популярной в народе… Передайте редколлегии, что это наивное предложение… Надо просить Пэ-бэ не понижать стоимость номера, а повышать его… До двадцати копеек… Так мы решили… Возможно, Бухарин согласится с нашим мнением… Я бы просил также передать редколлегии ряд моих соображений и по поводу верстки номера… Она пока что оставляет желать лучшего, слишком недисциплинированна, разностильна, точнее говоря… Вы правительственный официоз, поэтому, если первая полоса несколько суховата, надо взрывать ее изнутри — темой передовицы, например. Не стоит бояться острых тем, больше критики, нелицеприятной критики… Газета должна быть единым целым — это азы пропаганды и агитации. Поэтому, во-вторых, на следующей полосе должен быть фельетон, публицистика, развивающая основные тезисы передовицы. И не бойтесь, наконец, и на третьей полосе, где печатаются иностранные материалы, заверстать что-либо, связанное с основной темой номера… Ну а четвертая — в ваших руках, ищите в ней свою, «известинскую», индивидуальность… Вот, собственно, и все…

— Спасибо, товарищ Сталин, я передам редколлегии все ваши пожелания.

Сталин заметил движение отца за мгновенье перед тем, как он *решил* встать с кресла.

— Погодите, — сказал он, пыхнув трубкой. — У меня к вам ряд вопросов…

— Слушаю, товарищ Сталин…

— У вас дети есть?

— Да, товарищ Сталин, есть.

— Сколько?

— Сын — Юлька…

В это время к Сталину подошел высокий крутолобый человек, склонился к нему:

— Звонит Калинин… По поводу сегодняшнего мероприятия… Что сказать?

Сталин неторопливо пыхнул трубкой, положил ее на стол, поднялся и подошел к дому. Отсутствовал он минут пятнадцать; когда вернулся, лицо его чуть побледнело, улыбчивых морщинок вокруг глаз не было, жестче обозначился рот под седеющими усами.

— Трудно содержать ребенка? — спросил Сталин, словно бы все то время, что говорил с Калининым, помнил ответ отца.

— Нет, товарищ Сталин, нетрудно.

— Вы сколько получаете в месяц?

— Партмаксимум, «кремлевку»…

— А жена?

— Она библиотекарь… Зарабатывает сто десять, вполне обеспечены…

— Хорошо, а могли бы вы содержать двух детей на этот ваш максимум?

— Да, товарищ Сталин, смог бы!

Сталин усмешливо посмотрел на отца, но глаза были строгие, несмеющиеся, желтые:

— У грузин есть присказка: «один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын»… Смогли бы содержать на ваши оклады трех детей? Честно отвечайте, не пойте…

— Конечно, товарищ Сталин, смогли бы…

Сталин, неотрывно глядя в глаза отца, спросил:

— Почему вы ногами егозите? В туалет надо?

— Нет, спасибо, товарищ Сталин… Просто у меня в машине сын остался, я поэтому несколько волнуюсь…

— А что же вы его не привели сюда? Разве можно бросать ребенка? Пойдите-ка за ним…

…Я помню большие, крестьянские руки отца, помню, как он прижал меня к себе, помню, каким горячим было его лицо, помню его восторженный шепот:

— Сейчас ты увидишь товарища Сталина, сы-

нок!

…А я не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепеняще робкое смущение обуяло меня…

Но зато я увидел его маленькие руки, ощутил их ласковое тепло, Сталин легко поднял меня, посадил на колени, погладил по голове и, кивнув на газету, что лежала на плетеном столике, сказал отцу:

— Этот номер «Известий» возьмите с собою… Тут есть ряд моих замечаний по верстке… Может быть, пригодятся Бухарину и Радеку… Счастливой дороги…

…Кортеж «паккардов» обогнал нас у въезда в Москву — Сталин возвращался в Кремль.

В это же время, только с другой стороны, в Кремль въехала машина с зашторенными стеклами, в которой сидели Каменев и Зиновьев; их привезли из внутренней тюрьмы для встречи со Сталиным и Ежовым; вчера они наконец — после двухлетнего заключения — согласились писать сценарий своего процесса, который закопает Троцкого, докажет его фашистскую сущность — взамен заверениям о том, что им будет сохранена жизнь, а малолетних детей выпустят из тюрьмы.

…А когда был принят указ, запрещающий абор-

ты, я помню, как отец ликующе говорил всем, кто приходил к нам:

— Как же он мудр, наш Коба, как замечательно он готовит решения! Сначала советуется с рядовыми работниками, выясняет всю правду, а только потом санкционирует указ государства! Мы непобедимы нерасторжимостью связи с вождем, в этом наша сила!

Все, конечно, с ним соглашались.

Бухарин, однако, глядя на отца с грустной улыбкой, восторги его никак не комментировал, молчал.

Только дядька Илья, один из самых молодых наших комбригов, покачал головой:

— Сенька, ты что, как тетерев, заливаешься? Ты хоть знаешь, где аборты запрещают? Только в католических странах! Там, где последнее слово за церковью. У них за аборт в тюрьмы сажают, а коммунисты поддерживают женщин, которые выступают за то, чтобы не власть, а она сама решала, как ей следует поступить… Кому охота нищих да несчастных плодить?!

Отец побледнел, резко поднялся:

— Что, повторения двадцать седьмого года захотел?! Неймется?!

…Тогда, в ноябре двадцать седьмого, после

разгона демонстрации оппозиционеров — отец принимал в ней участие — братья подрались.

Жили они на Никитской, дом этот сейчас снесен; длинный коридор, заложенный поленцами, — еще топили печи; затаенные коммуналки с толстыми дверями — до революции здесь размещался бордель, греховная любовь требует тишины. Комнатушка деда и бабки была крохотной, метров десять, курить выходили в коридор, здесь и схватились, когда Илья, выслушав восторженный рассказ отца, хмуро заметил: «Что ж ты раньше Каменева не тащил за ноги с трибуны, когда его портреты на демонстрации выносили? Как сказали “ату!”, так и бросились…» — «Ты на кого?! — отец задохнулся от гнева. — Ты кого защищаешь?! На кого голос подымаешь?!» — «Да ни на кого я голос не поднимаю… Голова у тебя есть? Есть. Ну и думай ею, а не повторяй чужие слова, как попка-дурак».

Отец тогда схватился за полено. Илья легко выбил полено у него из рук, *вертанул* кисть за спину, повернулся и уехал к себе в Люберцы — он был там начальником НКВД. С тех пор братья два года не разговаривали, тяжко переживая размолвку.

Помирились на похоронах общего друга, Васи

Сироткина, его зарезали во время командировки на коллективизацию, виновных не нашли, а двое сирот у него осталось, Нюра и Зина, погодки.

…После того как в «Известиях» начали печатать сообщения о расстреле троцкистско-фашистских наймитов Каменева и Зиновьева (заместителя Ленина по Совнаркому и председателя Коммунистического Интернационала), лицо Бухарина сделалось желтым, измученным; он лег на землю (это было на Памире), взял свечку, зажал ее в руках, сложил их на тоненькой груди и, посмотрев на отца, усмехнулся:

— Семен, я похож на покойника, а?

3

Федор Николаевич Петров, один из старейших большевиков, консультировал в шестидесятых мой роман и фильм «Пароль не нужен» о Блюхере и Постышеве.

Он-то и рассказал мне историю, которая теперь подтверждается косвенными свидетельствами; хочу верить, что вскоре откроются новые обстоятельства, опровергнуть которые невозможно.

— Когда Каменева и Зиновьева сломали, уговорив признаться в том, что они — по заданию Троцкого — организовали убийство Кирова, когда, после того как Сталин дал им честное слово, что они не будут расстреляны, если помогут «закопать троцкизм как идейное течение», суд провели быстро, в суматохе не проверили «показания» обвиняемых, заранее написанные людьми наркома Генриха Ягоды, тогда и случился трагедийный конфуз, — Петров еще больше прибавил звук в старинном радиоаппарате, стоявшем на его большом письменном столе возле окна, из которого открывался прекрасный вид на Москва-реку и Кремль. — Один из зиновьевцев «признался», что он приезжал в Копенгаген для

встречи с Львом Седовым — сыном Троцкого и останавливался в отеле «Бристоль». А скорые на розыск датские журналисты через неделю после того, как обвиняемые были расстреляны, опубликовали официальную справку, что отель «Бристоль» был снесен за много лет перед описываемыми событиями, фальшивка чистой воды… Именно тогда Серго потребовал у Сталина нового рассмотрения этого дела с вызовом свидетелей, оставшихся в живых.

Сталин пообещал и сразу же начал готовить второй процесс — на этот раз против заместителей Орджоникидзе Пятакова и Серебрякова. Их обвиняли уже не только в троцкизме и диверсиях, но и в шпионаже. Однако, в отличие от Зиновьева (честно говоря, он был слабым, амбициозным человеком, но, понятно, ни в каком терроре не участвовал), Юрий Пятаков никогда не дрался за власть, от оппозиции отошел. Серго утвердил его первым заместителем народного комиссара тяжелой промышленности — на нем был и Сталинградский тракторный, и Горьковский автозавод имени Молотова, и Кузбасс, и Магнитка, человек действительно горел на работе… Мы все чтили память его брата, Леонида, замученного петлюровцами в девятнадцатом, словом, чистый

был человек, чистый и открытый… Как можно было повернуть его на признание в шпионаже? Коммунист, ленинец — и гестаповский шпион? Давить на него, как давили на Каменева — у того осталось двое детей, — трудно, семья у Пятакова не сложилась, жена больна, он и ночевал-то порою у себя в кабинете…

…В поселке «Известий» на Сходне, рядом с той дачей, где жили мы, стоял дом Карла Радека, возглавлявшего иностранный отдел редакции; друг Дзержинского и Розы Люксембург, принимавший участие в спартаковской революции, человек не простой, ядовито-остроумный, он, после того как публично отрекся от Троцкого и был за это возвращен в двадцать девятом году из ссылки, стал одним из тех, кто более всего славил Сталина, причем делал это вдохновенно и талантливо. Он-то и рассказывал тогда: «Коба — человек поразительный! Он узнал, что новый заместитель наркома ютится в крошечной квартирке, и приказал перевезти его семью в роскошные апартаменты, обставленные чудной мебелью… Вот как Коба относится к тем, кто честно разоружился и порвал с оппозиционерами, поняв чудовищную сущность Троцкого…»

(Когда прошла очередная волна арестов, во

время торжественного банкета по случаю дня рождения Максима Горького помрачневший лицом Радек, неотрывно глядя при этом на секретаря ЦК Ежова, произнес тост: «Я пью за нашу максимально горькую действительность…»

Сталин, не выпуская трубки изо рта, сухо посмеялся вместе с Алексеем Максимовичем, который не отпускал от себя Бухарина; лицо последнего порою теряло обычную живость, замирало и чуть желтело, становясь не по возрасту старческим…)

Из квартиры, подаренной Сталиным, Пятакова вскорости и забрали — в один день с Радеком…

Федор Николаевич вздохнул чему-то и, устроившись поудобнее в кресле, словно бы затолкав свое усохшее тело в привычно-малое пространство между спинкой и подлокотниками, снова изучающе-требовательно обсмотрел меня:

— Я-то скоро уйду, а вам надо сохранить память, только оттого все это и рассказываю, хоть и рискую… Да, да, это так… Каждый, кто прикасается к той поре, — рискует… Словом, Серго Орджоникидзе потребовал устроить ему встречу с Пятаковым… И получил ее… Никто не знает, о чем шла речь, никто, кроме Сталина, потому что тот дал Орджоникидзе слово: «Пятаков не будет казнен…» Но Пятакова, как и Каменева,

расстреляли… Серго был в ярости; Ежов ему ответил: «Пятаков жив». Серго потребовал встречи. Ему пообещали; Ежов уверял наркома: «Юрий (он и после процесса над “шпионом” продолжал так называть Пятакова) перенес шок после фарса, разыгранного норвежцами… Как только он придет в себя, вы увидите его, Григорий Константинович…» Шок действительно был, но не для Пятакова, а для тех, кто писал за него показания: он заученно произнес на суде, что, мол, летал на немецком самолете в Осло на встречу с Троцким. А норвежские социал-демократы опубликовали в газете опровержение: в тот месяц, когда Пятаков якобы летал в Осло, ни один иностранный самолет там не приземлился…

…Серго позвонил Сталину; тот отказался его принять; Серго сказал: «Коба, если нам необходимо развенчать Троцкого, то партии совершенно неугодно избиение ленинцев!» И — начал готовить *свое* выступление на февральском Пленуме ЦК… Он знал, что его поддержат Постышев, Чубарь, возможно, Калинин… Он понимал, что Сталин наверняка поднимет на Пленуме вопрос об аресте Бухарина, а тот был его другом… Он допускал, что если открыто и честно сказать Пленуму всю правду, то далеко не все станут

поддерживать Сталина, потому что геноцид, начатый против старой гвардии, принял чудовищные формы. Нам предлагали верить в бред, произносимый на скамье подсудимых теми, кого Ленин вел вместе с собою, поручая ответственнейшие должности в самые крутые месяцы Гражданской войны и интервенции. Но мы помнили состав нашего первого правительства! Мы-то помнили, кто составлял костяк Политбюро в самые грозные пять лет — с октября семнадцатого! А теперь оказывается, что эти люди уже тогда были предателями! Чего ж они тогда не захватили власть?! Их — при Ленине — было подавляющее большинство! А был ли один я такой памятливый?! Да нет! Как минимум, миллион партийцев! И столько же — беспартийных активистов! Это — минимум миниморум! Значит, тогда *жили* два миллиона людей с кровоточащей памятью — я имею в виду большевиков со стажем. А их семьи?! Понимаете, каким резервом обладали те, кому был дорог Ленин? Понимаете, как шатки тогда были позиции Сталина, несмотря на то что Ежов с его *рукавицами* душил всех, кто продолжал оставаться личностью, — то есть, зная правду, не отрекся от памяти?! Понимаете, что Серго — с его авторитетом — мог повернуть

ход истории, прекратив чудовищный террор?! Понимаете, что он мог потребовать у Пленума выполнения воли Ленина о снятии Сталина с поста генерального секретаря?!

...Вторым человеком, консультировавшим наш фильм «Пароль не нужен», был генерал Штеменко. С громадными усами, удивительно тактичный, с печально-доброжелательной улыбкой, неторопливый в словах, он во время одной из встреч со съемочной группой, всматриваясь в лицо Николая Губенко, игравшего роль Василия Константиновича Блюхера, заметил:

— Я попрошу подобрать все архивы по маршалу... Надо бы вам *поискать* чего-то еще для этого замечательного образа.

Я сказал тогда, что все архивы уничтожены; пояснил, что находил *огрызки* документов, просматривая отчеты ветеринарной службы дальневосточной армии, — там чудом сохранились резолюции Блюхера, в которых удивительно прочитывался человек, его моральный стержень, мягкость и непримиримость.

Штеменко усмешливо покачал головой:

— Мы свои архивы не трогали, через три дня вам их покажут.

Однако, когда мы увидались через три дня, он

заметил:

— Да, к сожалению, вы правы… Архивов нет, все уничтожено, надо *собират*ь по памяти.

…Иван Степанович Конев, служивший в армии Блюхера командиром бронепоезда, а затем ставший начальником оперативного отдела штаба его фронта, показал мне маленькую фотографию главкома легендарного ОКДВО — Особого Краснознаменного Дальневосточного военного округа — Блюхера, стоявшую у него на столе:

— Я не убирал ее с этого места и после того, как маршал пал жертвой клеветы.

…Маршал Блюхер не пал жертвой клеветы; его *надо* было убрать, ибо он посмел сказать друзьям, что не судил Тухачевского, хотя его именем был подписан приговор одному из самых блестящих военачальников двадцатого века. «Суда не было, — повторял он, — Тухачевского и Якира просто убили…»

Василий Константинович покончил с собой сразу после ареста, чтобы не оказаться сломанным, чтобы не предать свое прошлое чудовищными показаниями на очередном процессе, эти показания убивали не жизнь, а то дело, которому он служил, — Революцию…

…Петров устало поднял руку, указал пальцем

на книжные стеллажи и, прикрыв веки, сказал:

— Посмотрите речи Сталина на февральско-мартовском Пленуме тридцать седьмого года… Обратите внимание, что там впервые не было привычных «бурных аплодисментов, переходящих в овацию». Просто — «аплодисменты»… И главный удар Сталин нанес по не названному Серго — по «хозяйственным успехам, которые привели к беспечности»… Серго постоянно говорил, что чем больше наши успехи, тем лучше живут люди, чем они явственнее ощущают прямую связь между трудом и благополучием, тем меньше будет врагов в стране, нет поля для вражды, то есть пришло гражданское замирение…. А Сталин, наоборот, гнул свою линию: «чем больше успехов, тем сильнее сопротивление врагов»… А ведь Бухарин еще не был арестован, объявил голодовку, написал письмо членам ЦК о своей невиновности, сидел в кремлевском зале — кандидат в члены ЦК! Именно тот Пленум должен был решить его судьбу… «Бухарин — любимец партии» — не случайная фраза… Ее помнили… После того как Пятаков сказал на суде про аэродром в Осло и всему миру стало понятно, что второй процесс тоже построен на фальшивках, Сталин решил, что Пятаков это сделал наме-

ренно — прокричал о своей невиновности из камеры тюрьмы. И помог ему в этом, считал он, Серго… — Петров говорил тяжело, с одышкой, часто замолкал, словно собираясь с силами. — А за Серго действительно была школа в Лонжюмо, Ленин открыто называл его своим другом. Серго никогда — в отличие от Сталина — против Ленина не выступал, он шел за ним ледоколом…

— А дело Мдивани? — спросил я. — Помните, как Ленин тогда обрушился на Серго? С какой яростью, открыто?!

Петров раздраженно пожал плечами:

— Политическая борьба предполагает чувство! Не надо из Ленина делать икону! Как всякий гениальный стратег, он был при этом ранимым человеком… Он не считал возможным скрывать того, что думал! Увидав, что вытворили его любимцы Каменев и Зиновьев в октябре семнадцатого, он прилюдно назвал их «проститутками»! Но ведь через пять дней после этого Каменев стал председателем ВЦИКа! То есть президентом революцьённой России! (Петров сказал это именно так, «революцьённой», строкой Блока.) А Зиновьев — секретарем Петроградской парторганизации! А Троцкий, которого — опять-таки поделом — Ленин называл в свое время «иу-

душкой», по его же, ленинскому, предложению был единогласно избран народным комиссаром иностранных дел, хотя сначала именно Ленин предложил его — председателя Петроградского Совета рабочих депутатов — на пост председателя Совнаркома! А Троцкий отказался! Троцкий сказал, что председателем Совнаркома может быть только один человек — Ленин! Это же правда! Как ее ни прячь, она все равно не исчезнет… А как Ленин «колотил» Бухарина и Дзержинского во время Брестского мира?! Но ведь он не предлагал сместить Феликса Эдмундовича с поста председателя ЧК! А у Бухарина — отобрать редакторство «Правды»! Мы отучились дискутировать! Нас приучили к поранжирному повиновению! Мы поэтому… Нет, *вы*… Хотя это нечестно. — Петров прерывисто, всхлипывающе вздохнул, — *мы*, именно *мы*, вина моего поколения перед вами — неизмерна… Мы поэтому не понимаем, как это можно обмениваться резкостями, но при этом продолжать оставаться на одной стороне баррикады. Нам стало важно *слово*, а не *дело*… Постепенно победила Сталинская семинария, дисциплина казармы…

Медленно, словно бы собирая себя, Петров поднялся, отошел к кровати:

— Словом, говорили, что Сталин поручил начальнику охраны Ежова убить Серго. И Серго был застрелен у себя на квартире… Наиболее доверенным сказали, что Серго покончил с собой — слишком дружил с Бухариным, Рыковым, Пятаковым. Но ведь шила в мешке не утаишь: те, кто первым вошел в квартиру Орджоникидзе, подписали себе смертный приговор, составив акт о том, что в маузере Серго было семь патронов, а пороховой гари в стволе не было… Этих дзержинцев расстреляли, но — через неделю! Понимаете?! И мы узнали правду… И мы поняли: теперь все возможно, время всепозволенности, конец надеждам, крах вере в справедливость… А на похоронах Сталин рыдал на груди того, кто был им убит… А было тогда Серго сорок девять лет… А наркомздрав Каминский, который подписывал официальный бюллетень о «*болезни*» Серго, был расстрелян, как и все, кто знал трагедию или слышал о ней… Вот так и закончился термидор… А вот я уцелел…

Петров медленно поднял на меня серые глаза, в которых постоянно жили печаль и невысказанный укор:

— Да, я молчал, это правда… Но я и молчал-то для того лишь, чтобы дожить до сегодняшнего

дня… Чтобы сохранить для вас мою память… Хоть какую-то, но все же… Притча о гласе вопиющего в пустыне еще ждет своего толкователя.

4

…Это случилось во время традиционного авиапарада в Тушине.

Рано утром к нам позвонил Бухарин:

— Семен, вы туда едете?

— Конечно, Николай Иванович.

— Слушайте, я ни разу не наблюдал этого зрелища с поля — всегда с трибуны… Заберите-ка меня с собой, а?

Отец заехал за Бухариным, тот взял огромный бинокль, две бутылки боржоми, сказал, что близкие за городом, поэтому бутербродов, увы, не будет, и, задержавшись возле окна, внимательно обсмотрел улицу.

— В пятом году, перед тем как уйти с квартиры, я всегда проверялся, нет ли слежки, — улыбнулся Бухарин. — Не думал, что привычка так въедлива… Даже когда меня охраняли как члена Политбюро, порою ловил себя на мысли: отчего сопровождающие не глядят, *чисто* ли на улице?.. Впрочем, — заключил он, — к несвободе привыкаешь значительно быстрее, странно…

…В ту пору брат моего отца, Илья, комбриг, вступивший в Красную Армию в восемнадцатом

году, когда ему было четырнадцать, работал заместителем легендарного начальника московской милиции Вуля. В тот день он отвечал за обеспечение и координацию деятельности ОРУДа. Поскольку на парад приехало все руководство во главе со Сталиным — Молотов, Ежов, Ворошилов, Калинин, Каганович, Андреев, Микоян, Хрущев, Чубарь, Рудзутак, Косиор, Постышев, — регулировка движения на трассе от Кремля до Тушинского аэродрома была делом весьма ответственным, как и порядок на поле: «…страна кишмя кишит троцкистско-зиновьевскими диверсантами и шпионами, они готовят теракты против товарища Сталина, бдительность и еще раз бдительность, враг не дремлет…»

В отличие от отца, прослушавшего курс у Бухарина в ту пору, когда Николай Иванович возглавлял Институт красной профессуры, Илья был самоучкой, закончил четыре класса в деревне Березине, потом занимался в школе рабочей молодежи, будучи уже командиром эскадрона. Отличала его военная косточка, поэтому, заметив отцовский «фордик» (редакционный пропуск разрешал заезжать на поле), он подошел, никак не предполагая, что человек в косоворотке и кепчонке, устроившийся на капоте машины, не кто

иной, как Бухарин; вскинув ладонь под козырек, Илья отрапортовал:

— Товарищ член Центрального Исполнительного Комитета, обстановка на поле нормальная, никаких происшествий не было!

Бухарин недоумевающе посмотрел на отца.

— Это мой брат, — чуть смущенно пояснил отец.

— Ах, это и есть ваш легендарный Илья?! — Бухарин протянул ему руку. — Приятно познакомиться…

И в это как раз время над полем аэродрома пронеслись самолеты; Бухарин, взбросив бинокль, словно любопытный ребенок, приник к окулярам; проводив серебряные машины, подивившись слаженной стройности их треугольника, он случайно *мазанул* биноклем правительственную трибуну и увидел, как Сталин неотрывно рассматривает в бинокль его, Бухарина.

Не оборачиваясь к отцу, Николай Иванович негромко сказал:

— Семен, пусть ваш брат продолжает работу на поле, а вам бы лучше сесть на землю… Подстелите газету, вы хорошо сидите по-азербайджански, как настоящий кунак…

…Через двадцать минут Илья вернулся и, снова

взяв под козырек, обратился к Бухарину:

— Товарищ член Центрального…

— Да вы проще, — досадливо попросил Бухарин, не отрывая глаз от бинокля, — обращайтесь ко мне по-человечески…

— Николай Иванович, товарищ Сталин просит вас подняться на правительственную трибуну, мне поручил это передать вам замнаркомвнудел товарищ Берман…

Бухарин снова *мазанул* окулярами места под полотняным тентом, где наблюдали парад члены Политбюро, и снова *уткнулся* в бинокль Сталина, направленный точно на него.

— Передайте Берману благодарность, — ответил он. — Но мне очень интересно наблюдать парад как журналисту, среди зрителей…

…За неделю до того, как Бухарина — прямо с заседания пленума ЦК — отправили в тюрьму, Илью арестовали.

Следователь, молоденький парень, мобилизованный в НКВД после расстрела практически всего прежнего аппарата дзержинцев, внимательно посмотрел на те места в петличках дядькиной гимнастерки, где еще утром были эмалированные ромбы, отличительный знак комбрига, и очень тихо сказал:

— Нам все известно о вашей преступной связи с врагом народа Бухариным. Вы знаете законы, поэтому нет нужды разъяснять, что чистосердечное признание о совместной вражеской деятельности с троцкистским прихвостнем облегчит вашу участь.

— Я видел Бухарина один раз в жизни, — ответил Илья. — На Тушинском аэродроме… Я подошел, чтобы приветствовать его, как полагается по уставу…

— Как вы его узнали среди десятков тысяч трудящихся? По условному знаку? Или было заранее обговорено место встречи?

— Да не было ничего обговорено!

— Кто привез Бухарина в Тушино?

— Не помню.

— Кто вам его показал?

Илья усмехнулся:

— Вы с какого года?

— Здесь мы задаем вопросы, — так же тихо и корректно ответил следователь. — А вы отвечаете…

— Вам двадцать два, — сказал Илья. — Не больше. Значит, в двадцать девятом вам было четырнадцать, и вы помните, что портреты Бухарина выносили на Красную площадь наряду с

другими членами Политбюро…

— И вы не препятствовали этому?

— Чему?

— Прославлению одного из диверсантов и убийц?!

— Да разве член Политбюро может быть диверсантом и убийцей?!

— Прошу ответить на конкретный вопрос: вы, лично вы, не препятствовали прославлению Бухарина?

— Слушай, ну что ты, ей-богу, вола крутишь? — Илья вздохнул. — Скажи, что произошло, чего ты от меня хочешь, и на основании этого, когда я пойму суть дела, станем говорить по-людски…

— Это что, призыв к сговору? Так вас надо понимать? Повторяю: с какого года вы поддерживаете конспиративную связь с врагом народа Бухариным, формы, пароли, явки?! Пока не ответите на эти вопросы, из кабинета не выйдете.

И — начался «конвейер»: один следователь сменял другого, работала бригада; в конце вторых суток Илья почувствовал, что готов на все, лишь бы соснуть хоть десяток минут. И вот в то именно время вошел Иван Коробейников, они вместе участвовали в польском походе, в двадцатом.

Он долго сидел за столом, обхватив голову ла-

донями, потом подбежал к Илье, схватил его за шею, поднял со стула и закричал:

— Ты сколько времени будешь издеваться над людьми, вражина сучья? А?! Ты сколько времени будешь жопой вертеть?!

И, приблизив свое лицо к лицу Ильи, одними губами прошептал:

— Спи, а я буду орать.

И, обматерив *комбрига*, швырнул его на стул.

Илья сразу же уснул, как выключился. Он не знал, сколько времени спал, но очнулся от того, что Коробейников хлестанул его по лицу, заорав истошно:

— Встать! Я что говорю, вражина сучья?!

Илья, не понимая, что происходит, смотрел на него изумленно.

— Почему не выполняете указании следователя? — услыхал он чей-то голос у себя за спиной; с трудом обернувшись, увидел замнаркома Бермана. Тот стоял рядом с Николаем Ивановичем Ежовым — маленьким, похожим на калмыка, в скромной гимнастерке и мягких сапогах.

Раскачиваясь, Илья поднялся:

— Я не сплю двое суток, товарищ заместитель наркома.

— Гусь свинье не товарищ, — отрезал Бер-

ман. — Будете и дальше отпираться, пенять придется на себя. Сколько лет сыну? Пять? Смотрите, останется сиротой! Пролетарская диктатура умеет прощать заблудших, но беспощадна к вражинам.

Ежов кивнул Коробейникову:

— Продолжайте работать, соблюдая корректность, — и вышел; Берман — следом.

В ту ночь Илья спал четыре часа, это дало ему возможность вынести еще двое суток «конвейера», пока не пришел черед Ивана; и снова тот, надрываясь, кричал, а Илья, отвалив голову на спинку стула, спал.

После этого, на исходе пятого дня, Илью отправили в тюрьму: «с этим типчиком надо работать более серьезно».

И первым, кого он увидел в камере, был тот самый первый молоденький следователь — уже без *кубаря* в петлице и с сорванным с рукава гимнастерки шевроном НКВД; Илья заметил его сразу, хотя вместо четырех человек было набито более тридцати; сидели и лежали по очереди, пока остальные, кто покрепче, стояли, подпирая друг друга спинами, — какой-никакой, а отдых.

Сосед Ильи, судя по следам от ромбов, — начдив, то и дело усмехался, как скалился:

— Я — троцкист, а?! Ты понимаешь?! Троцкист! Все, кто был в Красной Армии с восемнадцатого, — троцкисты! Сами с Троцким на трибунах стояли и в президиумах сидели, а нам — отдувайся! Кто виноват, что Ленин с собою в Смольный одних врагов народа привел?! Кто?! Мы?!

Ночью комдива и еще семерых военных вызвали по списку.

— Прощай, браток, — сказал он Илье и дал ему мундштучок, который не выпускал изо рта. — Нас ведут кончать. И тебя кончат, если не признаешься в какой дури… Соглашайся на то, что Климента Ефремовича критиковал, шутковал над ним, но только *дай* им что-нибудь… Я поздно это понял — чего с меня взять, троцкист долбаный, дурак…

…Через три месяца Илья признался, что однажды слышал антисоветский анекдот в трамвае, рассказывал старик в очках, с родинкой на носу, увижу где — сразу на него укажу, виноват, что не задержал на месте, потерял бдительность, готов отвечать по всей строгости закона.

Решением особого совещания ему дали пять лет, и он был этапирован во Владивосток; там, вокруг вокзала, уже ждало отправки в ванинский порт более тридцати тысяч зэков, спали на земле, где кто как устроится…

Осмотревшись, Илья понял, что урки наверняка пришьют его за чекистскую форму, — «сука», а особенно за следы от ромба — «большая сука». Поэтому, вспомнив молодость (хотя во время ареста ему было всего тридцать три), бои с бандформированиями, когда его под видом блатного мальчишки засылали в состав группировок Булак-Булаховича, он и присел к уркам — кинуть «очко».

То ли урки были квелые, то ли карта шла Илье, то ли он умело *тасовал,* но к утру снял банк, унес наволочку с деньгами, купил валенки, ватник, теплую шапку, кожаную куртку; свою форму продал фраерам и через месяц оказался на руднике «Запятая» — в двухстах километрах от Магадана.

С повозок им сбросили колючую проволоку, чтобы сами обнесли зону, и простыни: «Устраивайте себе ледовые палатки, ничего, перезимуете, челюскинцы трудней жили…»

И началось его лагерное житье.

В забое работал вместе с секретарем Ленинградского горкома *(доходил,* арестовали в тридцать шестом) и начальником политотдела Сталинской железной дороги — Василием Борисовым.

Секретарь горкома тощал на глазах, сох; однажды шепнул Илье:

— Не в коня корм, Илюшка… Меня несет, язва… Как горох поем, так он целеньким и выходит… Горошинка от горошинки… Добро пропадает… Промывай и ешь. Тут выжить надо, для этого все сойдет, скоро этот бред кончится, погоди, дай только узнать обо всем товарищу Сталину…

Илья начал промывать дерьмо, заливал кипятком и, зажмурившись, ел *горошинки…*

Когда секретаря похоронили — в забое, сил не было тащить наверх, — начальник политотдела сказал:

— Илья, с полгода протянем, глядишь, а потом сдохнем… Надо идти в побег, нести правду Москве: здесь же цвет партии гибнет.

— А чего ты жрать в побеге будешь? — спросил Илья. — До железной дороги не дочапаешь, до Магадана две сотни верст, замерзнем…

— Говорят, есть путь… Помнишь чекиста Бурова? Он еще с помощником Дзержинского, товарищем Беленьким, дружил? Ну, он и говорил, что отсюда было два побега, выходили на материк…

— А где этот Буров?

— Похоронили.

— А Беленький?

— Того в Москве расстреляли, он сокамерникам

говорил…

— А ты поверил? Здесь же ссылок не было, тут ссылку начали год назад создавать, Вася, сказки это…

— Так что ж, так и подыхать здесь?!

— Не надо, — усмехнулся Илья, — стоит пожить…

Помог, как и всегда, случай: единственный трактор, который забросили в лагерь еще летом тридцать шестого, сломался. Начальник выстроил зэков:

— Кто исправит машину — дам килограмм масла и три буханки хлеба.

Илья шагнул из строя:

— Я механик, гражданин начальник… Позвольте попробовать?

— Попробовать? Нет, пробовать не разрешу. А запорешь машину до конца, сядешь в бур.

— Слушаюсь, гражданин начальник, согласен.

Было это уже в декабре, мороз лютый, за сорок; Илья развел костры вокруг трактора, взял в помощники начальника политотдела Васю, хотя тот в технике был ни бум-бум, а дядька как-никак кончил шоферские курсы и по праву считался одним из самых лихих водителей Москвы.

Словом, трактор они сделали, начальник был

человеком справедливым, дал полтора килограмма масла и четыре буханки.

«Я это мороженое масло топором рубил, ел кусками и Васю политотдельского заставлял, — рассказывал потом дядька. — Я блюю, и он блюет, понял-нет?! “Не могу, — стонет, — кишки выворачивает”. А я ему: “Жри! Надо кишки-то смазать, дать им витамин, доходягой в побег не уйдешь!” — “А как же товарищи?! Им что принесем?!” Ну я тогда и озлился: “Здесь двадцать тысяч наших товарищей, понял-нет?! Хочешь накормить их полутора килограммами?!”»

— Однако же, — заключил Илья, — в сердце у меня была тяжесть, неудобство какое-то, хоть лагерь быстро лечит от сентиментальностей. Отнесли мы маслица старикам-доходягам, политкаторжанам, что еще с Бакаевым сидели, с Рудзутаком и Эйхе, понял-нет?.. А самый уважаемый человек, вроде «пахана», был у нас, политиков, член Реввоенсовета одиннадцатой армии, фамилии не помню, только знаю, что он с Иваном Никитовичем Смирновым дружил, — красный командир был, его одним из первых посадили, в начале тридцатого… Так вот, полизав масла и выслушав слова Васи, что надо нести правду в Москву, он засмеялся беззубым ртом:

«Дурачок ты! Сталину, говоришь, намерен нести правду?! Да все, что происходит здесь, угодно одному лишь человеку — Сталину! Он же всех тех *должен* истребить, кто *помнит* Октябрь, кто знает, как он перед Троцким заискивал, как он в его честь в газете “Севзапкоммуны” в восемнадцатом году статью написал, мол, когда говорим “товарищ Троцкий”, подразумеваем “Красная Армия”. Когда говорим “Красная Армия”, всем ясно: “товарищ Троцкий”… Вы погодите, погодите, он еще какие-нибудь документы напечатает, каких слабаков об колено сломит и будет процесс против Ленина как немецкого шпиона! Что контра не успела сделать, он доделает…» Вася тогда аж побелел, масло у него вырвал, сукой обозвал, фашистом… Словом, решили мы с Васей идти в побег в июне тридцать девятого, понял-нет? К счастью, в ту пору меня на трактор перевели, так мы с Васей то хлеба своруем, то масла, подкармливали стариков-ленинцев, да и себе на побег делали запасы… Главное, чтоб в Москву прорваться, иначе следующим летом тут вообще никого не останется, одно кладбище, понял-нет? Назначили мы день побега, а тут утром, понял-нет, начальник лагеря объявляет, что приговор по моему делу отменен: Сеньку-то в партии вос-

становили после расстрела Ежова, ну он и пошел за меня молотить… Да, понял-нет… Это я еще тебе смешного не рассказал. У нас там смеху тоже хватало, страх вспомнить…

…На Новодевичьем кладбище на могильной плите моего деда Александра Павловича до сорок девятого года было выбито: «Прости, не успел. Илья. 20-го мая 1940 года» — дядька вернулся в Москву через три дня после похорон его отца.

Я помню, как он — худой, с ввалившимися щеками — посмотрел на обеденный стол, накрытый у нас на Спасо-Наливковском, и спросил отца:

— А водка где?

Бабушка Дуня принесла пол-литра, Илья накрошил черный хлеб в большую тарелку, нарезал туда лук, залил все это водкой и начал есть большой ложкой — молча и сосредоточенно. Он съел всю тарелку; пододвинул сковородку с яичницей и салом, поковырял вилкой и усмехнулся:

— А ведь правду говорил наш пахан-политик.

…Он продолжал усмехаться, уплетая яичницу, а по щекам его катились быстрые слезы.

5

Хотя Каменев и Зиновьев согласились — после двух лет мук в камере — встретиться с членами Политбюро, Сталин не торопился их принимать, хотя понимал, что это — капитуляция его врагов.

Он ждал смерти «защитничка» — Максима Горько; пока тот жив, процесс невозможен.

Сразу после похорон Горького он приказал привезти своих врагов в Кремль.

Медленно расхаживая по кабинету, Сталин глухо говорил, обращаясь к своим бывшим коллегам по Политбюро; обращался не к ним — к Ягоде:

— Если *товарищи* поведут себя на процессе так, что смогут раз и навсегда похоронить троцкизм как идейное течение, если они докажут миру, что Троцкий не остановится ни перед чем в борьбе против Державы нашей и партии, тогда, конечно, аресты бывших оппозиционеров будут немедленно прекращены, члены их семей отпущены домой, а сами товарищи (Сталин наконец поднял глаза на Каменева и Зиновьева) после вынесения приговора, который будет однозначным, отправятся на дачу, чтобы продолжать свою литературную работу, а затем будут помилованы…

Сталин снова посмотрел на Каменева, остановившись посреди кабинета, и в уголках его рта можно было прочесть горькую, но в то же время ободряющую улыбку.

Каменев поднялся:

— Мы согласны.

Он сказал это человеку, который в семнадцатом считался его другом; во всяком случае он, Сталин, именно так называл себя в редакции «Правды», где они — до ареста Каменева Временным правительством — были соредакторами…

Каменев считался другом Сталина и в двадцать четвертом, когда они вели совместную борьбу против Троцкого: «члены ленинского Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин — идейные продолжатели дела Ильича».

И вот спустя двенадцать лет против Сталина, организовавшего убийство Кирова, стоял Каменев, согласившийся принять на себя вину за это убийство и прилюдно растоптать свое прошлое…

…Через два месяца Каменева расстреляют.

…Миронова, присутствовавшего при том, как Сталин дал слово сохранить жизни Каменева и Зиновьева, расстреляют через семь месяцев.

…Затем расстреляют Ягоду, которому Ежов дал

честное слово не казнить его, если он обвинит Бухарина.

Самого Ежова убьют в камере вскоре после расстрела Бухарина…

6

Писатель Александр Воинов рассказал мне поразительную историю:

— В конце ноября сорок первого я получил недельный отпуск — после контузии и награждения орденом. Поехал в Куйбышев, там тогда находилась наша вторая столица. Встречаю на улице Киселева, режиссера кинохроники по кличке «Рыжий».

— Хочешь посмотреть мой новый фильм? — спросил Киселев.

— Конечно, хочу.

И мы отправились в то здание, где было выделено несколько комнаток кинохронике. В маленький просмотровый зал натолкалось народа видимо-невидимо; фильм смотрели затаенно, многие плакали; мягкие хлопья снега царственно и беззвучно ложатся на брусчатку Красной площади, на Мавзолей, на шинели красноармейцев и командиров, на осунувшееся лицо Сталина и его соратников — товарищей Молотова, Берия, Кагановича, Щербакова, Микояна… Снежное безмолвие, тревожная тишина, ожидание… Только одно живое во всей панораме — дыхание людей;

кто простужен — ловит воздух ртом; счастливчики в валенках и теплом белье дырявят студеный воздух струйками теплого белого пара из носа.

Апофеозом фильма был тот момент, когда Сталин приблизился к микрофону и произнес свою короткую речь. Я представил себе счастье красноармейцев моего батальона, когда они увидят эти кадры: Отец — в скромной солдатской шинели, осунувшийся, но такой родной и любимый, — говорит со своими Детьми…

— Слушай, — спросил я Киселева, жадно вглядываясь в лицо Вождя, — а почему у него пар не идет изо рта?

Киселев окаменел. Я почувствовал, как замерло его плечо; он словно бы не слышал моего вопроса, а мне тогда исполнилось двадцать шесть, дипломатии учен не был, свято верил догмам: «ничего не таи в душе, спрашивай все, что не понял, товарищи помогут разобраться во всем».

— Нет, но почему все же у товарища Сталина не идет пар изо рта? — продолжал удивляться я. — У всех шел, а у него — нет…

Сзади, из напряженно-тревожной темноты, кто-то спросил требовательным шепотом:

— Кто задал этот вопрос?

Киселев яростно толкнул меня коленом, закаш-

лялся и показал глазами на дверь; поднимаясь со стула, шепнул, стараясь скрыть свои слова надрывным кашлем: «Иди за мной».

Недоумевая, я вышел; в коридоре поразился мертвенной бледности Киселева: «Немедленно возвращайся на фронт, — прошептал он. — Забудь об этом просмотре! Никому не говори ни слова! Знаешь, кто о тебе сейчас спрашивал?! Беги на вокзал, и чтоб ноги твоей здесь не было! Я твою фамилию не помню: какой-то журналист, и ты молчи, что мы дружили, ясно?!»

С этими словами «Рыжий» вернулся в зал. Я по-прежнему не очень-то понимал, что произошло, но то, как он был испуган, как выступили мелкие веснушки на его побелевшем лице, как тряслись руки, подсказало мне: «дело пахнет керосином, я прикоснулся к чему-то запретному, надо драпать».

И я бегом бросился на вокзал, сел в проходящий эшелон и вернулся на фронт, терзаемый безответным: «так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?»

…С режиссером Киселевым я познакомился летом пятьдесят седьмого в Кабуле, где работал на торгово-промышленной ярмарке переводчиком с пушту и английского.

Киселев делал документальный фильм об этой ярмарке; престиж кинематографиста был тогда еще достаточно велик, он властно командовал директорами павильонов, переводчиками, гостями, организовывая нужные ему сцены; пару раз я переводил ему, когда он снимал эпизоды с наиболее уважаемыми пуштунами.

Вот к нему-то я и обратился с вопросом: «Так почему же не шел пар изо рта товарища Сталина?»

С той поры, когда он снимал легендарный парад, прошло пятнадцать лет, Сталин умер, пришло время Хрущева, в стране настала кратковременная оттепель, люди начали постепенно — со страхом и неверием — пытаться изживать из себя въевшийся страх и привычное неверие друг в друга.

Киселев ответил мне не сразу; мялся, глядя на меня, молодого еще совсем; потом вдруг отчаянно махнул рукой:

— Ладно, расскажу… Наркомкино Большаков назначил меня ответственным за съемку парада на Красной площади… Честь огромная… Сняли… В ту же ночь проявили на Лиховом переулке… Кадры — поразительные, однако речь Сталина на звукопленку не записалась… Представляете?! Нет, вы себе этого представить не можете…

Это гибель не только всех нас, всех наших родственников и друзей, но и разгром кинохроники: «злостный саботаж скрытых врагов народа, лишивших человечество уникального документа»… Именно тогда я и начал седеть, в те страшные минуты, когда звукооператор, едва шевеля посиневшими губами, сообщил эту новость.

«Как это могло случиться? — спросил я его, придя в себя. — Ты понимаешь, что нас ждет? Ты понимаешь, что мы — объективно — льем воду на мельницу Гитлера?» — «Да, — ответил мой товарищ едва слышно. — Понимаю… Но ведь я не имел времени, чтобы проверить кабель, все ж было в спешке… Снег… Наверное, что-то не сработало в соединительных шнурах… Я за своих ребят ручаюсь головой, ты ж их тоже знаешь, большевики, комсомольцы…» — «Рыков тоже называл себя большевиком, — ответил я ему, — а на поверку оказался гестаповским шпионом».

— Словом, — продолжил Киселев, — я поехал к председателю комитета кинематографии Ивану Григорьевичу Большакову. Тот выслушал меня, побледнел, походил по кабинету, потом, остановившись надо мною, спросил: «Какие предложения? Кто виноват в случившемся?» — «Виноват я. С меня и спрос. Предложение одно:

сегодня ночью построить выгородку декорации в одном из кремлевских залов и снять там товарища Сталина». — «А как объяснить, что съемка на Красной площади была сорвана?» — «Съемка не сорвана. Кадры сняты уникальные. Но из-за того, что у нас не было времени заранее подготовиться к работе, один из соединителей микрофона *отошел* — снег, обледенело, — охрана постоянно гнала наших людей к камере, подальше от Мавзолея…»

Большаков снова походил по кабинету, потом снял трубку «вертушки», набрал трехзначный номер: «Товарищ Сталин, добрый вечер, тревожит Большаков… Кинохроника сняла замечательный фильм о параде на Красной площади… Однако из-за неожиданных погодных условий звук получился некачественный. Интересы кинематографа требуют построить выгородку в Кремле и снять фрагмент речи в Грановитой палате. Что? Выгородка — это часть Мавзолея, товарищ Сталин… Да… Именно так… Это займет тридцать минут, товарищ Сталин… Да, не больше… Хорошо… Выгородку мы построим часа за четыре… Сегодня в три? — Большаков посмотрел на меня с растерянностью; большие настенные часы показывали одиннадцать вечера; я решительно

кивнул, мол, успеем; нарком покашлял, потом тягуче ответил: — Лучше бы часов в пять… Хорошо, товарищ Сталин, большое спасибо, в половине пятого съемочная группа прибудет к Спасским воротам, строителей и художников вышлют немедленно…»

…Ровно в четыре тридцать утра дверь Грановитой палаты отворилась и вошел Сталин. Видимо, Большаков его предупредил уже, Верховный был в той же солдатской шинели, что выступал давеча; хмуро кивнув съемочной группе, он поднялся на выгородку, сколоченную за это время нашими художниками; я дал знак осветителям, они врубили юпитеры; свет был ослепительным, внезапным; Сталин прикрыл глаза рукой, медленно достал из кармана текст выступления и начал говорить — в своей неторопливой, *обсматривающей* манере. Я наблюдал его вблизи, видел, как он похудел, какие тяжелые мешки у него под глазами, как отчетливы оспины и седина; обернувшись к операторам, я сделал едва заметное движение рукой; они поняли: надо избегать крупных планов, вождю это могло не понравиться, народ привык к совершенно иному облику Верховного: широко расправленная грудь, черные усы, прищурливая усмешливость

глаз; здесь же, в Грановитой палате, на деревянном помосте, изображавшем Мавзолей, стоял согбенный, уставший старик.

…И в тот короткий миг, когда я обернулся к операторам, мой коллега, отвечавший за звукозапись, показал руками, что и сейчас, в этом огромном, пустом зале, когда мерно стрекотали камеры и юпитеры жарили лицо Сталина, текст Верховного по-прежнему не идет на пленку… Я ощутил приступ тошноты, своды палаты начали рушиться на меня, сделалось душно, и я вдруг ощутил свою никчемную, крохотную малость. Зачем надо было класть жизнь на то, чтобы рваться вперед и наверх?! Жил бы себе тихо и незаметно! Умер бы дома, в кругу родных, не обрек бы их на грядущую муку и ужас! Но именно в момент отчаяния, в ситуации кризисной, решения приходят мгновенно… Когда Сталин, закончив читать выступление, снял фуражку, вытер вспотевший лоб и неторопливо пошел к выходу из Грановитой палаты, я обежал Большакова, который сопровождал Верховного, и сказал: «Товарищ Сталин, вам придется прочитать выступление еще раз…» Помню испуг Большакова, страх, который он не мог скрыть; никогда не забуду реакцию Сталина: «Это — почему?» Он спросил меня, не подымая

глаз, голосом, полным усталого безразличия. И я, глядя на Большакова, словно гипнотизируя его, моля не выдавать мою вынужденную ложь, ответил: «В кинематографе принято делать дубль, товарищ Сталин». Верховный, наконец, медленно поднял на меня свои глаза; они только издали казались улыбчивыми и отеческими; когда я увидел их вблизи — желтые, постоянно двигающиеся, тревожные, — мне стало не по себе. Сталин медленно оборотился к Большакову; лицо наркома сделалось лепным — прочитывался каждый мускул; однако он согласно кивнул, хоть и не произнес ни слова. Медленно повернувшись, Сталин вернулся к выгородке, под жаркий свет юпитеров. Я подбежал к звукооператору, шепнул, чтоб он еще раз проверил все соединения, подошел к микрофону и постучал пальцем по сетке; звуковик обмяк в кресле, и некое подобие улыбки тронуло его бескровные губы — все в порядке, пошло! А в моей голове мелькнула шальная мысль: «Вот бы попросить, — “товарищ Сталин, скажите-ка: раз-два-три, проба!”». И я подумал: а ведь он бы выполнил мою просьбу — важно только было сказать приказным голосом…

…*Дубль* получился; Сталин так же, как и первый раз, не прощаясь ни с кем, медленно пошел

к выходу; я семенил за Большаковым, который был, как всегда, на полшага за Иосифом Виссарионовичем. Уже около двери Сталин жестко усмехнулся: «И в кино одни Макиавелли».

Эти странные слова Сталина, которые так запомнились Киселеву, преследовали меня; я искал ответ на вопрос: «Почему именно Макиавелли?»

Искал и не мог найти.

…В 1965 году писатель Лев Шейнин (в прошлом помощник Вышинского) позвонил мне из Кунцевской больницы: «Вы хотели поговорить с Вячеславом Михайловичем Молотовым? Он здесь, вместе с Полиной Семеновной, приезжайте, я вас представлю».

Через час я был у него в палате. Маленький, кругленький, работавший — после освобождения из Лефортовской тюрьмы — главным редактором «Мосфильма», Шейнин был человеком улыбчивым, постоянно тянувшимся к людям. В разговорах, однако, был сдержан: как-никак именно он, помощник Генерального прокурора Союза, прибыл вместе со Сталиным в Ленинград на следующий день после убийства Кирова. О Вышинском как-то сказал во время прогулки по аллеям нашего писательского поселка в Пахре: «Это человек тайны, не стоит о нем, время не

подошло». В другой раз, тоже во время прогулки, смеясь, заметил: «Когда меня привезли в Лефортово, я сказал следователю: “Если будет боржоми, подпишу все, что попросите, о моей, лично моей шпионской работе”, — я-то знал, что исход один… Впрочем, я еще хранил иллюзии. Черток в этом смысле оказался самым умным». — «Кто такой Черток?» — «Это следователь Льва Борисовича Каменева… Чудовище был, а не человек… Он себе такое позволял, работая с Каменевым… Словом, когда за ним пришли, а это случилось через месяц после того, как Каменев был расстрелян, он прокричал: “Я вам не Каменев, меня вы не сломите!” — и сиганул с балкона». Я спросил: «Почему?» Шейнин поднял на меня свои глаза-маслины, судорожно вздохнул и ответил: «Милый, не прикасайтесь вы к этому, не надо, так лучше будет для вас…»

…Именно он, Шейнин, и завел меня в большую палату государственного пенсионера СССР, бывшего члена партии Молотова, и его жены, ветерана партии Жемчужиной. Разговор был *светским;* Молотов шутил, говоря, что, прочитав мою «Петровку, 38», он начал с опаской гулять по улицам, расспрашивал, над чем я работаю, как начал писать, имеет ли что-то общее с моей

судьбой персонаж из моей повести «При исполнении служебных обязанностей» молодой пилот Павел Богачев, воспитывавшийся в детском доме, куда был отправлен после расстрела отца; когда я попросил о следующей встрече (я тогда готовился к роману «Майор Вихрь»), он ответил согласием, написал свой телефон на улице Грановского, попросив при этом никому его более не передавать.

Позвонил я ему, однако, только через год: то он уезжал на курорт, то я шастал по стране, работая в архивах.

Первый раз я поднялся к нему на Грановского, когда Полины Семеновны не стало уже; мы сидели в маленьком кабинете Молотова, обстановка которого напоминала фильмы тридцатых годов: кресла, обтянутые серой парусиной, стол с зеленым сукном, маленький бюст Ленина, в гостиной — книги в скромных шкафах, китайский гобелен и портрет Энгельса в деревянной рамке.

Молотов рассказал ряд эпизодов, связанных с январем сорок пятого, когда Черчилль обратился к Сталину за помощью во время Арденнского наступления немцев, дал анализ раскладу политических структур в тот месяц — как он ему представлялся; потом, улыбнувшись, заметил,

что в то время Сталин уже практически «не затягивался, набивал трубку “Герцеговиной Флор”, но табаком лишь пыхал». Не знаю почему, но именно тогда я и решил спросить его о Макиавелли.

Молотов цепко обсмотрел меня своими глазами-буравчиками, снял на мгновение пенсне, потер веки и ответил четкой формулировкой:

— Увлечение Макиавелли симптоматично, ибо свидетельствует о сползании в реакцию.

…Я уже знал тогда, что в тридцать шестом году какое-то время позиции Молотова были шатки, поскольку ни Каменев с Зиновьевым, ни Ольберг не назвали его имя в числе тех, кто «подлежал уничтожению»; были перечислены практически все ближайшие соратники вождя — Н.И. Ежов, Г.К. Орджоникидзе, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, но Молотова среди них не было. Лишь после того, как был убит Серго и Молотов после этого выступил на февральско-мартовском Пленуме ЦК, его имя уже было включено в список будущих «жертв» на втором процессе по «делу» Пятакова.

Знал я тогда и то, что над Молотовым собрались тучи и накануне смерти Сталина: жена арестована как «враг народа», а сам он оттерт на третий план группой Маленкова — Берия. Поэтому меня потрясала та нескрываемая нежность, с

которой он произносил имя Сталина; нежность была какой-то юношеской, восторженной, она даже несколько выпячивалась им, хотя Молотов, казалось, не был человеком позы.

— А как Сталин относился к Макиавелли? — спросил я, несколько опасаясь его реакции, ибо рискованная пересекаемость имен подчас вызывает в политиках (особенно с приставкой «экс») непредсказуемую реакцию.

Молотов ответил сдержанно:

— Сталин понимал, как чужд самому духу нашего общества строй мыслей этого философа. Сталин говорил правду, а Макиавелли всегда искал путь, чтобы ложь сделать правдой, — и, помедлив мгновение, он заключил: — Впрочем, порою наоборот…

…Первый том Собрания сочинений Макиавелли был издан «Академией» в Москве и Ленинграде крошечным тиражом в тридцать четвертом году; второй том так и не опубликовали, поскольку предисловие было написано Каменевым, а его — вскоре после убийства Кирова — арестовали. Хотя в предисловии Каменев и подчеркивал, что одна из порочных идей Макиавелли состоит в отторжении морали от политики и что — следуя флорентинцу — высший смысл человеческого

существования заключен лишь в работе во благо государства, но при этом советовал помнить: идеал государства — это республика; Древний Рим дал пример такого сообщества, где каждый гражданин вдохновенно сражался и отвечал за престиж и достоинство родины, поскольку имел на то право, гарантированное Законом; однако Республика становится фикцией, если власть убивает в народе добродетели и личное достоинство, предпочитая править страхом и террором.

Будучи по образованию теологом, Сталин знал толк в осмыслении заложенного между строк; он считал, что выпуск тома Макиавелли с предисловием Каменева направлен против него, дирижера начинавшегося террора.

Именно поэтому во время процесса Каменеву и было поставлено в вину — наравне с подготовкой покушений и антисоветской борьбой — издание книги Макиавелли.

Сталин достаточно долго думал и о том, чтобы вписать в показания Зиновьева фразы о «вредительской» книге Займовского «Крылатое слово» с предисловием того же Каменева, который утверждал: «Автор далеко не в достаточной степени использовал нелегальную, подпольную прессу эпохи царизма, а также “крылатые сло-

ва", созданные революционной эпохой. Но это не личная ошибка автора, а скорей наша общая беда. Можем ли мы сказать, что в должной мере изучили — или хотя бы изучаем — подпольную прессу, ее историю, ее сотрудников, приемы, язык? Конечно, нет!»

Сталин прекрасно понимал, что если — следуя Каменеву — читатели начнут «изучать подпольную прессу», то в массе своей пришлось бы упоминать имена тех революционеров, которые ныне, по его, Сталина, указанию, были объявлены «врагами народа».

Именно поэтому каменевское предисловие к «Крылатым словам» и не было упомянуто на процессе: еще далеко не все книги были запрещены и изъяты из библиотек, еще не до конца была убита память — надо ждать.

Нельзя было вспомнить и «Замогильные записки» Печерина, изданные также с помощью Каменева. Как поставишь ему в вину книгу блестящего профессора университета, сбежавшего на Запад в 1837 году, если придется зачитывать отрывки из нее?!

Каково Генеральному прокурору Вышинскому процитировать: «Я был уверен, что если б я остался в России, то… попал бы в Сибирь ни за

что ни про что. Я бежал не оглядываясь, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство!»

(Поди, додумайся, царский цензор, что Лермонтов дал своему любимому герою имя первого беглеца из России! Поди, разгадай писательскую хитрость: поставь две точки над «е», — и вся недолга, — «Печёрин», а не изменник «Печерин»!)

Искусству или умению изучать русскую прозу следует помогать компьютерами, хотя, думается, даже компьютер не сможет подсчитать все те трагические компоненты отчаяния, надежды, мольбы, страха, любви, что рвали сердца тех литераторов, кому господь дал ум, — от него у нас горе, от чего ж еще?!

…Впрочем, определенные выводы во время подготовки процесса своих бывших друзей Каменева и Зиновьева были сделаны: Сталин запретил издание «Бесов» и «Дневника писателя», как и переиздание Макиавелли, не говоря уже о запрете публикации ряда работ Энгельса о русской истории, с одной стороны, а Соловьева — с другой.

…Среди режиссеров, которых Сталин высоко ценил, был и Чиаурели; тот подробно рассказывал ему о «технологическом процессе» создания фильма; поэтому Верховный узнал, что в доку-

ментальных лентах «дублей» не делают, — на то они и документальные, одно слово — «хроника».

Большакову — при очередной встрече — Сталин заметил: «А этот ваш режиссер, что снимал в Грановитой палате, смелый человек… Таких бы и посылать на самые боевые участки — не подведет».

Киселев, однако, выжил, судьба не дала ему погибнуть, хотя должен был: «Макиавелли» страшны не только в политике, но и в кино.

Александра Воинова от ареста спасло ранение; когда его все же нашли, он лежал в госпитале, думали — не поднимется.

А — поднялся.

7

Летом сорок второго Сталин — после разговора с Черчиллем — затребовал гитлеровскую кинохронику, подчеркнув, что хочет видеть «все, а не цензурированные огрызки, мне политконтроль не нужен».

Просмотрев сцены восторженного приема, устроенного солдатами и офицерами вермахта фюреру в непосредственной близости от линии фронта, он вызвал народного комиссара внутренних дел Л.П. Берия:

— Вашей службе были заранее известны даты приезда Гитлера в окопы?

Берия ответил, что прилет Гитлера на фронт был совершенно неожиданным, заранее не подготовленным, некий экспромт, лишь поэтому «мои люди из Швейцарии не успели нас проинформировать».

— И это вам представляется нормальным? — спросил Сталин. — Разведка, которая «не успевает проинформировать», недорого стоит… Ваш либерализм по отношению к арестованным, когда вы прилетели в Москву, в тридцать восьмом, был оправдан: тот, кто сменил Ежова, обязан

быть справедливым… Думаете, мне не писали, что вы санкционировали слишком много пересмотров дел? Полагаете, не сигнализировали, что на Особом совещании вы предлагали давать обвиняемым минимальные сроки вместо максимальных? Но преступно считать, что либерализм — по отношению к бездельничающим нелегалам, которые отдыхают в Женеве, — в дни битвы народов допустим и оправдан.

Сталин медленно поднял на Берия побелевшие глаза — явный признак раздражения; когда Верховный был в гневе, зрачки исчезали, словно бы растворяясь в размытой желтизне.

…Впервые Берия заметил это, окончательно перебравшись в Москву. Ночью, после долгого разговора о том, как следует *выбрать* из Германии нелегалов, чтобы не раздражать Гитлера после заключения договора о дружбе, Сталин неторопливо походил по кабинету, потом достал из стола бумагу — листочек в клеточку, исписанный четким и, как показалось Берия, детским почерком.

— Ознакомьтесь, — сказал Сталин, кивнув на письмо.

Берия протер пенсне замшевой тряпочкой, которую постоянно носил в левом нагрудном

кармане, взял листок, пробежал строки, опустив первые, обязательные, в которых говорилось о том, что Сталин — честь, ум и сердце страны, великий гений, друг всех обездоленных, и все в этом роде. Остановился на третьем абзаце: «Когда нашего замечательного дирижера, народного артиста Грузии Микеладзе привезли в кабинет Берия Л.П., он уже был слепым, потому что во время допросов у него выбили глаза, требуя признания в том, что он вместе с поэтами Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе входил в диверсионно-шпионскую группу, руководимую из Парижа лидером меньшевиков Ноем Жордания и неким полковником гестапо.

Микеладзе *втащили* в кабинет тов. Берия Л.П., и тот сказал: “Дирижер, вас изобличили подельцы, у нас достаточно материалов, чтобы расстрелять вас и без официального признания! Но неужели вы не хотите облегчить совесть, выскоблить себя перед народом?!”

— Товарищ Берия, — ответил великий музыкант, — я ни в чем не виноват, и вам об этом прекрасно известно!

— Откуда ты узнал, что я — Берия?! Ты же слеп!

— У меня абсолютный слух, Лаврентий Павло-

вич. Я узнаю любого человека по голосу…

И тогда Берия Л.П. сказал тем, кто привез к нему гения грузинского народа:

— Так вбейте ему гвозди в уши, чтоб он не мог никого узнавать по голосу!

И это сделали с Микеладзе. И Родина потеряла одного из лучших своих сынов…»

Берия, выгадывая время, начал читать письмо второй раз, но Сталин сказал:

— Положите бумагу, ее незачем читать дважды… Написанное — правда?

Берия мгновенно просчитал, что, если Сталин вызовет сюда тех трех, что присутствовали в кабинете во время *беседы* с Микеладзе, они неминуемо *развалятся.* Поэтому отвечать надо правду, *замотивированную* правду.

— Да, — ответил Берия, — это правда, товарищ Сталин… Микеладзе, Яшвили и Табидзе прилюдно обсуждали вопрос о том, как я «перекроил историю, приписав Сталину те революционные заслуги, которых он не делал». Более того, они говорили, что «убийство Авеля Енукидзе и Камо санкционировано Сталиным, который убирает тех, кто работал на Кавказе в начале века»… И еще: они повторяли слова бывшего полицмейстера Басилашвили, который рассказывал, что

якобы «Сталин был впервые арестован не как пламенный революционер-ленинец, но как… некий Робин Гуд, дерзко грабивший богатеев. И только в тюрьме, под воздействием Ладо Кецховели, он примкнул к социал-демократии и с тех пор занимался экспроприациями для партии»…

— Вам более, чем кому бы то ни было, известно, откуда идет эта сплетня… Меня не волнуют сплетни, я их о себе слышал немало… Меня волнует другое: как могло случиться, что информация о факте с Микеладзе, — Сталин кивнул на письмо, лежавшее на столе, — стала известна людям? Да, да, людям, Берия! Многим людям! Думаете, в отделе писем ЦК об этом не говорят?! В их семьях? В семьях их друзей?! Думаете, об этом не говорит Грузия? Меня во всем этом деле меньше всего интересуете вы! Меня беспокоит престиж моих коллег, которые рекомендовали Берия на пост наркомвнудела… Словом, я даю вам три дня для того, чтобы этот факт, — он снова брезгливо кивнул на письмо, — перестал быть фактом… Если что-то делаете — доводите до конца. У нас в России грузинские *штучки* не проходят, Берия. Ясно?! Или, может быть, вы такого рода всепозволенностью решили похвалиться своей близостью к Сталину? Особенно после того, как выпустили

книгу об истории большевистских организаций Закавказья?! Может быть, это не случай, а организованная комбинация?! Может быть, вы забыли, что накануне следствия по делу Каменева было принято постановление, запрещавшее пытки оппозиционеров?!

Берия опустил глаза, боясь, что Сталин *прочтет* его: всем было прекрасно известно, что два года Каменева и Зиновьева кормили соленой рыбой, не давали воды и держали в камерах, где даже в жару топили печки… Зиновьев валялся на полу, начались печеночные колики, на этом его и сломили, потом сдался Каменев, о каком *постановлении* говорит Коба, он же знает все, абсолютно все!

Вот тогда впервые Берия и затаил ненавидящий ужас к этому человеку, задавленный, однако, неподвижной плитою магического преклонения перед ним.

И вот сейчас, спустя три года, походив по кабинету, Сталин раздраженно бросил:

— Во-первых, всю радиосвязь с вашими нелегалами необходимо прекратить начиная с сегодняшнего дня… Вплоть до моего указания… И, во-вторых, послезавтра я выезжаю на фронт, в район Ржева, пусть Серов подготовится…

…Он никому не верит, подумал Берия; он запретил связь с резидентурами, чтобы мы не передали им о его выезде из Москвы, он не дал мне время на подготовку, чтобы *факт* его поездки не стал известен кому бы то ни было. И Ржев выбрал не зря: видимо, именно для беседы о положении на Северо-Западном фронте он вчера вызывал не только Штеменко, но и Шапошникова с Голиковым, которые привезли оттуда двух командармов.

…Наутро генерал Иван Серов отправил под Ржев эшелон с батальонами охраны — «для проведения маневров в условиях боевой обстановки»; вызвал в штаб всех особистов фронта: «Необходимо обсудить вопросы, связанные с переформированием частей особого назначения».

В тот же день в Ржев прибыло еще три эшелона: охрана начала патрулировать все большаки и проселки в радиусе ста километров.

А назавтра туда приехал Сталин; его отвезли на окраину разбомбленного города и поселили в одном из чудом уцелевших домиков; Серов извинился:

— Товарищ Сталин, беда с водопроводом… Туалет во дворе, там же и умывальник…

— А где, по-вашему, оправлялся Сталин в Туруханском крае? — усмехнулся Верховный. — В

ванной комнате?

Утром он вышел из просторной избы; отправился к рукомойнику, прикрепленному к старому вязу. Неторопливо намыливая руки, тщательно вымыл их, потом лицо; больше всего любил земляничное мыло; впервые пользовался им в Берлине, в девятьсот седьмом году, когда, в частности, помогал Литвинову и Красину готовить операцию по спасению Камо из тюрьмы… Золотой был человек Камо, таких больше нет; трагично, но его уход был угоден истории, ибо он знал *все;* тем более, просился к больному Ленину именно в то время, когда тот искал союза с Троцким против него, Сталина. Несмотря на то что завещание Ленина было запечатано в пяти конвертах, генеральный секретарь знал о его содержании; жена, Надя Аллилуева, работала в секретариате Ильича, там об этом говорили, дважды обмолвился Каменев… Сделать подарок Троцкому, разрешить ему узнать свое прошлое — недопустимо; именно Берия тогда и доказал впервые свою преданность, именно он организовал *трагедию* с Камо, больше доверять в ту пору было некому. Риск? Еще какой, но положение было безвыходным: с одной стороны — теоретик Троцкий, с другой — он, Сталин, связанный с экс-

прориациями, хорош генеральный секретарь, ничего не скажешь…

…Вытирая лицо мягкими прикосновениями крахмального вафельного полотенца, Сталин заметил двух парней из охраны в однотипных коричневых плащах и кепках такого же цвета — с длинными, полуквадратными козырьками.

— Кто это? — не оборачиваясь, спросил Сталин.

Серов, кашлянув, ответил:

— Охрана, товарищ Сталин.

— Это называется не охрана, — Верховный неторопливо обернулся; лицо бледное, глаза щелочками, — это намеренная дешифровка — вот как это называется… Любой гитлеровский лазутчик за версту увидит этих загримированных остолопов и сообщит в свой центр… Убрать их всех немедленно…

— Слушаюсь, товарищ Сталин!

Проводив Сталина к завтраку, Серов бросился к ВЧ, соединился с Берия.

— Охрану не снимать, — отрезал тот. — Наверное, поставил в оцепление рослых, а ты найди маленьких, вроде тебя, пусть на корточках ходят.

(Спустя семь лет, во время съемок очередной

картины о Сталине, заехавший на «Мосфильм» Роман Кармен увидал поразительную картину: народный артист Советского Союза Геловани, утвержденный решением Политбюро для исполнения роли генералиссимуса, шел перед камерой, а за ним, на корточках, семенили Зубов, игравший Молотова, и Толубеев, исполнявший роль Ворошилова. Изумленный Кармен спросил Чиаурели: «Миша, в чем дело?!» Тот ответил шепотом: «Никто не имеет права быть выше Сталина». Видимо, об этом стало известно генералиссимусу, потому что он вызвал министра кинематографии Большакова и сказал: «Сталин — русский человек, и играть его надлежит русскому. Мне нравится Алексей Дикий… Товарищ Каганович находит, что мы похожи, пусть он играет Сталина в новых картинах».

Превозмогая дерзостный страх, Большаков ответил: «Но ведь Дикий был в свое время репрессирован, товарищ Сталин!» — «В свое время я тоже был репрессирован охранкой, — Сталин усмехнулся. — А ведь — ничего, народ простил…»)

…После первого совещания с командующими армий Сталин, перед обедом, снова вышел мыть руки и заметил коротышек, ходивших по улице.

— Серов, — сказал Сталин негромко, — если вы сейчас же не уберете всех этих дармоедов, которые только привлекают ко мне внимание, вам и Берия не сдобровать. Так ему и передайте.

…Ночью два батальона охраны были загружены в теплушки, но в Москву тем не менее не отправлены.

На следующее утро, убедившись, что вокруг дома нет никого, кроме взвода автоматчиков, Сталин, усмехнувшись, сказал:

— А вечером давайте-ка поедем поближе к линии фронта.

…Всю ночь разведка искала хоть один несгоревший дом примерно в пятидесяти километрах от передовой; нашли; хозяевам было сказано, что приедет «генерал-майор Иванов, остановится на одну ночь, не могли бы переночевать в соседской землянке?».

Здесь, в избе, Сталин и провел совещание с четырьмя комдивами — эти донесут до солдат правду о том, что он, Верховный, был на передовой, но без трезвона, шумихи и пропагандистских штучек, а скромно, как и надлежит вести себя соратнику Ленина, продолжателю его великого дела.

Ящик вина привез начальник его охраны

Власик, он же и откупоривал бутылки, угощая молодых генералов «саперави» и «хванчкарой».

За обедом Сталин шутил, расспрашивал комдивов об их семьях, рассказал, как он со Свердловым и Каменевым жил в ссылке, — изба походила на эту; генералы замерли, услыхав в устах Сталина фамилию Каменева, — он говорил о нем спокойно, как о здравствующем и поныне партийце, а не шпионе… Вспомнил и Троцкого: он был маневренным военным, в этом ему не откажешь.

Попрощавшись с гостями, Сталин попросил Власика закрыть бутылки пробками: «Не люблю, когда вино выдыхается… В Грузии тщательно следят, чтобы пробки были хорошо пригнаны, пора бы и нам этому научиться».

Наутро, едва только рассвело, Сталин проснулся, с видимым удовольствием вымылся во дворе, сказал, что время возвращаться в Москву, и поинтересовался:

— Серов, где хозяева этого дома?

— Они ночевали у соседей, в землянке, товарищ Сталин…

— Вы их как-то поблагодарили за это?

— Нет.

— Это плохо, Серов. Очень плохо… Человек, лишенный чувства благодарности, бездуховен…

Конечно, особенно баловать крестьян не следует, но отмечать доброе дело — должно… Дайте им в подарок от генерала Иванова денег…

— Слушаю, товарищ Сталин… Сколько?

— Сто рублей, пожалуй, слишком много, — задумчиво ответил Сталин. — А вот тридцать передайте им от меня — в хозяйстве пригодится…

В ту пору буханка хлеба на рынке стоила пятьсот рублей…

По нынешнему пересчету цен этот подарок крестьянской семье выразился бы тридцатью копейками…

8

После того как операция «Багратион» с блеском закончилась, Советская Армия вышла к границам тридцать девятого года. (Константин Симонов, когда я спросил, отчего он не продолжил «Солдатами не рождаются», усмехнулся: «Я воевал за освобождение моей Родины. Все, что произошло потом, — новый цикл, с иными героями и потаенными целями, но писать его будет кто-то другой».)

Сталин пригласил на Ближнюю Дачу маршалов — решил устроить в их честь ужин.

Когда все съехались, Сталин приветствовал гостей в холле, пожал каждому руку; «остановившись перед Рокоссовским, задумался на мгновение, молча повернулся и вышел; военачальники переглянулись; Жуков ободряюще кивнул: «Сейчас вернется».

Сталин действительно вскоре вернулся с букетом роз, протянул их Рокоссовскому, глухо кашлянув:

— Это за то, что ему больше вас всех досталось.

Понимать эту фразу можно было двояко: либо Сталин говорил о тяжести боев (хотя Жукову

доставалось не меньше), либо о том времени, когда маршала таскали на допросы, выбивая показания о принадлежности к «банде троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов».

Потом Сталин пригласил маршалов во двор, где стол был накрыт по-кавказски, под полосатым тентом; дымились карские шашлыки на углях, жарилась молодая козлятина, на старинных сковородках, привезенных с Кавказа, шипел желто-сливочный сулугуни.

Вино было из Тбилиси; бутылки опечатаны особым сургучом, что означало: «проверено, соответствует кондиции»; ЛСУК — «Лечебно-Санитарное Управление Кремля» — проверяло все, что подавалось на стол Верховному; потом, впрочем, была еще одна проверка, негласная, контролировавшая заключение медиков. Был на столе и коньяк «Варцихе»; водки стояло всего две бутылки (Сталин ее не пил, но знал, что Толбухин и Конев коньяк не очень-то любят, пусть себе порадуются «белой»).

Ужин удался на славу; хороший тост произнес Берия; он знал, что тост этот нравится Сталину, поэтому разыгрывал его в лицах: «Однажды юноша зашел на старое кладбище в горах и подивился надписям на крестах и могильных плитах:

“Гиви Кварцхава, родился в девятисотом году, умер в девятьсот пятнадцатом, жил тринадцать лет”; “Ладо Гудиани, родился в восемьсот сорок пятом, умер в девятьсот двадцатом, жил сорок два дня”… Что такое, думает юноша?! Как такое может быть?! А навстречу ему шел седобородый мудрец в белых одеждах, с посохом. И обратился к нему юноша: “Скажите, уважаемый, отчего такие странные надписи на крестах?” — “Оттого, сын мой, — ответил седобородый мудрец, — что возраст людей в этом краю определяется не годами, прожитыми на земле, но часами дружбы!” Так выпьем же за дружбу наших маршалов, выдающихся военачальников эпохи гениального стратега наших побед Сталина!»

Рассказал свой любимый анекдот и Молотов: «Мужчина был в гостях, постоянно прикладывался к рюмочке, а жена, как и полагается всем женам, удерживала его: “Не надо да не надо!” В конце концов она взмолилась: “Ну хоть съешь что-нибудь! Вон, смотри-ка, хорошая булочка!” Ее муж покорно съел булочку и сразу же обвалился со стула, прошептав при этом: “Это твоя булочка виновата!”»

…Потом плясал Буденный.

Ах, как он плясал в восемнадцатом, когда соби-

рались узким кругом; как *шел* Ворошилов; как же быстролетно время, как неудержимо уходит оно, словно песок сквозь пальцы…

…Сталин чувствовал, что вечер удался; редкое состояние спокойствия размягчило его, он откинулся на спинку кресла, чуть вытянул ногу и с прищурливой доброжелательностью обсматривал лица гостей: все *свои,* никакой затаенности, недоговоренности; случилось то, чего он столько лет добивался: наконец-то окружен гвардией, не кто-либо, но именно они передадут поколениям правду о том, что он, Сталин, сломал шею гитлеризму; конец — всему делу венец! Это еще надо будет посмотреть, по чьей вине случился сорок первый год; не сейчас, конечно, сейчас нельзя мешать людям делать их дело, но придет время, и мы найдем истинных виновников трагедии. Генерал Павлов — что? Сошка, мелюзга… Ворошилов не зря рассказывал, как он нашел его в Белоруссии, в июле, на проселке, под дубом, — ноги солнцу подставил, портянки сушил на глазах у всех… «А я ведь читал твои *донесения,* которые ты против меня сочинял, Павлов, — сказал ему тогда Клим. — Ты ведь *сигнализировал* на меня, псевдонимом подписывался, хотел под монастырь подвести, нехорошо…»

…Перед тем, как пришло время разъезжаться, после того, как все произнесли тосты за Верховного, Берия попросил слова; Сталин несколько удивился — это не в обычаях *стола* просить второй тост, тем не менее посчитал неудобным отказывать, военные могут этого не понять, у них свое представление о тех, кто на вершине пирамиды, нет смысла это представление менять. Сейчас время устойчивости, все — локоть к локтю, война требует единства…

— Товарищ Сталин, я предлагаю выразить благодарность вашим поварам, охране, всем, кто готовил сегодняшний стол, — Берия обернулся к тем, кто стоял у мангалов, — наши грузинские янычары верны вам, как никто!

Сначала Сталин поднял свой бокал, но потом заметил, как Жуков и Конев, обернувшись, следом за Берия внимательно рассматривали поваров и охрану — рослые грузины, в основном голубоглазые, видимо, мегрелы, лица счастливые, вот-вот заплачут от гордости: сентиментальность — гарантия фанатичной преданности.

Сталин поставил бокал на место, лицо собралось старческими морщинами и, не глядя на Берия, а словно обращаясь ко всему столу, сухо посмеялся:

— Значит, грузины Сталина любят и верны ему… Хм… А что русские? Любопытно, как они относятся к Сталину?

Через три дня, перед тем как маршалы разъезжались по своим фронтам, Сталин неожиданно устроил прощальный обед: ни одного грузинского повара не было; стол обслуживали рослые охранники — все, как один, русские.

Сталин постоянно наблюдал за Жуковым и Коневым, за их реакцией; однако ни один из маршалов попросту не обратил на это внимания.

«…А Троцкий бы понял, — подумал Сталин. — Все-таки разница между профессионалами, техниками войны, и политиком весьма значительна».

…Грузин, однако, возвращать в Москву не стал: то, что сделано, — сделано, нельзя менять решения, интеллигентщина, слава богу, ушла в прошлое и, полагаю, никогда не вернется.

9

Звонок в секретариат Молотова раздался рано, в девять тридцать:

— Американский посол Аверелл Гарриман просит соединить его с министром иностранных дел.

— Министр проводит совещание.

— Когда вы сможете соединить посла с министром?

— Я затрудняюсь дать точный ответ. Пожалуйста, позвоните в двенадцать.

…Помощник Молотова был предупрежден заранее, что с утра будет звонить Гарриман, ибо уже в восемь подписчики получили «Литературную газету» со статьей лауреата Сталинской премии Бориса Горбатова — «Человек в коротких штанишках». Заголовку было предпослано слово, разверстанное на три колонки: «*предатели*». Речь в статье шла о президенте Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэне, главе дружественного — согласно действовавшему тогда Договору — государства.

Молотову было дано указание уклониться от встречи с Гарриманом под любым удобным пред-

логом; указание пришло от Сталина прошлой ночью.

…Помощник посла звонил в приемную министра иностранных дел до трех часов; в три тридцать Гарриман сам набрал номер секретариата Сталина; по-русски произнес чеканную, нескрываемо резкую, заранее подготовленную фразу:

— Прежде чем я дам рекомендации правительству Соединенных Штатов по поводу известной вам публикации, мне казалось бы необходимым встретиться с маршалом.

(«Генералиссимусом» Сталина никогда не называл, только «маршалом», отговариваясь тем, что привык к его званию во время войны — с одной стороны, и — с другой — ему бы не хотелось аллюзий: тиран Испании Франко тоже генералиссимус, как и Чан Кайши, главный противник Мао, верного ученика русского лидера.)

— А почему бы вам не встретиться с Молотовым или Вышинским? — спросили Гарримана, заранее зная, что он откажется от этого предложения, протокол не позволяет, — слишком долго унижали отговорками.

— К сожалению, я не могу более ждать, пока господа Молотов или Вышинский найдут время

для встречи с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов. Просил бы доложить маршалу, что встреча с ним была бы в высшей мере целесообразной, — в интересах двух наших народов.

Сталин дожидался именно этих слов Гарримана: игра начатая в конце прошлой недели, входила в свою завершающую фазу.

Во-первых, он, Сталин, поручил сделать публикацию о *предателе* Гарри Трумэне, президенте Америки, не кому-нибудь, а Борису Горбатову, еврею по национальности. Поскольку в Штатах во время войны значительно увеличилось влияние еврейских кругов в прессе, можно рассчитывать, что далеко не все газеты за океаном выступят против публикации «Литературной газеты», а, наоборот, перепечатают пассажи из опуса Горбатова, особенно республиканцы, — выборы на носу, надо валить демократического кандидата Трумэна. Во-вторых, эта публикация есть не что иное, как пробный шар в переориентации не только советского народа, но и европейцев на нового противника, на человека, отринувшего идеи Рузвельта, а следовательно, и всей Большой Тройки, и, наконец, в-третьих, позиция Гарримана — после такого рода публикации —

поможет выработать курс на будущее: как будет реагировать Вашингтон на сокрушительные удары такого и не только такого рода? Кампания в прессе? Пусть. У нас их прессу не читают. А если какого-то рода санкциями? Какими именно? Где? Как скоро? С другой стороны, предстоят серьезные события в России, время «братьев и сестер» военной поры прошло, надо кончать с неизбежным либерализмом, отмеченным печатью союзничества с Западом; поговорили — и будет, время работы, суровой дисциплины, абсолютного единомыслия, иначе Россию из руин не поднять, народ надо держать в руках, направляя и контролируя каждый шаг.

Работник секретариата Сталина сказал послу, что он доложит помощнику генералиссимуса о его звонке незамедлительно, попросил оставить телефон, пообещав связаться в течение десяти минут.

И — ровно через десять минут — перезвонил, пригласив господина Гарримана прибыть в Кремль в восемнадцать тридцать.

…Гарриман вошел в кабинет Сталина, зажав в правом кулаке номер «Литературной газеты», — тогда она выходила на четырех страницах, объемом «Известий»:

— Вы видели это, маршал?! — спросил он, вытянув руку с газетой.

— Здравствуйте, господин Гарриман, — поднявшись из-за стола, Сталин пошел ему навстречу. — Рад вас видеть, присаживайтесь, пожалуйста. Что будете пить?

— После этой статьи, — Гарриман кивнул на газету, по-прежнему зажатую в кулаке, — полагается пить коньяк за упокой наших союзнических отношений.

— Рискованно, — ответил Сталин. — Вам же предстоит составлять телеграмму в государственный департамент, давать рекомендации Белому дому… Неловко, если за океаном поймут, что вы делали эту работу нетрезвым… Что же касается номера «Литературной газеты», то я его прочитал лишь перед обедом…

— И каково ваше мнение?

— Видите ли, господин Гарриман, будь это напечатано в «Правде» или «Известиях», словом, в газетах, принадлежащих партии и правительству, — медленно, словно бы взвешивая каждое слово, ответил Сталин, — мы бы серьезно наказали главных редакторов за такого рода публикацию, можете мне поверить… Однако у нас в стране есть лишь одна газета, не подчиняющаяся

ни ЦК, ни Совнаркому… Это газета Союза писателей… Конечно, если вы внесете официальный протест, мы еще больше ужесточим цензуру, еще более ужесточим политконтроль… Но ведь это именно то, за что нас так журят в вашей стране… Неужели вы хотите, чтобы мы завернули гайки?

Гарриман мгновение сидел, окостенев от гнева, а потом рассмеялся, поняв весь ужас того положения, в которое он себя поставил: неужели ему, представителю демократического мира, пристало просить тирана начать новые чистки?! Даже против тех, кто написал пасквиль о президенте? Если он, Гарриман, будет настаивать на этом, то, можно не сомневаться, кара свершится, но мир будет проинформирован, что это произошло по настоянию Соединенных Штатов…

— Мы не хотим, чтобы вы «заворачивали гайки», маршал. Да и потом, рано или поздно резьба может свернуться…

— У нас хорошая сталь, — ответил Сталин. — Мы верим в ее надежность… Тем не менее я обещаю выполнить вашу просьбу: мы попросим компетентные органы, занимающиеся литературой, быть особо внимательными, кто может поручиться за то, что выкинут литераторы, благодарю вас за совет…

…Этот разговор произошел, когда Ахматова и Зощенко были уже «выброшены» из литературной жизни страны; предстояла кампания по травле «космополитов»; в большой политике мелочей не существует — думая о стратегии, не упускай из виду тактику…

10

В пятидесятых, во время обсуждения кандидатов на соискание Сталинских премий, Александр Фадеев в Кремль не явился.

— Где он? — спросил Сталин помощника.

Поскребышев ответил:

— Прихворнул.

Сталин усмехнулся: знал, что это слово обозначает известную слабость первого секретаря Союза писателей, случавшуюся с ним во время стрессовых ситуаций.

— А Тихонов где? — поинтересовался он, продолжая медленно прохаживаться по кабинету — согбенный, в мягких кавказских ичигах; брюки с маршальскими лампасами заправлены трубочками, военный френч обвис, словно стекая с сутулых старческих, очень узеньких плеч.

— Болен, — ответил Поскребышев.

— Что, и этот *страдает?* — спросил генералиссимус.

— Нет, нет, простуда, — ответил Поскребышев, — ему не разрешили приехать врачи, боятся, не носитель ли бацилл…

— Бациллы не носят, — заметил Сталин. — Они

слишком маленькие для этого. Носят заразу, так говорят по-русски, пора бы выучить родной язык…

…Он никогда не мог забыть, как Поскребышев *вполз* к нему в кабинет на коленях, зажав под мышкой список, присланный Берия: среди тех, кого надлежало *устранить*, он, Поскребышев, работавший со Сталиным четверть века, увидел имя своей жены.

— Товарищ Сталин, за что?! — шептал он, продолжая ползти по желтому паркету. — За что, товарищ Сталин?!

Сталин дождался, когда Поскребышев подполз к нему вплотную, протянул руку; тот поднял голову — губы трясутся, слезы катятся по щекам, — подал список, словно челобитную, только что лбом об пол не бил.

Сталин просмотрел несколько страниц (на этот раз список на ликвидацию был довольно коротким, всего четыреста тридцать человек), вздохнул, покачав головою:

— Позвони Берия, скажи, я согласен… И не плачь… Мы тебе русскую жену найдем… Русские — вернее… Она тебя слушаться будет… Она — тебя, а не ты ее… А если не согласен — борись, пиши в ЦКК, будем разбираться…

Через час он снова вызвал Поскребышева. Тот был бледен, но глаза сухие; принес доклад финансиста Зверева о заработках ряда писателей; Сталин просмотрел докладную, глухо спросил:

— Где Зверев?

— В приемной.

— Письмо о жене сочинил?

— Нет, товарищ Сталин.

— Почему?

— Потому что ваша воля — это воля народа…

Сталин покачал головой:

— Я человек маленький, Поскребышев, нечего из меня делать монарха… Я всего не знаю и знать не могу, но я верю моим коллегам по работе, что и тебе советую… Пригласи Зверева…

Когда тот вошел, Сталин, не предложив ему сесть, рассеянно кивнул в ответ на слова приветствия министра и продолжал медленно перелистывать страницы докладной записки о гонорарах.

— Значит, считаете, — негромко заметил он, — у нас появились писатели-миллионеры? Ужасно… Писатели-миллионеры, — он перевернул еще одну страничку, пробежав столбцы цифр. — Писатели-миллионеры… Хм… Ужасно, а, Зверев? Миллионеры-писатели…

— Да, товарищ Сталин, это ужасно.

Сталин поднял свои рысьи глаза на министра и протянул ему папку:

— Ужасно, что у нас так мало писателей-миллионеров, Зверев… Писатели — это память нации! А что они напишут, если будут жить впроголодь? Финансы — это политика. А вы мыслите как завистливый крестьянин, считающий заработки усердного соседа, который не самогон пьет, а работает от зари до зари вместо того, чтобы на собраниях глотку драть…

Снова вызвал Поскребышева, предварительно посмотрев на стенные часы; попросил чая; тот вернулся через десять минут с маленьким подносом — стакан на блюдечке, три кусочка сахару и два обязательных сухих печенья. Обходя стол, Поскребышев ноги поднимал высоко, *словно страус.* (Сталин усмехнулся: помощник начал ходить так в сорок четвертом. У Сталина тогда сидели Жуков и Рокоссовский. Поскребышев вошел в форме генерал-лейтенанта, надел впервые в жизни, только-только сшили в спецателье на Пятницкой. Сталин заметил, как переглянулись Жуков и Рокоссовский: в их глазах ему почудилась издевка; он снова вызвал Поскребышева и попросил разложить на его письменном столе

карту — обычно с такой картой работали на длинном столе заседаний. Поскребышев аккуратно расправил клееное полотнище, повернулся, чтобы уйти, и в этот момент Сталин стремительно выставил ногу; Поскребышев неловко споткнулся, чуть не упал; не разжимая рта, Сталин сухо посмеялся:

— Что ж ты, Поскребышев? Генерал, а на ровном месте спотыкаешься?

С армией в ту пору нельзя было не считаться; пусть маршалы сделают свое дело, там видно будет: стратегия и тактика — вопрос вопросов любой политической комбинации; мы, русские, не можем без вождя, без живого бога, так уж мы скроены, но кто знает, что в голове у каждого из нас? Должность бога — заманчива, однако далеко не каждый понимает свою ответственность перед будущим, мы, русские, больше привержены размышлениям о прошлом, вот в чем опасность…

Через двадцать минут Поскребышев вернулся — Верховный попросил убрать карту; был в своем обычном костюме — сталинка, зеленые брюки, заправленные в белые фетровые бурки на мягкой подошве, чтобы шуму не было, когда идешь по паркету, потолки-то высокие, звук *шлепает*, мешает вождю думать…

Жуков с Рокоссовским снова стремительно переглянулись, и Сталин увидел в их глазах нечто похожее на изумление; той издевки, которая почудилась ему ранее, не было и в помине…

Генералиссимус пососал пустую трубку — новые медики, начавшие лечить его после ареста и разоблачения еврейских врачей-изуверов из «Джойнта», категорически отменили все те лекарства, которыми пользовали врачи Сталина, лечившие его с начала двадцатых годов; потребовали провести новые обследования, перешли на качественно новые медикаменты; запретили табак. Сталин, выслушав рекомендации, рассердился: «Братья Коганы и Вовси вытащили меня из инфаркта и инсульта, но отчего-то не требовали ломать привычный ритм! Зачем насиловать волю человека?!» Тем не менее курить прекратил — дисциплина, прежде всего дисциплина, если ты начал комбинацию с врачами, чтобы сделать Средиземное море русским, — следуй ей до конца; стратегия и тактика, ничего не попишешь…

— Хорошо, а кто же будет докладывать вопрос о премиях? — спросил Сталин. — Видимо, товарища Фадеева не волнует судьба писателей и артистов, которые ждут награды за свой труд?

Или он обиделся на мои замечания?

…На прошлом заседании Сталин спросил Фадеева, известно ли ему, что один из выдвинутых им, первым секретарем Союза, на премию литераторов с русской фамилией — на самом деле является евреем?

Фадеев ответил, что ему известно об этом, но ведь партия учит пролетарскому интернационализму, важно, чьему делу служит творчество мастера, какой идее…

— А вам известно, что этот *мастер* был репрессирован в свое время как враг народа?

— Да, товарищ Сталин, — ответил Фадеев, — но мы знаем и то, что этот литератор прошел фронт, удостоен правительственных наград, ранен, искупил свою вину кровью…

— Смотрите, — усмехнулся Сталин, — вы внесли предложение, вам его и отстаивать…

Вот после этого-то разговора Фадеев и *занедужил.*

— Значит, следует понимать так, — несколько удивленно, словно себе самому, заметил Сталин, — что мы сегодня работать не сможем?

Поскребышев знал Сталина, как никто; он не торопился отвечать на его вопрос, потому что генералиссимус, спросив, повернулся и медленно

пошел в угол, где стояли часы с вестминстерским боем; к окнам не подходил, хоть они и были затянуты белым шелком, сквозь него контур человека уловить нельзя, плотен.

Лишь когда Сталин обернулся, Поскребышев сказал:

— Прибыл ответственный секретарь комиссии Фадеева, товарищ Сталин. Его фамилия Кеменов.

Сталин остановился перед Поскребышевым, обсмотрел его, словно видел впервые, и горестно вздохнул. (В день, когда он, Сталин, санкционировал устранение жены своего помощника, он не зря посмотрел на часы, заказав себе чай; обычно Поскребышев приходил со стаканом через шесть-семь минут, а в тот день вернулся через десять.)

Сталин тогда к чаю не прикоснулся, вызвал Кобулова, предупредив по телефону, чтоб прихватил «чемоданчик Генриха» (наркомвнудел Генрих Ягода в начале тридцатых годов занимался ядами и медициной), и попросил одного из самых близких помощников Берия взять на анализ чай, сахар и печенье. Тот позвонил через полтора часа: «Лаборатории сообщают: все чисто, товарищ Сталин». (С тех пор верил Поскребышеву до конца: русский человек добр, не мстителен и быстро смиряется с судьбой — раз так надо,

значит, надо, плетью обуха не перешибешь.)

— Кеменов, говорите? — Сталин недоуменно поднял плечи. — Ответственный секретарь?

И, обернувшись к столу, за которым сидели его коллеги по Политбюро, заметил:

— Накануне крушения Римской империи патриции предавались развлечениям, передав право управлять государством юным вольноотпущенникам. Похоже, а? Заседание отменяется…

…Неделю назад преемник Виктора Абакумова министр Игнатьев передал Сталину секретный отчет: людей, находящихся в лагерях, — двенадцать миллионов; членов семей врагов народа — «ЧСВН» — двадцать миллионов; крестьян, лишенных паспортов, — пятьдесят два миллиона; исследования по компьютерной кибернетике, которые он, Сталин, запретил финансировать Академии как «космополитическую псевдонауку», возглавляемую агентом «Джойнта», так называемым профессором Винером, ныне переведены в Штатах в промышленную разработку. Информация об успехах американцев — тревожна. Шумят о генетике в Америке — о лженауке Менделя и Моргана, замахнувшихся на основополагающую конструкцию Творца, — прямо-таки сногсшибательно, берут по семьдесят центнеров

с гектара, а мы едва-едва скребем двенадцать…

Сталин чувствовал себя раздавленным и покинутым всеми — особенно после того, как прочитал отчет Игнатьева; все чаще думал о своем заместителе Вышинском… Если бы процессы тридцать седьмого года провалились, прошел бы триумфальный суд над меньшевиком Вышинским, заговорщиком, внедрившимся в партию; именно они, меньшевики, организовали провокацию: ужас чисток, гонения ленинцев. Они, кто же еще?! Однако процессы Каменева и Бухарина прошли спокойно; победителей не судят, а поднимают; вот он и поднял генерального прокурора… Что ж, если действительно кибернетика внесет переворот в военную науку на Западе, Вышинский как заместитель председателя Совета Министров получит свое, — меньшевики были, есть и будут врагами советской власти, — намеренная ложь Политбюро, сокрытие правды, попытка ослабить оборонную мощь Родины… Да и один ли Вышинский выйдет на этот процесс в качестве обвиняемого?

…Через два дня Фадеев приехал в Кремль — бледный, отекший, без того огня в глазах, который так определял его облик.

Генералиссимус просмотрел список лауреатов

Сталинской премии, протянутый ему Фадеевым, и поинтересовался:

— Здоровье поправилось? Врачи помогли?

— Да, — глухо ответил Фадеев, — теперь все в порядке.

— Вы берегите себя, Александр Александрович, — Сталин впервые назвал его по имени-отчеству — высшая степень расположения. — Вы нам нужны, мы вас ценим…

— Спасибо, — нахмурившись, ответил Фадеев.

Генералиссимус снова пролистал список и удивленно поднял голову:

— А где же ваш кандидат, которого вы так мужественно защищали?

— Значится сказать, товарищ Сталин, мы решили вычеркнуть его: действительно еврей… Сейчас, видимо, не стоит акцентировать эту проблему… Да и потом — был врагом народа, это и кровью не смоешь — навечно…

Сталин удивился:

— Разве? Странно… По-моему, одним из первых лауреатов Сталинской премии стал профессор Рамзин, а ведь в тридцатом мы его приговорили к расстрелу — диверсии, антисоветская деятельность, шахтинское дело, промпартия… Значит, Рамзин смыл прошлое? Или мы ошиблись? — Он

обернулся к членам Политбюро, но ответа слушать не стал, продолжив: — И потом: что значит «еврейская проблема»? У нас нет и не может быть такой проблемы… Космополиты? Да, проблема. Шпионский «Джойнт» — да, проблема. А еврейской проблемы нет и не будет. Как может быть еврейская проблема в стране, где существует Еврейская автономная область, родина всех советских евреев?! Будущая земля обетованная для всех наших евреев… В прошлый раз я выдвинул свои доводы, дискутируя предложенную вами кандидатуру лишь потому, что мне казалось целесообразным дать вашему подшефному Сталинскую премию третьей степени, но не второй, как настаивали вы… Есть возражения? — спросил Сталин членов Политбюро, вписывая фамилию писателя синим карандашом в *список*…

(Этот ненаписанный роман *заготовлен* на основании бесед с комендантом ДСК «Николина Гора», вернувшимся из лагеря в 1955 году, — его брат был дежурным в приемной Сталина начиная с двадцатых, и генерал-лейтенантом Ильей Виноградовым, бывшим начальником разведки Третьего Украинского фронта, консультантом нашего с Ташковым телефильма «Майор Вихрь».)

11

В Гаграх, осенью шестьдесят четвертого, маршал Жуков — тогда уже уволенный — пришел посмотреть концерт мастеров эстрады; я сидел в двух рядах от него; после окончания представления я подошел к нему — тогда это было нетрудно, поскольку люди смотрели на него с почтением, но — издали, как-никак опальный, а у нас и лыко могут в строку поставить: «с кем контактируешь? по какому праву?!»

Я как раз заканчивал подготовительную работу к роману «Пароль не нужен», заново исколесил Сибирь и Дальний Восток — в поисках хоть каких материалов о расстрелянных маршале Блюхере, командарме Уборевиче и кандидате в члены Политбюро, комиссаре Гражданской войны Постышеве; именно во время этой поездки мне и рассказали в Красноярске о трагической судьбе Кати, жены Рихарда Зорге, и некоего мальчика, якобы сына Героя[3].

Потому-то я и спросил маршала, что он помнит

---

[3] Сноски: 3

Однако ветераны, знавшие Р. Зорге и его жену, утверждают; что сына у него не было, возможно, это был «приемыш» Кати, жены Зорге.

о Рихарде Зорге, какие донесения произвели на него особое впечатление, как он оценивал его информацию.

— Я это имя впервые узнал из фильма «Кто вы, доктор Зорге?», — ответил маршал. — Ни одно из его донесений мне ни разу не докладывали…

В тот вечер он к разговору, видимо, расположен не был, сказал, как отрезал, продолжать вопросы было бы бестактностью; в голову, однако, запало: предвоенный начальник Генерального штаба Красной Армии ничего не знал о выдающемся военном разведчике РККА.

Заново анализируя ответ маршала, я отметил для себя, что он соотнес Зорге с названием фильма французского режиссера Ива Чампи: мы узнали имя Героя не из материалов советской прессы, не из наших книг или картин, но из работы француза, да и то случилось это при весьма любопытных обстоятельствах.

Как в годы культа личности, так и во времена «волюнтаризма», не говоря уже о «застойном периоде», зарубежные картины в первую очередь смотрели *наверху;* только после этого, в случае благожелательного отношения к фильму, комитет кинематографии получал указание приобрести ленту у продюсера.

И вот однажды Хрущеву привезли на дачу фильм Ива Чампи о внуке одного из руководителей Первого Интернационала Рихарде Зорге, который жил в Шанхае и Токио как корреспондент немецких газет, являлся при этом секретарем партийной организации национал-социалистической рабочей партии Германии в Японии, но был одним из самых выдающихся разведчиков нашей пролетарской диктатуры.

Посмотрев картину, Никита Сергеевич не без восхищения заметил:

— Вот как надо снимать! Сидишь, как на иголках, а в наших фильмах сплошная тягомотина или барабанный бой, «ура-ура», смотреть тошно!

Среди приглашенных на просмотр был и тот, кто знал правду о Зорге; он-то и заметил:

— Так ведь это не вымысел, товарищ Хрущев, а чистая правда.

Никита Сергеевич даже изменился в лице, огромный лоб свело морщинами, глаза погасли; помедлив мгновение, он поднялся и, не говоря ни слова, отправился к аппарату прямой связи; позвонил генералам армии Захарову и Серову; те подтвердили — да, правда, был такой Зорге; на составление подробной *справки* попросили время; Хрущев дал день; через неделю, не посо-

ветовавшись ни с кем из коллег, продиктовал Указ Президиума Верховного Совета: Зорге стал Героем Советского Союза, хотя подписали указ уже после того, как Хрущева *скинули.*

Ходили слухи, что кое-кто возражал против этого акта (я имею в виду ближайших соратников Хрущева; впрочем, «соратниками» их называть рискованно), славя его прилюдно, они уже тогда готовили против него заговор.

Тем не менее с тех пор имя Зорге было канонизировано; не привези Хрущеву на дачу этот фильм Чампи или будь на месте Никиты Сергеевича другой человек, — так бы это имя еще на десятилетия оставалось вычеркнутым из нашей истории.

Впрочем, ни один вопрос никогда не остается безответным, тайное — рано или поздно — становится явным, сие — историческая аксиома.

…Через несколько лет после мимолетной встречи с Георгием Константиновичем Жуковым я уехал с моим другом доктором Кирсановым на приокские заливные луга — весенняя охота там была прекрасной, разрешали ее повсеместно и празднично.

Часов в десять, после того как отцвела зоря и солнце упало на табачный слой облаков, мы

встретились с Кирсановым в условленном месте на лугу и побрели к нашей палатке.

Неподалеку горел костер, делавший луг тургеневским.

Мы подошли к трем охотникам, что грелись у огня.

Кряжистый человек с крупным, морщинистым, очень знакомым лицом спросил:

— Ну, как у вас дела? Был лёт?

Доктор Кирсанов, мой охотничий учитель, ответил, как и положено:

— Да так, болталась утка… Слабо… С тем, что было раньше, не сравнить.

Кряжистый рассмеялся:

— Значит, полный мешок набил, знаю я вас, хитрецов… Чаю, небось, хотите?

И тут я понял: да это же маршал Чуйков, Василий Иванович! Легендарный командарм, герой штурма Берлина… После того как Жукова сняли и он уехал к себе на дачу, откуда не выезжал многие месяцы, Чуйков опубликовал статью, в которой дерзко утверждал, что мог взять Берлин на несколько недель раньше, если бы не запрет Жукова; тот, понятно, ответить не мог — у нас *бывший* не имеет права на слово, отрезанный ломоть…

...Чуйков кивнул сопровождающим, те протянули нам с Кирсановым по кружке крепчайшего чая; маршал поинтересовался, кто мы; представились; он нахмурился, вспоминая что-то, потом спросил, не я ли писал повесть о трагедии полярного летчика в тридцать седьмом; выслушав ответ, поглядел на меня с любопытством, переглянувшись с высоким синеоким полковником.

— Смелые вы стали теперь — Сталина цепляете, — усмехнулся он, — попробовали б раньше.

И я понял тогда, что удача сама по себе плывет в руки!

Поэтому, согласно посмеявшись крутому замечанию Чуйкова, я спросил:

— А вот интересно, почему Жуков даже сейчас утверждает, что он не слыхал о Рихарде Зорге?

Я намеренно подставился, думая, что Чуйков не преминет лишний раз ударить опального маршала, но он, сёрбающе отхлебнув чая из своей солдатской кружки, задумчиво ответил:

— Про Зорге все знал только Филипп Голиков... Он сменил «Павла Ивановича»[4] и тех, кто его замещал на посту начальника нашей разведки...

---

[4] Сноски: 4

«Павел Иванович» — начальник ГРУ Ян Берзин; он был рекомендован на эту должность Ф.Э. Дзержинским, Н.И. Бухариным и М.В. Фрунзе *(прим. Н.В. Звонаревой, секретаря Берзина).*

Берзин-то оказался «троцкистом» — шлепнули… — Чуйков хмуро усмехнулся. — Вообще-то всех наших первых маршалов и командармов, даже Ворошилова с Буденным, по логике тех лет, можно было считать тоже троцкистами… Лев Давидович утверждал в должностях, кто ж еще, конечно, он, народный комиссар по военным и морским делам… Только Климент Ефремович со времен Царицына работал вместе с Иосифом Виссарионовичем… А Тухачевского в Царицыне не было, да и Блюхера с Якиром и Примаковым — тоже, на других фронтах воевали, вот их и шлепнули в одночасье… Да… Все, абсолютно все высшие командиры времен Гражданской войны были открыты и назначены не дядей Васей, а РВС[5]… Вот вы, писатели, об этом напишите, а то все о председателях колхозов сочиняете… Так вот, Голиков этот самый, — коротышка-выдвиженец, сукин сын, — на всех рапортах Зорге писал: «Информация не заслуживает доверия». И — точка. Кто ж такой документ начальнику Генерального штаба будет докладывать?! Так что вы Жукову верьте, он человек высокопорядочный, ложь его характеру противна…

---

[5] Сноски: 5
Реввоенсовет.

…Я любовался этим кряжистым человеком, его крестьянским лицом с рублеными, глубокими морщинами, чувствовал в его глазах какую-то скрытую, стыдящуюся муку и невольно думал о том, что ломать человека можно не только в застенке, но и на воле: первооснова любого действа — рычаг, а сколько их на земле?! Бесчисленное множество, горазды людишки на изобретательство такого рода…

…Слова маршала о том, что Голиков называл Рихарда Зорге «не заслуживающим доверия», запомнились мне.

Поскольку впрямую искать объяснение такого рода заключению было тогда невозможно, я начал исследовать эту загадку, что называется, по касательной; опыт такого рода был у меня уже — накопился в процессе работы над образами Блюхера, Постышева и Уборевича.

Ответ на этот вопрос я получил через два года, *навели* историки и военные, подсказав, что в конце двадцатых годов Рихард Зорге жил в Москве, работал в исполкоме Коминтерна, являясь помощником председателя Исполкома и шефа журнала «Коммунистический Интернационал».

А секретарем Исполкома продолжал еще работать Николай Иванович Бухарин.

Именно тогда, накануне решающей атаки Сталина против Бухарина, тот до конца точно сформулировал одну из своих концепций: судьбу мировой пролетарской революции решит — вместе с Советским Союзом — «большая деревня», то есть национально-освободительное движение Азии, особенно Китая; ситуация на Востоке рано или поздно понудит «большой город» — то есть Западную Европу и Америку — по-иному взглянуть на мир.

Именно поэтому Бухарин так нуждался в избыточно-точной, по-настоящему интеллигентной информации о положении в Китае. Видимо, он довольно долго колебался, размышляя, на каком *фронте* Зорге мог принести наибольшую пользу (до того времени, понятно, пока Зорге не был приглашен Берзиным).

В свое время с подачи Зиновьева генеральный секретарь, являвшийся членом руководящей «тройки» (Каменев, Зиновьев и Сталин), выдвинул лозунг, обвинявший социал-демократию в сползании к фашизму. Бухарин занимал иную позицию; он настаивал на том, что невозможно и неразумно валить социал-демократов в одну кучу с нацизмом; наперекор Сталину и Зиновьеву отстаивал возможность совместных выступлений с

социал-демократическими рабочими, более того, с их *низовыми* организациями, в то время как обращение к нацистским организациям, даже в тактических целях, считал недопустимым.

(Лишь устранив Бухарина из Политбюро, Сталин *посмел* сказать на Семнадцатом съезде: «В наше время со слабыми не принято считаться, считаются только с сильными… Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии, но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной».)

Несмотря на то что Бухарина всегда поддерживали Крупская и Клара Цеткин, официальное отношение к социал-демократии оставалось неизменным, зиновьевско-сталинским: немецкие коммунисты не смели объединяться с социал-демократами в борьбе против нацистов. А ведь объединись они, Гитлер бы не собрал большинства на выборах в рейхстаг и дальнейшее развитие европейской истории могло пойти совершенно по иному руслу.

Поэтому, вероятно, Зорге был направлен сначала в Китай, а после в Японию — в Германии он бы мог содействовать объединению коммунистов с

социал-демократами, созданию единого фронта, однако это — по меркам тех крутых лет — было *изменой* выдвинутому лозунгу.

…Жуков о Зорге не знал, ибо он стал начальником Генерального штаба уже после того, как закончились процессы, и все те, кто начинал с Лениным, оказались шпионами и диверсантами; в стране изменилось качество государственной памяти: лишь малая часть делегатов Семнадцатого съезда партии дожили до Восемнадцатого, остальные были расстреляны как враги народа. Все друзья Зорге были ошельмованы и уничтожены.

…А знал ли Сталин о Зорге?

Видимо, знал, ибо, когда в сорок первом году суд в Токио закончился вынесением смертного приговора, советский посол запросил Москву, какие шаги следует предпринять для спасения Зорге.

Москва на запрос никак не реагировала. Токио выжидало; Зорге казнили лишь в сорок четвертом, когда поняли, что Кремлю он не нужен.

А в Сибирь поступил приказ: «решить вопрос с женой» Зорге. В то же время погиб и тот мальчик, о котором некоторые говорили как о сыне Зорге.

Расстрел ребенка был тогда делом узаконенным: накануне «большого террора», десятого

апреля 1935 года, по предложению Сталина был проведен закон, по которому уголовной ответственности — вплоть до расстрела — подлежали все граждане Советского Союза начиная с двенадцатилетнего возраста.

12

Так уж повелось, что ни один фильм — до просмотра его Сталиным — на экраны страны не выходил.

Председатель кинокомитета Большаков всегда возил в багажнике машины не только новую советскую картину, но и две-три зарубежные, — вызвать в Кремль могли в самое неожиданное время, чаще всего поздней ночью, вплоть до четырех утра.

(Однако в августе тридцать девятого, после того как был подписан договор с Гитлером и Сталин обменялся дружеским рукопожатием с рейхсминистром Риббентропом, Большакова вызвали в десять вечера — необычное время. Уже потом ему объяснили, что Сталин пригласил Риббентропа посмотреть любимый свой фильм «Волга-Волга». Риббентроп, однако, отказался: «Я должен написать отчет, господин Сталин». — «“Волга-Волга” — одна из лучших картин мирового кино, получите удовольствие». — «Благодарю, господин Сталин, однако фюрер ждет моего доклада». С этим, вскинув руку в нацистском приветствии, Риббентроп откланялся. Сталин осторожно маза-

нул взглядом лица Молотова и Ворошилова; они оказались невольными свидетелями того, как ему, Сталину, публично отказали — непреклонно и холодно; последние годы такое в стране сделалось невозможным; его слово стало законом для всех. Сталин как-то странно хмыкнул, взял галифе — словно танцор — двумя пальцами, присел в жеманном поклоне и, кивнув на дверь, закрывшуюся за Риббентропом, тихо произнес: «А все равно мы тебя выеб…»)

Во время просмотров Большаков обычно сидел за Сталиным, потому что *главный* часто задавал вопросы, на которые надо было давать немедленный и определенный ответ, — приблизительности Сталин не терпел. Однажды, принимая фильм «Повесть о русской охоте» с Поповым-старшим в главной роли, заметил: «Почему у волков глаза желтые? Это — неправда, они у них зеленые». Большаков немедленно ответил: «Великий зоолог Брэм, товарищ Сталин, считает, что глаза волков именно желтые, а не зеленые… Впечатление, что они зеленые, складывается у тех, кто видел волчьи глаза лишь в высверке костра, в сумерках». — «На какой это странице?» Большаков назвал. Сталин кивнул удовлетворенно и поудобнее устроился в кресле.

В конце сороковых специально ко Дню Военно-Воздушного Флота — генералиссимус этот праздник высоко чтил — был закончен фильм «Жуковский». Сталин в те годы решил, что в стране должно выходить не более двенадцати картин в год; больше — баловство, может помешать работе; не следует слишком уж баловать зрелищами наш народ; картины надо делать биографические, рассказывать — средством самого массового искусства — о великих деятелях русской науки и культуры, бороться, таким образом, с низкопоклонством перед загнивающим Западом и проявлениями безродного космополитизма.

Как на грех, именно в день праздника сталинских соколов Хозяин уехал на Кавказ. Связываться со Сталиным по телефону было не принято. Место, где он отдыхал, не знал никто; он часто менял дачи, хотя более всех других на старости лет полюбил дом на озере Рица; Крым и Сочи почти не посещал, тянуло на родину.

А коробки с «Жуковским» лежали в багажнике большаковской машины, и он метался из одного начальственного кабинета в другой, спрашивая совета, как поступить: ждать возвращения товарища Сталина в Москву или же выпустить

картину к празднику?

Молотов (говорили, что Большаков начал восхождение, работая у него шофером) от совета воздержался; Берия посмеялся: «Принимай инициативное решение, ты — министр, тебе и карты в руки!»

Полагая, что столь категорические слова ближайшего соратника вождя не могли быть произнесены случайно (чувственному искусству угадывания и математическому *просчету* вероятий учились быстро), Большаков подписал приказ о выпуске фильма на экраны. Улицы всех городов Союза заклеили афишами, о новой работе советских кинематографистов сообщило радио, причем неоднократно, да и пресса откликнулась рецензиями, понятно, восторженными, ибо никто и представить себе не мог, что фильм вышел без санкции вождя.

А наутро после премьеры с Кавказа поступила вэчеграмма от Сталина с *просьбой* срочно поставить на повестку дня один лишь вопрос: «О положении дел в советском кинематографе».

Большаков понял: вот и пробил его последний час.

Вечером того дня, когда вернулся Сталин (его поезд был копией поезда Троцкого), председатель

кинокомитета был вызван в Кремль и занял место за маленьким столиком неподалеку от большой дубовой двери; перед ним лежала стопка желтоватой плотной бумаги, стояла бутылка боржоми, стакан и три разноцветных карандаша.

Молотов, Каганович, Берия, Маленков и Хрущев заняли свои места за длинным дубовым столом; Сталин, как обычно, медленно расхаживал по кабинету, зажав в руке трубку.

Объявив заседание открытым, Маленков вопрошающе глянул на Сталина.

Тот, продолжая расхаживать по кабинету, молчал, словно бы собираясь с мыслями; остановился, наконец, под портретом Маркса, примял желтоватым пальцем табак в трубке и тихо, чуть не по слогам, спросил:

— Товарищ Большаков, нас интересует только один вопрос: каким образом на экранах страны появился новый художественный фильм «Жуковский»? Конкретно: кто из руководства смотрел эту работу, когда, какие высказал замечания? Еще конкретнее: кто дал санкцию на выпуск этой картины в свет?

Большаков медленно поднялся; лицо враз отекло, побелело.

— Да вы сидите, товарищ Большаков, сидите, —

Сталин чуть махнул рукой. — Сидите…

Большаков тем не менее продолжал стоять, чувствуя в себе мерзкое желание вытянуться по швам:

— Товарищ Сталин… Мы тут посоветовались, — моляще глядя то на Молотова, то на Берия, начал он, ожидая их поддержки; те, однако, сосредоточенно писали что-то на листках бумаги. — Мы тут посоветовались и решили…

Сталин словно бы споткнулся; обернувшись к Большакову, изумленно спросил:

— Вы тут посоветовались? — пожав плечами недоуменно, повторил: — Значит, вы советовались… Хм… А посоветовавшись, решили…

Он постоял мгновение на месте, потом чуть ли не крадучись пошел к двери, глухо повторяя слова Большакова, словно бы обсматривая их и примеряя к чему-то своему, заранее выношенному.

— Они посоветовались и решили, — говорил он все тише и тише, будто устав от этих слов. — Они тут все решили, посоветовавшись…

Открыв тяжелую дверь кабинета, он обернулся и, упершись взглядом в лоб Молотова, повторил в задумчивости:

— Итак, вы тут посоветовались… И решили…

С этим он и вышел.

Настала мучительная тишина, было слышно, как скрипел грифель в руках Берия, по-прежнему что-то писавшего на толстой желтоватой бумаге.

Внезапно дверь отворилась, Сталин заглянул в кабинет и вдруг улыбнулся своей чарующей, обезоруживающей улыбкой:

— И — правильно решили…

Когда дверь закрылась, Маленков, откашлявшись, заключил:

— Товарищи, вопрос о положении дел в советском кинематографе можно считать рассмотренным…

13

В начале пятидесятых Сталин, Ворошилов и Косыгин отплыли из Крыма в Сухуми на крейсере «Молотов».

Секретарь Сухумского обкома Мгеладзе, получив сообщение об этом, немедленно позвонил своему шефу Чарквиани — в Тбилиси; после этого распорядился накрыть праздничный стол на даче в честь генералиссимуса и отправился в порт.

(В это как раз время в Грузии были арестованы Рапава, Заделава и Барамия — выдвиженцы Центра; началось «мегрельское» дело; про Чарквиани стали говорить, что он каким-то краем тоже мегрел.)

Прямо с аэродрома Чарквиани приехал на дачу; Сталин, Ворошилов и Косыгин были уже там; когда все расселись за большим столом, Чарквиани сказал:

— Я предлагаю поднять бокалы за самого выдающегося революционера всех времен и народов, соратника Ленина, гениального стратега нашего счастья, дорогого и любимого товарища Сталина!

Все зааплодировали; Сталин, неотрывно глядя

на Чарквиани, поморщился; потом снисходительно усмехнулся в седые, прокуренные усы.

И тут неожиданно для всех поднялся Мгеладзе:

— Я возражаю…

Воцарилась зловещая тишина, оцепенение было общим, давящим; никто не смел глянуть друг на друга.

— Я возражаю, — повторил Мгеладзе еще тише. — По законам грузинского стола, первое слово произносит хозяин, а здесь, в этом доме, я — во всяком случае пока что — являюсь хозяином… Поэтому я не стану поднимать первый бокал за товарища Сталина… Он — грузин, он приехал к себе домой…

Сталин медленно отодвинул свой бокал; Мгеладзе заметил это, как и все присутствовавшие; побледнев до синевы, сухумский секретарь облизнул враз пересохшие губы и на какое-то мгновение замешкался…

…Чем дальше, тем больше Сталина настораживало все то, что было — хоть в какой-то мере — связано с его национальностью. Начиная с той поры, когда он закончил в Вене свою работу «Марксизм и национальный вопрос», к проблемам Закавказья Сталин серьезно не обращался, работал в основном в Петербурге, вращался среди

русских рабочих, ни в Тифлис, ни в Баку более не ездил; в крае своей молодости он побывал лишь в начале двадцатых, в пору для него трагическую, когда Ленин требовал его отставки, а его позицию в «грузинском вопросе» клеймил как великодержавную, недостойную большевика.

Ему было непросто приезжать на родину потому еще, что слишком многие знали, как и с кем он начинал свой путь в революцию. У всех на памяти был Красин, координировавший в начале века всю революционную работу на Кавказе. Ладо Кецховели, Филипп Махарадзе, Мдивани, Курнатовский, Кавтарадзе, Енукидзе, Шаумян, Аллилуев, Каменев, Камо, Джапаридзе, Нариманов, Цхакая, Стуруа. О нем, Сталине, в ту пору не вспоминали в газетах, не называли «вождем»; упоминали, да и то не часто, в *перечислении.*

В Москве помнили процесс, возбужденный Мартовым в революционном трибунале против Сталина, когда он шельмовал его тем, что за участие в экспроприациях он, Сталин, «социал-демократ меньшевистской ориентации», был якобы исключен из партии. Слушание дела началось в марте восемнадцатого года; народный комиссар по делам национальностей выиграл процесс: «бесчестно обвинять человека, не имея

на руках сколько-нибудь серьезных документов; революционер и клеветник — понятия несовместимые!»

В Тбилиси помнили публикацию, подготовленную в декабре двадцать пятого года газетой «Заря Востока»; там приводилась выдержка из отчета начальника тифлисской охранки о нем, Джугашвили: «Сначала был меньшевиком, потом стал большевиком…»

В Тбилиси, Баку и Батуми архивы таили протоколы его допросов в охранке; кое-кто настаивал на распубликовании этих документов; настаивал на этом не только Троцкий, но и Камо.

Лишь в двадцать третьем году, когда выдвиженец Сталина молодой Лаврентий Берия начал свое триумфальное продвижение *вверх,* началась неторопливая, но обстоятельная корректировка фактов. Все, что было неугодно *новой* линии, изымалось из печати, создавались легенды, выстраивалась новая концепция прошлого. Камо вычеркнули из истории, — боевик, экспроприатор, был близок к Сталину, — не нужно вспоминать об этом. Теоретик марксизма и стратег революции, начиная с начала века, каким должен *стать* Сталин, совершенно не обязан, более того, не должен быть связан с теми акциями,

которые проводил Камо.

Затем Чичерина сменили Литвиновым — все-таки именно он, Максим Максимович, был первым, кто в начале века написал Ленину о молодых кавказских публицистах-революционерах, — значит, речь шла о Сталине, о ком же еще?! Именно с ним Сталин работал в Берлине в девятьсот седьмом, стараясь облегчить участь Камо и разменять ассигнации во время тбилисской экспроприации, организованной им и Камо.

В начале тридцатых была напечатана статья о революционном *меньшинстве «*Месаме-Даси», возглавлявшемся Кецховели, Цулукидзе и Сталиным: именно таким образом был дезавуирован отчет тифлисского охранника, напечатанный «Зарей Востока», — да, Коба был «меньшевиком» в «Месаме», но эти меньшевики были истинными ленинцами, национальная особенность грузинской социал-демократии, откуда было это знать царскому жандарму?!

Такого рода публикация окончательно дезавуировала и Мартова; впрочем, этот — не страшен, умер в эмиграции, мертвые обречены на молчание.

В тридцать четвертом, после съезда, а особенно когда опубликовали заметки Сталина против

марксистского историка Покровского в переводе на грузинский, Берия приехал в Москву и положил на стол вождя папку с высказываниями кавказских большевиков о том, кто действительно стоял во главе революционного движения в Баку и Тифлисе. Хотя имя Сталина и упоминалось (слава богу, не двадцать пятый год), но все кавказские большевики на первое место ставили того же Ладо Кецховели, Наримана Нариманова, Джапаридзе, Мешади, Азизбекова, Виктора Курнатовского, Авеля Енукидзе, Степана Шаумяна; Сталина упорно называли следом за ними.

Просмотрев папку, Сталин усмехнулся:

— Истинным и единственным создателем грузинской социал-демократии был русский марксист Ленин… А Сталин… Что ж, Сталин не гонится за славой, он всегда был верным учеником Ленина, нет почетнее звания, чем быть его учеником и сподвижником…

В тридцать шестом Берия начал повальные аресты ветеранов большевистского движения на Кавказе; архивы безжалостно сжигались, пришла пора переписать историю: аппарат Берия подготовил ему книгу — «К истории большевистских организаций Закавказья».

Берия *помянул* «соратника» Сталина — Викто-

ра Курнатовского; тот начал борьбу с царизмом в прошлом веке, был подвижником «Народной воли» в те уже годы, когда Сталин только читал «Закон Божий» в духовном училище; дружил с Лениным, когда Коба занимался в семинарии, готовясь стать утешителем людским, священником; вспомнил Берия и «учеников» вождя — Кецховели, Цулукидзе, Джапаридзе, — а ведь именно эти *ученики* и привели в свои рабочие кружки никому неведомого юношу; замалчивалась роль руководителя тбилисского подполья Джибладзе, большевистского ветерана Стуруа, — а ведь они преподавали молодому Кобе азы политической борьбы; тысячи и тысячи грузинских ленинцев и все те, кто все еще осмеливался помнить правду, были уничтожены.

…Просмотрев рукопись Берия, вождь сделал всего несколько редакторских замечаний, добавил абзацы о роли русского рабочего класса, вписал фамилию Калинина (все еще популярен среди крестьян, может пригодиться) и, возвращая манускрипт, заново обсмотрел Берия: этот не подведет, ему и кончать с Ежовым; *подчистит* и в Москве, здесь это легче сделать, Москва — не Тбилиси, здесь горцев нет…

…И вот сейчас в Сухуми молодой еще секретарь

обкома (сколько ему было в двадцать втором?) прикоснулся к тому, чего так не любил Сталин — не любил и страшился; ах, люди, бедные, слабые люди, надо бояться грядущего, а мы несем в себе страх перед безвозвратно ушедшим прошлым…

Между тем, *собравшись,* Мгеладзе продолжил свой тост, запрокинув от волнения голову:

— У нас, грузин, первый тост положено поднимать за гостей. А самым дорогим гостем мы сегодня по праву должны назвать замечательного русского большевика Климента Ефремовича Ворошилова, героя Гражданской войны, соратника товарища Сталина по работе в Государственном комитете обороны в годы Великой Отечественной, луганского рабочего, ставшего одним из руководителей первого в мире многонационального государства рабочих и крестьян… За Климента Ефремовича, товарищи, а в его лице — за великий русский народ!

Все сидевшие за столом молчали; бокалов никто не поднял.

Сталин глухо кашлянул, чуть пожав плечами, сказал:

— Спасибо за прекрасный тост, — и, холодно глянув на растерянного Ворошилова, поднял бокал, сделав легкий глоток. — Было бы плохо,

доведись мне, москвичу, исправлять ошибку грузина Чарквиани, молодец, Мгеладзе…

…После обеда, удавшегося на славу, Сталин спросил жену Мгеладзе:

— Вы кто по национальности?

Женщина ответила:

— Полукровка.

Сталину говорили, что жена Мгеладзе еврейка; раскурив трубку, поинтересовался:

— Литературный грузинский хорошо знаете?

— Не очень, товарищ Сталин.

— Надо хорошо говорить на языке народа, среди которого живете. Учите грузинский, думаю, пригодится.

Вскоре Мгеладзе был перемещен в Тбилиси — первым секретарем ЦК. Подписывая назначение, Сталин заметил Маленкову:

— Я порою опасался, что последним отважным грузином был Авель Енукидзе; к счастью, ошибся; Мгеладзе достойный человек, не боится постоять за себя, такой наведет порядок…

(Маленков тогда — в который уже раз — подивился тому, сколь дружески Сталин отзывался о тех, кто был расстрелян по его указаниям; с особой теплотою, однако, вспоминал эпизоды, связанные с Енукидзе, Бухариным и Камене-

вым.)

…Вскоре после смерти вождя Мгеладзе назначили директором совхоза; потом и вовсе сошел на нет, «пенсионер республиканского значения».

14

…Свою последнюю речь Сталин произнес на Девятнадцатом съезде партии, когда ВКП(б) была переименована в КПСС, — большевизм как идейное течение русской революционной мысли формально перестал существовать, сделался достоянием истории…

Как всегда, он изредка заглядывал в текст — однако на этот раз всего три страницы, может, чуть больше. Напечатано было на специальной машинке с большим шрифтом — генералиссимус не хотел надевать очки; разрушение привычного образа вождя наверняка обыграют враги, да и советские люди будут недовольны — они не любят перемен такого рода; каким был Сталин с двадцать четвертого года, когда начали печатать его фотографии в газетах, таким он должен оставаться навечно…

Сталин читал медленно, часто замолкая на минуту, а то и больше, словно бы наслаждаясь той гнетущей тишиной, какая была в зале. На самом-то деле сейчас ему это было совершенно безразлично, он давно привык к мертвенному вниманию в любом помещении, как только на-

чинал говорить. Однако поскольку в зале сидели Мао, Торез, Энвер Ходжа, Тольятти, Готвальд, Берут, Ракоши, Пик, Георгиу-Деж, Хо, Ким Ир Сен, Поллит, Долорес, он опасался, что они заметят его старческую шепелявость, хрипящую одышку и то, как порою заплетается язык; *свои* любым примут, Россия стариков чтит куда больше молодых; дожить до старости — значит войти в вечность; молодых политиков легко забывают, имя должно стать привычным, постоянно быть на слуху, как «отче наш»…

Сталину докладывали, что после последних процессов в Праге, когда расстреляли Генерального секретаря ЦК компартии Рудольфа Сланского, а вместе с ним большинство членов ЦК, евреев, воевавших в интербригадах, прошедших антигитлеровское подполье, на Западе началась кампания, организованная конечно же «Джойнтом», о том, что он, Сталин, стал творцом качественно новой антисемитской политики.

Генералиссимус попросил приготовить ему переводы из наиболее агрессивных статей в крупнейших журналах и газетах Запада, особенно, понятно, Европы.

Читал Сталин вдумчиво, медленно, делая карандашные пометки на полях; почерк у него был

летящий, четкий, почти без нажима; в девятнадцатом году, убедившись, что все его резолюции, записки и пометки на документах навечно останутся в архивах, сделавшись достоянием истории, которая есть не что иное, как вечность, он несколько дней тренировался: раньше-то позволял себе резкости в отзывах, порою даже ломал грифель, раздраженно подчеркивая ту или иную фразу; во всем нужна самодисциплина, следование логике, не чувству, — даже в том, как и что помечаешь на полях.

Всего несколько раз в жизни он поддался чувству; он помнил каждый эпизод в мельчайших подробностях, цепенея от гнева. Особенно горько было вспоминать, как в двадцатом году он предложил альянс Троцкому; сделал это в своей обычной манере: намек, улыбка, приглашение к соразмышлению. Это было после трагедии в Польше, когда Варшаву не удалось взять и он, Сталин, ждал, что Троцкий не преминет оттереть его и опорочить, но тот был занят ситуацией на Дальнем Востоке и Закавказье, по отношению к нему, Сталину, вел себя на этот раз довольно корректно, не обвинив его ни в чем публично: «на войне, как на войне». Сталин испытал нечто вроде чувства благодарности Троцкому за это и

после нескольких дней, ушедших на взвешивание всевозможных прикидок, написал ему — во время заседания Политбюро — записку, предлагая встретиться, чтобы исследовать комплекс причин поражения, — урок на будущее.

Пробежав послание, Троцкий даже не взглянул *на него,* Сталина, шепнул что-то Ленину, а уж потом, усмехнувшись, начал что-то быстро писать в своем блокноте. Сталин следил за каждым его жестом: сначала захолодел от обиды, когда заметил, сколь рассеянно пробежал Троцкий его предложение о заключении пакта дружества, — новичок в политике не поймет, что значит такая записка, а Троцкий дипломат тертый. Когда же Сталин увидел, что тот, низко склонившись над столом, пишет свою записку, отошел, ибо понял: вот он, ответ предреввоенсовета. Троцкий конечно же прав, зачем обмениваться взглядами, — и Зиновьев и Каменев наблюдают за каждым движением вождя РККА, тяжко не любят его и завидуют. Они, ученики Ильича, работавшие с ним бок о бок пятнадцать лет (эпизод двадцать четвертого октября не в счет), оттерты на третье, а то и на четвертое место, а тот, кто постоянно воевал против Ильича, стал «человеком номер два», и его портреты почти столь же популярны

в стране, как Ленина…

Сталин нетерпеливо ждал, что Троцкий ему напишет; он был убежден, что Лев Давыдович верно поймет его, их блок гарантирует несокрушимое единство ЦК, ибо только они, два исполина, могут удержать страсти: в руках Троцкого армия, без которой невозможно гарантировать порядок, у Сталина — не только государственный контроль, инспекция всех наркоматов, но и окраины республики, конгломерат национальностей, а это, как-никак, Украина, Белоруссия, Кавказ и Туркестан…

Троцкий, однако, перебросил первую записку Крестинскому, а вторую — Фрунзе, приглашенному на заседание в связи с предстоявшими боевыми действиями, план которых был вчера утвержден.

Именно тогда Сталин ощутил нечто подобное ожогу; обычно бледный, он почувствовал, как кровь пульсирующе прилила к щекам.

Назавтра Троцкий позвонил ему по «вертушке»:

— Когда бы вы хотели заехать ко мне, товарищ Сталин?

— К сожалению, — ответил Сталин, — ситуация изменилась: навалилась куча дел.

— Хорошо, — усмехнулся Троцкий, — как разберете кучу — звоните.

Сталин тогда медленно, как-то даже гадливо опустил трубку на рогоподобный рычаг и подумал: «Жди! Не дождешься!»

...Исследуя реакцию западноевропейской прессы, которая всячески обыгрывала тот факт, что среди расстрелянных руководителей компартий Восточной Европы — Ласло Райка в Венгрии, Анны Паукер в Румынии, Сланского в Чехословакии — большинство были евреями, стояли у колыбели своих партий, Сталин поначалу решил разыграть карту Ракоши, Кагановича и Мехлиса. Действительно, руководителем Венгрии оставался еврей Матиас Ракоши (усмехнулся, вспомнив соленую шутку одного из своих коллег: «Матиас твою в ракоши»), здесь, в Москве, членом Политбюро является Каганович, а его многолетний помощник, Мехлис, стал министром госконтроля; о каком антисемитизме может идти речь?

Однако в свете того, что готовится в следующем, пятьдесят третьем году, Сталин понял, что такого рода ответ западноевропейским оппонентам будет тактикой, а ему пристало думать лишь об отправных вопросах стратегического плана — на многие годы вперед, на века, говоря

точнее. Он понимал, что запланированное им на будущий год (а он начал готовить это еще в тридцать шестом, когда Каменев и Зиновьев признались в том, что служили шпиону Троцкому; то, что было продолжено в кампании против космополитов в сорок седьмом; то, что подтвердили процессы Райка и Сланского, рассказавших, что они служили как Гитлеру, так и еврейскому «Джойнту») будет делом нелегким. Действительно; только наивный политик может верить в то, что старая гвардия простила ему расстрелы членов ленинского ЦК, что она не будет дрожжами памяти о том, что именно Троцкий был первым наркомом обороны, Зиновьев — председателем Коммунистического Интернационала, Каменев — заместителем Ленина; во имя торжества его, Сталина, дела Карфаген должен быть разрушен. Память хранят люди, и только их изоляция гарантирует появление чистого листа, на котором можно написать то, что внуки его внуков будут считать Евангелием от социализма. Именно тогда он заново пересмотрел подготовленный им состав новых членов Президиума ЦК, который надлежит избрать завтра: из стариков, хранящих *память*, остались только Молотов, Ворошилов и Микоян; чужая душа — потемки;

смешно предполагать, что Молотов забыл, как он работал с Каменевым, Рыковым и Крестинским; помнит, еще как помнит… А Ворошилов? Забыл, как славил «вождя Красной Армии» Троцкого? Вопрос с Кагановичем и Мехлисом будет решен иначе, все продумано и взвешено… Нет, именно сейчас, на Девятнадцатом съезде, он, Сталин, должен обратиться к Западной Европе совершенно иначе, никак не реагируя на развернувшуюся кампанию об его, Сталина, антисемитизме…

Поэтому-то, тяжело облокотившись на трибуну, он и прочитал то главное, что за кордоном поймут все — как политики, так и трудящиеся:

— Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт нынешними правителями Европы… Его некому поднять, кроме как коммунистам Запада…

(Не отсюда ли, кстати, и надлежит отсчитывать начало «еврокоммунизма»?)

…На закрытом заседании съезда, когда началось выдвижение кандидатур в ЦК, Сталин, сидевший, как обычно, на самой последней скамье президиума, совершенно один, неожиданно для всех поднялся и попросил у председательствовавшего слово; тот вместо ответа истерично

зааплодировал.

Сталин медленно шел к трибуне, ощупывая ногами ступени, как слепец, а зал поднялся, устроив ему очередную овацию (первая, когда его имя было названо среди кандидатур в члены ЦК, длилась около пяти минут).

Он снова облокотился на теплое дерево трибуны, словно бы повиснув на ней, как-то безучастно осмотрел неистовствовавший зал, потом медленно поднял руку, прося тишины.

— Товарищи… Я очень устал… Да и годы не те… Спасибо вам за то, что вы так честно и вдохновенно работали вместе со мною… Все эти четырнадцать лет — после Восемнадцатого съезда… Я прошу дать мне самоотвод… Прошу, так сказать, отставку… Я же — в свою очередь — назову того, кого мог бы смело рекомендовать на мое место, — и, повернувшись к президиуму, он медленно обвел взглядом лица членов Политбюро, задержавшись на лице Молотова чуть больше, чем на лицах остальных коллег.

…В зале началось невообразимое:

— Сталина! Сталина! Сталина! — скандировали делегаты съезда. — Хотим Сталина! Сталина! Сталина!

Сталин слушал овацию, по-прежнему обвисаю-

ще опираясь на трибуну, а перед глазами стояло демоническое лицо Троцкого, когда тот подал в отставку: было это в июле девятнадцатого из-за разногласий с ним, Сталиным, по поводу стратегии на Южном фронте.

Сталин никогда не мог забыть, что Ленин поручил именно ему, Сталину, подготовить решение ЦК; он понимал, что Ленин не зря поручил именно ему написать проект; обида была непередаваемо тяжелая; это, однако, оказалось для него таким испытанием на прочность и выдержку, за которое он потом не раз благодарил судьбу.

В проекте решения Сталин писал, что Орг. и Политбюро ЦК, рассмотрев заявление т. Троцкого, пришли к единогласному выводу, что принять отставку т. Троцкого они абсолютно не в состоянии. Орг. и Политбюро ЦК сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для т. Троцкого и наиболее плодотворной для республики ту работу на Южном фронте — самом трудном, самом опасном и самом важном в настоящее время, — которую избрал сам т. Троцкий… Твердо уверенные, что отставка т. Троцкого в настоящий момент абсолютно невозможна и была бы величайшим вредом для республики, Орг. и Политбюро ЦК настоятельно предлагают

т. Троцкому не возбуждать более этого вопроса и исполнять далее свои функции, максимально, в случае его желания, сокращая их ввиду сосредоточения своей работы на Южфронте…

Прочитав проект решения, Ленин тогда как-то по-особому, *взвешивающе* глянул на Сталина и молча подписал документ, не сделав ни одной правки; вернул машинописную страничку Сталину, попросил согласовать с Каменевым, Крестинским, Калининым и Серебряковым; он, Сталин, свою подпись поставил последним; никогда не мог забыть, с какой помпой Троцкий после этого уехал на своем поезде на фронт, к Воронежу.

Тогда именно Сталин и понял всю томящую сладость отставки, которую просят, заранее зная, что никто ее не примет, — истинный триумф авторитета, еще одна ступенька вверх, звенящее ощущение собственной значимости…

Лишь семь лет спустя Сталин решился на то, чтобы повторить фокус Троцкого; он подал в отставку, когда Троцкий был уже снят с поста наркомвоена, а его бывшие враги Каменев и Зиновьев разгромлены, хотя и кровавой ценой — они публично потребовали зачитать завещание Ленина, в котором содержалось требование:

Сталин должен быть смещен. Но с той поры, как Ленин написал свое завещание, прошло три года; Сталин сумел заручиться поддержкой Бухарина, истинного любимца партии, с ним был Председатель Совнаркома Рыков, руководитель профсоюзов Томский, с ним был Серго, которого Ленин называл другом, могущественный зампред ГПУ Ягода, заворготделом Каганович, Куйбышев и Андреев — они сделают так, что делегаты не примут его отставки, отвергнут ее столь же решительно, как он, Сталин, в свое время подготовил решение, отвергавшее отставку Троцкого. Все течет, все меняется; побеждает тот, кто силен, умеет просчитывать вероятия и наделен даром памятливой выдержки. Его, Сталина, жизнь оделила этим даром с лихвой. Он помнил, он помнил все — со страшившей порою его самого фотографической точностью деталей. Он, например, никогда не мог забыть, как в Вене, впервые встретившись с Троцким на квартире одного из меньшевиков, вошедшего затем во Временное правительство, он сидел в углу, возле книжного шкафа, страдая от того, что Лев Давыдович разговаривал с гостями по-немецки, не утруждая себя тем, чтобы хоть пояснить ему, о чем шла речь; один он, Сталин, не знал языков,

приехал из глубинки, откуда же в товарище такая невнимательная черствость? Он плохо спал в ту ночь, вертелся под пуховой периной в доме приятеля; чувствовал себя обгаженным, заново анализировал, что думали о нем собравшиеся, когда он, истомившись своим вынужденно-непонимающим молчанием, достал какую-то книгу из шкафа, но и та оказалась немецкой, — не ставить же ее на место, да и дверца скрипит, могли б петли смазать… Тем не менее, когда Временное правительство заставило Ленина и Зиновьева перейти на нелегальное положение, а Троцкого и Каменева бросило в тюрьму, именно он, Сталин, написал воззвание: «Никогда еще не были так дороги и близки рабочему классу имена наших вождей, как теперь, когда обнаглевшая буржуазная сволочь обливает их грязью!»

Он боялся этих воспоминаний, гнал их от себя, но, когда начальник кремлевской охраны Паукер рассказал ему, как Зиновьев перед расстрелом падал на колени и молил о пощаде, а Каменев презрительно сказал: «Перестаньте, Григорий, надо умереть достойно», Сталин с мучительной ясностью увидел свои строки, написанные им после того, как Каменев, выпущенный Керенским из тюрьмы, был немедленно обвинен буржуа-

зией в том, что якобы сотрудничал с охранкой: «Контрреволюционных дел мастерам надо во что бы то ни стало изъять и обезвредить Каменева как одного из признанных вождей революционного пролетариата…»

Именно он, Сталин, — по поручению ЦК — разоблачил эту клевету, именно он доказал всю вздорность и гнусность такого рода обвинений Каменева, который был тогда его ближайшим другом.

То же самое с ним, Сталиным, произошло и после того, как по его требованию расстреляли Бухарина. Он лежал на диване, и не мог уснуть, и отгонял от себя навязчивые картины — близкие, ощутимые, слышимые; их первая встреча с «Бухарчиком» в Вене, когда тот проводил с ним целые дни, работая в библиотеке, переводил ему немцев, французов и англичан, делал выписки, советовал, как лучше *строить* «Марксизм и национальный вопрос»… Именно тогда, в ту бессонную ночь, когда все было кончено с последними членами ленинского Политбюро, он услыхал в себе годуновскую страшную фразу, произнесенную кем-то другим, незнакомым: «бухарчики кровавые в глазах»…

И, словно бы защищаясь от нее, этой зловещей,

как бы усиленной динамиками фразы, он перекричал ее вопросом, обращенным не к себе, а к кому-то громадному, нависшему над ним давящей тенью: «Каждый из них мог принять бой и умереть молча, но ведь они на это не пошли! А я бы пошел!»

Но он снова вспомнил Троцкого, его указание держать на учете семьи офицеров и принимать их на ответственные посты в том случае, если имеется возможность в случае измены захватить семью.

Он никогда не забывал этих жестоких слов Троцкого, но применил их он, Сталин, в тридцать шестом, когда перед Каменевым поставили дилемму: или два его сына погибнут, или он, Каменев, сыграет ту роль в спектакле процесса против Троцкого, которая будет для него написана…

«А если бы мне предложили такое? — спрашивал себя Сталин много раз. — Я бы отрекся от себя, своего прошлого, своего честного имени — во имя детей?»

Он никогда не отвечал сразу — даже себе; любой ответ должен быть взвешенным и до конца точным.

Нет, сказал он себе, я бы не отрекся от себя и сво-

его дела. Тарас Бульба пожертвовал сыном во имя общего дела, и он был прав; я бы смог повторить его подвиг, ибо человек до той поры человек, пока за ним не захлопнулась дверь камеры; выхода из нее — так или иначе — не будет, такова жестокая логика политической борьбы. Да и потом, почему я должен верить тому, кто заточил меня в темницу? Это — противоестественно. Почему я должен верить, что моих детей пощадят? Если меня не пощадили, чем они, дети мои, семя мое, лучше? Нет, я бы повел себя не так, как повели себя Зиновьев, Лева и Бухарчик…

Зиновьева — не любил, с Каменевым подружился еще в начале века на Кавказе, когда тот руководил пропагандой, поэтому и сейчас машинально называл его «Левой»; именно так обращался к нему и в ссылке, и весной семнадцатого, в «Правде», когда вместе редакторствовали, стараясь сдержать Ленина от его резкого поворота к социалистической революции, а уж Бухарчик — в самые трудные годы — был словно брат ему, как же ему иначе называть Николая, как?!

…Сталин стоял на трибуне безучастно, недвижно, потом вновь поднял руку, прося тишины, но это подлило бензина в огонь, — казалось, пере-

понки порвутся от грохота оваций.

Тогда, досадливо махнув ладонью, словно бы отгоняя надоедливую муху, Сталин сошел с трибуны и покинул зал заседаний…

…Назавтра, во время Пленума, Сталин попросил слова, сразу после того, как избрали членов Президиума, заменившего Политбюро. Сталин ввел молодежь — не зря в завещании Ленин советовал делать ставку на новые кадры; он, Сталин, соратник Ленина, во всем следует ему. Он, Сталин, выполнил, кстати, и другой его завет: никогда, начиная с двадцать четвертого года, не разрешал называть себя «генеральным секретарем ЦК».

…На трибуну он поднялся легко, обвисать не стал, овации пресек резко, словно бы наложив руку на рты кричавших в его честь здравицы.

— Если вы заставили меня вновь поработать в качестве секретаря ЦК, — атакующе, без давешних придыханий, сказал он, — то я должен сообщить вам, что в партии оформился и функционирует новый оппозиционный уклон. Правый уклон по своей сути. И рассказать об этом должны товарищи Молотов и Микоян… Вот чем нам надлежит заняться на заседаниях нового Президиума, именно этим, а ничем другим.

15

В Барвихе, на небольшой даче, где, ожидая второго ребенка, жила Юля Хрущева, внучка Никиты Сергеевича, я повстречался с маршалом Тимошенко — громаднорослым, бритоголовым, в коричневом приталенном костюме и черных лаковых туфлях не менее как сорок пятого размера, наверняка заказных.

После первых же фраз разговор перешел на проблему «культа личности»: только-только закончился Двадцать второй съезд.

— Никогда не забуду лица Сталина, — рубяще, командно заговорил Тимошенко, — когда я приехал к нему на Ближнюю Дачу на второй день войны: запавшие, небритые щеки, глаза тусклые, хмельные… Он сидел у обеденного стола, словно парализованный, повторяя: «Мы потеряли все, что нам оставил товарищ Ленин, нет нам прощенья…» Таким я его никогда не видел, а знакомы-то с восемнадцатого, добрых четверть века… Хотя, помню, видел его однажды хмельным в двадцать седьмом году, в день десятилетия Рабоче-Крестьянской Красной Армии… И случилось это при любопытнейших обстоятельствах… Я тогда

командовал войсками в Смоленске, провел торжественное заседание, только-только перешли в банкетный зал, как меня вызывают на прямой провод, звонит Лев Захарович Мехлис, помощник Сталина:

— Срочно выезжай на аэродром, бери самолет и жми в Москву! Я отправляю машину в Тушино.

Через два с половиной часа я подкатил на «паккарде» к Центральному Дому Красной Армии — там гуляли годовщину РККА, не поминая, ясно, ни Троцкого (а ведь как-никак первый нарком обороны республики), ни Вацетиса, которого именно Троцкий протащил на пост Главкома: многие были против, мол, из царского генерального штаба, золотопогонник, но Лев Давидович настоял на своем, крутой был мужик, Сталин у него, честно говоря, много взял, не во внешнем, конечно, облике, а в умении пробивать свое… Шапошникова Бориса Михайловича, полковника царской разведки, тоже Троцкий в РККА привел наперекор всем, но потом в поддержке отказал: тот уж больно поляков ненавидел, «католические иезуиты, ляхи», даже статью против них бабахнул в двадцатом, за что Троцкий журнал прикрыл, а Шапошникова — «за шовинизм» — бросил, как говорили, на низовку, слава богу,

еще не шлепнул сгоряча, он это тоже умел… Потом, когда Троцкого турнули, Шапошников снова поднялся, Сталин его поддержал, был у меня начальником генштаба — единственный беспартийный на таком посту… Думаю, кстати, Сталин его не без умысла ко мне приставил… Да… Прибыл, значит, я, вошел в банкетный зал, а там и Бубнов, и Блюхер, и Егоров, и Якир с Уборевичем, Позерн, Буденный, Лашевич, Раскольников, Примаков, Штерн, Подвойский, Крыленко, Корк, Эйдеман, Тухачевский, ясное дело, ну и Ворошилов со Сталиным… Все, гляжу, хоть и под парами, разгоряченные, но какие-то напряженные, нахохлившиеся… Сталин, пожав мне руку, говорит: «Мужик, ну-ка, покажи себя…» Он меня еще с Гражданской называл «мужиком», любил рослых, а особенно тех, у кого в семье был кто из духовенства… Я его спрашиваю, что надо сделать. А он трубку раскурил, — лицо жесткое, глаза потухшие, хмельные, — пыхнул дымком и говорит: «Я предложил провести соревнование по борьбе — кто из наших командиров самый крепкий… Вот Тухачевский всех и положил на лопатки… Сможешь с ним побороться? Но так, чтоб его непременно одолеть?» Я, конечно, ответил, что будет выполнено. «Ну, иди, вызови его

на поединок». Я и пошел. А Тухачевский крепок был, не так высок, как я, но плечи налитые, гири качал, как только на скрипке своей мог играть, ума не приложу, она при нем крохотной казалась, хрупенькой, вот-вот поломает… Ну, я к нему по форме, он ведь старше меня был по званию, командарм, я только комдив, так, мол, и так, вызываю на турнир… Тухачевский посмотрел на Сталина, усмехнулся чему-то, головой покачал и ответил: «Ну, давайте, попробуем». Схватились мы с ним посредине залы; крепок командарм, жмет, аж дух захватывает, а поскольку я выше его, мне не с руки его ломать, захват приходится на плечи, а они у него, как прямо, понимаете, стальные… Вертелись мы с ним, вертелись, а вдруг я глаза Сталина увидел — как щелочки, ей-богу, а лицо недвижное, будто стоит на весенней тяге, так весь и замер… Как я эти его глаза увидел, так отчего-то ощутил испуг, а он порою придает человеку пре-бо-ольшую, отчаянную силу! Ухватил я Тухачевского за талию и вскинул вровень с собой, а когда борец ног не чувствует, ему конец, потому как опоры нету, будто фронт без тыла… Ладно… Держу я его на весу, жму, что есть сил, а он решил ухватить меня за шею, чтоб голову скрутить, — без нее тоже не с руки бороться… Но

я этот миг как бы заранее почувствовал, взбросил командарма еще чуть выше и что было сил отшвырнул от себя. Но — не рассчитал: он спиною ударился о радиатор отопления и так, видно, неловко, что у него даже кровь со рта пошла… А Сталин зааплодировал мне, заметив: «Молодец, мужик! Положил забияку, будет знать, как своей силой похваляться…» Чокнулся со мной, выпил, повернулся и пошел к выходу, ни с кем не попрощавшись…

Тимошенко замолчал, поднял со стола рюмку и, неожиданно для всех, резко поднявшись, откашлялся:

— Предлагаю тост за выдающегося деятеля международного рабочего движения, — начал *рубить* он, — гениального военачальника Великой Отечественной, страстного борца за мир и дружбу между народами, нашего дорогого Никиту Сергеевича Хрущева…

…Воистину, никто так легко не отдает права править собою, как мы… Традиция? Или рок? Неужели закономерность?

16

Сергей Николаевич Новиков, большевик с восемнадцатого года, пришел в ЧК в двадцатом, принимал участие в борьбе с басмачеством, переехал в Москву, учился в институте, затем был отправлен в Казахстан, работал в Алма-Ате, в тридцать пятом году стал одним из руководителей местного НКВД.

Однажды ночью услыхал, как к дому, где он жил, подъехали три машины; выглянул из-за шторы, увидал оперативную группу, выскочил во двор, перемахнул через забор и ушел в *бега.*

В Москве он объявился в тридцать девятом уже, после расстрела Ежова, когда из тюрем начали выпускать тех ветеранов, кого не успели уничтожить физически, но сломали морально: именно тогда Сталин и начал разыгрывать карту «большого обмана» — мол, прежнее руководство НКВД «обманывало» страну, арестовывая невинных людей.

Женившись на моей тетушке Александре Ноздриной, Сергей Николаевич сдружился с моим отцом; дружба перешла ко мне «по наследству»; выйдя на пенсию и поселившись в деревне,

Новиков рассказал, отчего его должны были арестовать.

— Ни Филипп Медведь, начальник Ленинградского ЧК, ни его заместитель Запорожец, готовивший убийство Кирова, не были расстреляны, — Сергей Николаевич заметно нервничал, рассказывая мне сокровенное, что он носил в себе больше тридцати лет. — Их отправили на Восток, да и не в лагеря, а на стройки, и не заключенными, а руководителями… Поэтому от Медведя «пошли круги» — он не мог не поделиться с друзьями о том, как после убийства Кирова в Питер приехал Сталин, вызвал к себе Николаева и задал он ему всего три вопроса, один из них был решающим: «Вы где достали револьвер?» А Николаев ответил в ярости: «У Запорожца спросите, он всучил!» Сталин приказал немедленно Николаева ликвидировать, обматерив при этом Молчанова, одного из помощников наркома НКВД Ягоды, затем вызвал из камеры Борисова, начальника охраны Сергея Мироновича, побеседовал с ним с глазу на глаз; в тот же день Борисова убили.

Пресса, не подготовленная к тому, как комментировать происшедшее, сразу же обвинила в убийстве Кирова белогвардейцев. И лишь после того, как все свидетели были расстреляны или

погибли при загадочных обстоятельствах, был дан залп против оппозиции, а в январе тридцать пятого был проведен закрытый процесс против Каменева и Зиновьева: им дали по пять лет лагерей за то, что они якобы несли моральную ответственность за убийство Сергея Мироновича.

Так вот, поскольку с Медведем я неоднократно встречался, в голове у меня шевельнулись первые сомнения — что-то во всем этом деле нечисто… Но дрогнул я лишь после того, как наш казахский нарком вернулся из Москвы в Алма-Ату в январе тридцать шестого, собрал коллегию, стенографиста попросил покинуть кабинет и сообщил, что начальник управления Молчанов проинформировал собравшихся: в стране открыт грандиозный заговор, во главе которого стоят Троцкий, Каменев, Иван Смирнов, Зиновьев. Главная цель: убийство товарища Сталина и его ближайших соратников — Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Жданова, Чубаря; наркомат переходит на военное положение, все иные дела (будь то шпионаж, экономические диверсии, злоупотребления по должности) откладываются, *работаем* троцкистско-зиновьевских террористов… А я, брат, возьми, да и бухни: «А кто же этот заговор раскрыл? Почему мы, чекисты, не имели

до сих пор никаких намеков на такую разветвленную цепь?» Мой нарком чуть съежился, на вопрос не ответил, но, многозначительно посмотрев на меня, заключил: «За работой следствия будет наблюдать лично товарищ Сталин, а руководить — секретарь ЦК Николай Иванович Ежов. Это все. Готовьте предложения. Срок — двадцать три часа. Точка».

Сергей Николаевич — бровастый, лупоглазый, большелобый — поднялся с табуретки, походил по маленькой кухоньке, застланной домоткаными дорожками, остановился возле печки, прижался к ней, словно бы стараясь вдавить в нее свое тело, вобрать ее тепло, ощутить *спину* (нет ничего важнее, чем чувствовать *надежду* у себя за спиной), и, закурив «гвоздик», продолжил:

— Ежова я встречал дважды, — маленький, быстрый, глаза оловянные, улыбка быстрая, располагающая, — и каждый раз дивился тому, отчего товарищ Сталин выдвинул именно его на это дело. Образованием он не блистал, говорил с плохо проставленными ударениями, порой путал падежи; я тогда подумал: мы ж горазды на самоуспокоение, точнее, самообман, — мол, выражается так, чтобы быть понятным самым широким слоям народа. Эрудиция Каменева,

честно говоря, порою ставила в тупик, не всем была понятна, — больно уж профессорский тон, сплошная искрометность, афоризмы, иностранные слова… Да, брат…

Был у Ежова друг, заместитель народного комиссара земледелия Конар, приезжал к нам единожды, за день перед этим пришла шифровка: «Обеспечить помощь по всем вопросам. Ежов». Ну, ясно, мы и прыгали вокруг Конара, да разве одни мы? А потом — ба-бах! — берут этого самого Конара, оказался шпионом, настоящая фамилия Полищук, польская разведка ему дала документы на имя красного командира Конара, убитого в перестрелке, внедрился, «рос» двенадцать лет, обосновался в Москве, вошел в «свет», а как свиделся с Ежовым — сразу сел в кабинет заместителя наркома земледелия… А это, брат, не шутка — вся стратегия борьбы с бухаринским уклоном в МТС проводилась в жизнь им, Конаром. Причем не мы, ЧК, его раскрыли… Молодой большевик, из МТС, случайно увидавши Конара, ахнул: «Да я ж с товарищем Конаром в одном полку служил! Никакой это не Конар!» Только после этого мы поставили наблюдение и получили прямые улики шпионской деятельности замнаркома… А ведь поначалу Ежов звонил Яго-

де, кричал: «Не сейте семена подозрительности! Не клевещите на честных большевиков! Занимайтесь лучше своими проходимцами, которые бегут на Запад!»

Да, брат, такие вот были дела… Словом, назавтра, в двадцать три по нулям, собрались мы у наркома. Мне дал слово первому: «Ну, что у тебя? Давай фамилии троцкистско-зиновьевских убийц. Кто даст серьезные показания? Какие улики?» Я ответил, что, по данным тех отделов, что я курировал, никаких зацепок нет, оппозиционеры давно разоружились, честно трудятся, никаких претензий. А он: «Плохо работаете». — «Что ж, *выбивать* угодные показания, как в охранке?» Он аж крякнул: «Товарищ Ягода издал приказ, завтра огласите всем сотрудникам: “Любые меры принуждения, угрозы, обещания подследственным будут караться как преступление! Мы работали, работаем и будем работать с чистыми руками!”».

А назавтра наркома забрали. А ведь не кем-то был — родственником Сталина, комиссар госбезопасности Реденс. Ясно? А послезавтра я ушел в бега, убедившись, что действительно начался термидор, заговор против самой памяти Феликса Эдмундовича.

В *бегах* я отлеживался в горах, жил в пастуше-

ской сараюшке, газеты — хоть с опозданием, но читал. И постепенно создалось у меня впечатление, что дружба Конара с Ежовым не случайна, Ежов — самый настоящий шпион, вражина, делает все, чтобы оставить товарища Сталина одного, лишить его всех тех, с кем он был в революции. И я написал подробное письмо Сталину. Почерк, конечно, изменил, не подписался, отправил из другого города, в полтысяче километров от тех мест, где скрывался; никакой реакции; еще, наоборот, больше портретов Ежова, да еще новый лозунг выдвинули: «Учиться жить и работать по-сталински у товарища Ежова»…

Когда Ежов исчез, после Восемнадцатого съезда уже, я прочитал в газетах отчет о судебном процессе над Луньковым, бывшим начальником НКВД в Кузбассе, который арестовывал малолеток и выбивал из них показания, что они, мол, готовили теракт против товарища Сталина. Детей бросали в те камеры, где было полным-полно старых большевиков, а тюрьма — организм особый, через стены, перестуком, информация расходится не то что по городу — по стране, не удержишь… Тогда я и понял, чем Ягода и Ежов вырывали показания у ленинцев: страхом за жизнь детей… Логика: если чужие малыши сидят, значит, и мои

мучаются в соседней камере… Вот после того, как открытый суд приговорил Лунькова к расстрелу, я и решил вернуться в Москву… Устроился в Покровском-Стрешневе завхозом строительства и начал чекистскую комбинацию: поскольку в газетах ничего о Ежове не писали, я решил вновь вернуться к гипотезе о его шпионской деятельности: надо ж народу вразумительно объяснить, что страшная трагедия, свидетелями которой мы были, — дело рук иностранной разведки… Поэтому я начал слежку — да, да, именно так, форменную слежку — за домами, где жили сотрудники НКВД, там мои друзья, верные друзья, с Гражданской еще… Я хотел поговорить со «стариками», глядишь, подскажут, как надежнее передать письмо о Ежове лично товарищу Сталину… Один дом я наблюдал месяц — каждое воскресенье садился в скверике с газетой и «срисовывал» всех входящих и выходящих… Ни одного из стариков не увидал, все новые лица, значит, *моих* постреляли… Потом перешел ко второму дому — тоже никого… Словом, брат, четыре месяца я *работал*… И только на пятом повезло: увидел Вадима, мы с ним в двадцатых учились вместе… Окликнул его негромко, он заметил меня, но не подошел, только чуть кивнул. Я обернулся — слежки вроде

за ним не было, остался на лавочке, сижу, читаю, жду… Он выскользнул вечером, проходя мимо, шепнул, чтоб, мол, я ехал в парк «Эрмитаж», там поговорим. Ну, и поговорили… Выслушав меня, он выпил граненый стакан водки, закусывать не стал, словно воду минеральную проглотил, и, склонившись ко мне, шепнул: «Дурак ты, Сережка! Дурак, как все мы… Я присутствовал на собрании, когда Ежов нам объявлял, отчего Ягода арестован… Он, оказывается, изобличен в том, что был агентом охранки еще с девятьсот седьмого года… А ведь Ягода вроде б в девятьсот седьмом родился, об этом в энциклопедии было написано… Десятилетний агент?! А мы? Молчали, Сережа. Все, как один, молчали… А потом я узнал, что важнейшие ответы Бухарина на процессе писал Сталин… И сочинил ему такое признание, что, мол, я, Бухарин, подозревал Ленина в том, что тот немецкий шпион, еще с семнадцатого года, когда проехал в «пломбированном» вагоне Германию, чтоб скорей попасть в Россию… А после того, как Ленин потребовал Брестского мира, я, Бухарин, до конца убедился, что Ленин — немецкий шпион, и поэтому решил его убить… И тут Бухарин взорвался: «Ради Нюси и Юры я готов погибнуть, оклеветав себя, но

такого я не подпишу! Стреляйте всех нас, убивайте нас троих, но я не дам Сталину обвинить мертвого Ленина в шпионаже! Не дам, и все тут!» Сережа, Сережа, о чем ты?! Бухарин спас Ленина! Согласись он сказать на процессе то, что написал ему Сталин, — вычеркнули б Ильича из учебников, помяни мое слово! А кто нам телеграмму прислал: «применяйте пытки»? Сталин, Сережа, Сталин… Нам эту телеграмму зачитали, потому я тебя домой и не пригласил, я один остался из тех, кто ее слыхал, значит, дни мои сочтены, так или иначе *подберут*… А ты — «письмо товарищу Сталину»… Забудь, Серега, Ежов был его подметкой, а никаким не шпионом…

Сергей Николаевич прерывисто вздохнул, еще резче вмял свое кряжистое крестьянское тело в печку и глухо закончил:

— После Двадцатого съезда я на партсобрании выступил против того, что о Сталине говорили как о человеке, который руководил войной по глобусу… Это было… Но я и за то выступил, чтоб открыть все правду про убийство Кирова… Зачем я тебе говорю все это? Отвечу. Один старик, из могикан, сказал мне: «Ты ж Юльку знаешь, спроси, зачем он в “Семнадцати мгновениях” Сталина помянул? Разве можно славить сатра-

па?!» А я ему ответил: «Трагедия наша в том, что Сталин, который выбил ленинцев, стоял на трибуне Мавзолея седьмого ноября сорок первого, и для нас, в окопах, это было счастьем — для всех без исключения: и кто знал правду, и кто не знал ее… Хочешь, чтоб снова писали лишь одну грань правды? Но разве это история? Нет, брат, история — это когда пишут *всё*… И — как бы со стороны — без гнева и пристрастия. Иначе — не история это, а подхалимский репортаж; тоже придется вскорости переписывать…»

17

Сразу же после расстрела Каменева и Зиновьева самый массированный удар был нанесен по дзержинцам, ибо все они были потрясены коварством Сталина, обещавшего сохранить жизнь обвиняемым взамен на «спектакль».

Никто из ветеранов ЧК не верил, что те являлись агентами Троцкого, убийцами и заговорщиками, но все они были убеждены в необходимости окончательного идейного разгрома троцкизма, — в этом и видели смысл операции «Процесс 1936».

К концу тридцать восьмого года практически весь аппарат Дзержинского, то есть все те, кто создавал ЧК, были расстреляны — без суда и следствия, как злейшие враги народа, шпионы и диверсанты.

Один из создателей советской контрразведки Артузов первую коронную операцию за кордоном назвал «Трест»; название утвердил Феликс Эдмундович.

Именно «Трест» позволил молодой Республике Советов сломать боевые отряды контрреволюционной эмиграции.

Не один лишь Борис Савинков (человек беспри-

мерного мужества, уходивший из-под царской петли, адепт террора, вождь боевки социалистов-революционеров) был обезврежен ЧК; генералы Кутепов и Миллер, руководители «Русского Общевоинского Союза», также были нейтрализованы службой Артузова.

После смерти Дзержинского (Артузов не верил в естественную *смерть* Феликса Эдмундовича; у всех на памяти была гибель Фрунзе, — кто владеет армией и ЧК, тот контролирует ситуацию) Артузов замкнулся, ушел с головой в работу; против Республики Советов работали все секретные службы на Востоке и Западе.

Попытку вовлечь его в написание *сценария* первого процесса против Зиновьева и Каменева в 1935 году отверг с гневом: «Я против своих не воюю, врагов достаточно».

Будучи арестован с группой первых дзержинцев, вскрыл вены и написал на простыне, вывесив ее — умирающий уже — в окно камеры (тогда они еще были без «намордников»): «Каждый большевик, верный идеям ленинской революции, обязан — в случае первой же возможности — уничтожить Иосифа Сталина, предателей, изменившего делу коммунизма, сатрапа, мечтающего о государстве единоличной

тиранической диктатуры!»

18

Отношения Сталина с Глебом Максимилиановичем Кржижановским, первым председателем Госплана республики, задуманного Лениным как высший совет выдающихся ученых и практиков науки — «не более ста человек первоклассных экспертов», — были натянутыми с начала двадцать первого года.

Сталин знал, что Кржижановский был одним из ближайших друзей Ильича, отношения их сложились еще с конца века, в шушенской ссылке; вместе *выстрадали* эмиграцию, вместе работали над планом ГОЭЛРО, любили одних и тех же композиторов (прежде всего Бетховена), никогда не расходились в вопросах теории и практики большевизма. В двадцать первом — с подачи Орджоникидзе, Дзержинского и Троцкого — Ленин порекомендовал Кржижановскому согласиться на то, чтобы его заместителем стал Пятаков: «У него административная хватка, такой вам — интеллигенту с добрым сердцем — поможет по-настоящему, очень талантлив, хоть и крут, подражает Льву Давидовичу, военная школа…»

Генеральный секретарь разрешал себе под-

шучивать над Глебом Максимилиановичем иначе — в присутствии тогдашних своих друзей Каменева и Зиновьева: «Кржижановского надо назначать на самые ответственные участки работы, дать ему собрать аппарат из себе подобных, затем набраться терпения, пока не напортачит, а после выгнать всех его протеже взашей, а Кржижановского перевести на новую работу: пусть снова порезвится в подборе так называемых кадров — отменная форма бескровной чистки аппарата».

Зиновьев над предложением Сталина хохотал: «Разумно, а главное — без склок и истерик».

Каменев, однако, качал головой: «Не слишком ли по-византийски? Лиха беда начало, не обернулось бы потом против всех, кто мыслит не по шаблону и подвержен фантазиям. Революции нужны фантазеры в такой же мере, как и прагматики».

Кржижановский знал об этом; Ленину, понятно, ничего не говорил, друга щадил, работал из последних сил, день и ночь; благодаря помощи первого «красного академика» Бухарина привлек к работе Госплана цвет науки: Вавилова, Иоффе, Крылова, Рамзина.

Именно Кржижановский и рассказал семье

Подвойских поразительный эпизод, многое объясняющий — не прямо, но косвенно — из того, что произошло в стране после смерти Ильича.

Когда друзья Ленина приехали в Горки, «Старик» — так называли его самые близкие — уже лежал в гробу: маленький, рыжий, громаднолобый. Каждый из приехавших подходил к нему; слез не скрывали, стояли подолгу, силясь навсегда вобрать в себя лицо друга, человека, который воистину потряс мир.

Всеми нами, вспоминал Кржижановский, владела страшная, пугавшая каждого растерянность: «А что же дальше? Как поступать? Что сказать Надежде Константиновне? Какие найти слова? Когда выносить тело? Мыслимо ли это вообще?!»

— Я, как и мы все, — рассказывал Подвойским Кржижановский, — ощущал себя маленьким ребенком, брошенным на мороз, — ужас, одиночество, растерянность.

Прощаясь, мы стояли подле Ильича, не в силах оторвать глаз от его прекрасного, скорбного лица, стояли безмолвно, потом медленно отходили в сторону, уступая место следующему, надеясь, что Зиновьев ли, Калинин, Бухарин, Рыков, Каменев, Бонч найдет в себе смелость прервать этот леденящий душу процесс прощания с *эпохой,*

революцией, Россией в конечном счете.

Но никто из них не произносил ни слова: молча плакали; плечи тряслись — странный, как в детстве, звук шмыгающих носов, когда безутешно рыдают малыши, стараясь таить свое горе от взрослых…

А потом к гробу подошел Сталин. Глаза его были сухи, только горели лихорадочно, словно у человека, больного тяжелейшим воспалением легких.

Как и все мы, он стоял возле гроба несколько минут, потом вдруг наклонился к Ильичу, обнял за шею, *поднял* из гроба и поцеловал в губы долгим, *открытым* поцелуем. Это потрясло всех; мы никогда бы не простили ему этого кощунства, если бы он, опустив голову Ильича на подушечку, не сказал сухо, командно даже — всем и никому:

— Выносите тело.

Я никогда не мог и предположить, что именно он, Сталин, найдет в себе дерзостную отвагу *взять* на себя слова такой простой, но столь необходимой всем нам команды.

(Надо бы нам постараться понять, а значит, и объяснить — себе и нашим детям, — для чего революционерам, приехавшим в ту страшную ночь в Горки, людям, испытавшим каторги, эми-

грацию, тюрьмы, ссылки, совершавшим побеги из-за Полярного круга, пришедшим в Революцию для того именно, чтобы бороться за личное достоинство сограждан, которое невозможно вне свободы, в условиях абсолютизма, когда за тебя решают, тебе приказывают и от тебя ждут лишь слепого исполнения приказанного, — отчего этим людям, пророкам Революции, потребовалась команда на поступок, резкая, как удар хлыста?!

Каждая секунда истории человечества хранит в себе триллионы тайн. Однозначный ответ на них невозможен, даже если самые совершенные компьютеры будут включены в работу. Впрочем, последние исследования, проведенные с мозгом Альберта Эйнштейна, дали совершенно новое направление философии науки, подтвердив лишний раз, что мы, надменные земляне, стоим на берегу безбрежного океана таинственного незнания: если ранее — до нового исследования мозга гения — считалось, что главной его субстанцией является нейронная масса, а глия — лишь связующее звено между нейронами, то теперь ученые просчитали, что мозг Эйнштейна, провозгласившего новое качество мышления, состоял на семьдесят процентов именно из глии… А ведь вся система компьютеров строилась на нейронном

принципе! Значит, и в этом случае человечество избрало ложный путь, лишив себя гигантского объема знаний?!)

— Я никогда не забуду те речи, которые были произнесены над гробом Ильича, — продолжал Кржижановский. — Я не любил и поныне не люблю Сталина, но его речь, не редактированная еще его помощниками Товстухой и Мехлисом, была самой сильной из всех, хотя и резко отличалась от той, которая опубликована в собрании его сочинений…

Спустя четырнадцать лет, в том же Колонном зале, Сталин (когда еще не началось прощание) зарыдал и, прижав к себе голову Серго, убитого по его приказу, повалился — в истерике — на пол, увлекая за собой тело человека, воспитанного Лениным в маленьком французском городке Лонжюмо.

* * *

Когда гроб с телом Сталина выносили из Колонного зала, я стоял возле Манежа. Однако среди тех, кто шел в похоронной процессии, был мой друг — журналист Олег Широков, женатый в ту пору на одной из дальних родственниц Иосифа Виссарионовича. Он-то и рассказал мне эпизод,

который навсегда отложился в памяти.

Гроб выносили из подъезда Дома союзов Берия и Маленков, ростом значительно ниже сатрапа; во втором ряду шли Хрущев и Молотов. Гроб чуть перекосило. Берия, не скрывая раздражения, *приказал:*

— Выше поднимайте! Выше!

Все вздернули руки. Только один человек не внял его команде. Его звали Хрущев.

19

Алексей Ильич Великоречин был парторгом того эскадрона, где комсоргом был мой отец; вместе служили на границе с Турцией в двадцать девятом, с тех пор побратались; в начале тридцатых Великоречина избрали секретарем одного из райкомов партии в Горьком, отец стал работать в Москве, в Наркомтяжпроме, у Серго Орджоникидзе.

Великоречина посадили в тридцать седьмом; несмотря на применение «недопустимых методов ведения следствия», он ни в чем не признался; в тридцать девятом состоялся открытый суд, его реабилитировали «подчистую» — Берия провел по стране около двадцати «показательных» процессов такого рода, нарабатывал образ сталинского «борца за справедливость».

Войну Великоречин провел в окопах, был отмечен солдатскими наградами, получил звание батальонного комиссара; потом закончил аспирантуру, защитился и стал преподавателем марксизма в Горьковском педагогическом институте; единственным человеком, кто осмелился написать письмо моему отцу, когда тот сидел

во Владимирском политическом изоляторе, был именно он, Алексей Ильич; люди моего поколения понимают, каким мужеством надо было обладать, чтобы пойти на это.

Вот он-то и рассказал мне, почему единственный раз в жизни напился допьяна, — ни до, ни после с ним такого не случалось.

— Я ведь мужик крестьянский, Значит, памятливый… Поэтому меня, знаешь, прямо-таки ошеломило постановление Сталина о закрытии обществ — старых большевиков и политических каторжан и ссыльнопоселенцев. Произошло это летом тридцать пятого, вскоре после того, как Каменев и Зиновьев были выведены на первый процесс в связи с убийством Сергея Мироновича… В день закрытия обществ я поднял в нашей истпартовской библиотеке подшивки номеров журнала «Каторга и ссылка». Просидел над ними всю ночь напролет — это, кстати, мне потом ставили в вину на следствии: мол, интерес к «троцкистской клеветнической литературе»… И чем больше я читал, тем зябче становилось: и про Дзержинского там были статьи, и про Фрунзе, «Каменева, Свердлова, про Ивана Никитича Смирнова, Антонова-Овсеенко, Дробниса, Радека, Енукидзе, Крыленко, Рыкова, Стуруа,

Троцкого, Муратова, Пятакова, Шляпникова, Варейкиса, Кецховели, Бадаева, Орджоникидзе, Шаумяна, Бакаева, Мрачковского, Тер-Петросяна — Камо, Литвинова, а про Сталина — одно-два упоминания, всего-то… Писать про него стали после тридцать первого года, когда Зиновьев, восстановленный в партии, короновал Иосифа Виссарионовича «железным фельдмаршалом революции»… А уж как только Общество старых большевиков закрыли и журнал политкаторжан прихлопнули, порекомендовав перевести его на «спецхранение», — вот тогда и пошли захлебные статьи про то, что лишь Ленин и Сталин делали революцию.

Понял я той ужасной ночью, зачем Сталину понадобилось уничтожить академика Покровского! Друг Ильича, партийный историк, — вся наша плеяда по его книгам училась! В тридцать первом Сталин писал, что царскую Россию лупили все, кому не лень, — за ее отсталость; теперь, когда он стал «вождем», надо было переориентировать народ: «не нас били, а мы бьем и будем бить!» Покровский-то ограничивал рассмотрение советской истории лишь двадцать третьим годом — последним годом работы Ильича; Сталин потребовал продлить *историю,* включить в

учебники Семнадцатый съезд — съезд «Победителей», когда он сделался «Великим Стратегом»… А знаешь, кому он поручил эту работу «в тридцать шестом? Не столько Жданову, сколько Бухарину, Радеку, Сванидзе, Файзулле Ходжаеву, Яковлеву, Лукину и Бубнову, зная уже, что дни этих людей сочтены, все они будут расстреляны! Можешь объяснить его логику?! Я — не могу! Почему именно смертникам он поручил сделать книгу о себе — «великом вожде революции»?! Полагал, что те до конца растопчут себя, принеся ему еще одну клятву в верности? Опозорятся, создав фальшивку? Или ему были нужны имена тех революционеров, которых знал мир, — как таким не поверить?! Но почему же тогда он не дождался выхода этой книги и расстрелял их?!

Алексей Ильич отхлебнул горячего, крепкого чая — волгарь, он был «водохлёбом» — и, сокрушенно покачав головой, продолжал:

— Напился я в ту ночь гнусно, до сих пор самого себя стыдно… Теперь-то я понимаю, отчего это случилось: когда я кончил читать старых большевиков, то по всем нормам чести я был обязан на первом же партийном собрании подняться и объявить во всеуслышанье то, что я для себя открыл: не был Сталин «великим революционе-

ром» в начале века, никто тогда его не знал: не был он — наравне с Лениным — «вождем Октября»! Что ж нам сейчас голову дурачат?! Неужели мы беспамятное стадо, а не союз мыслящих?! Но, возражал я себе, отчего же все те, кто работал с Лениным до революции: Каменев, Орджоникидзе, Рыков с Зиновьевым, Бухарин, — все они, начиная с тридцатого года, звали партию следовать именно за Сталиным?! Как же им-то не верить?! Ведь Каменев с Зиновьевым начали славить Сталина не в тюрьме, а когда еще жили на свободе! А Радек?! Они, именно они начали создавать его культ, перья-то у них были золотые, воистину! Ну, и придумал я тогда себе оправдание: мол, историки двадцатых годов были необъективны к Сталину, пользовались его скромностью, замалчивали его роль в революции…

Алексей Ильич набычился, голова у него была античной лепки, крепкая, крутолобая; замер, словно роденовский мыслитель, а потом закончил:

— Когда меня привели на пересуд — уже после расстрела Ежова, один из профессоров, шедший со мной по делу, сказал: «Я закончу свои показания здравицей в честь товарища Сталина — ведь именно он спас ленинцев от уничтожения бан-

дой Ягоды и Ежова». А новый сосед, которого привезли из Москвы — он раньше в Наркомпросе работал, у Крупской, — процедил сквозь зубы: «Дорогие мои сотоварищи, если даже нонешний суд нас оправдает, то все равно через пару лет шлепнут, ибо по стране все равно *поползет* правда о том, что мы, ленинцы, перенесли, а ее, эту правду, без нового тридцать седьмого не изничтожить...»

...Когда отец вышел из тюрьмы, я спросил его, получил ли он письмо Алексея Ильича. Старик ответил, что ни от кого, кроме меня, писем ему не передавали.

А ведь великоречинское письмо я самолично опустил в почтовый ящик...

Алексей Ильич Великоречин умер в горькие годы «застоя»: сердце не могло смириться с ощущением тинной, засасывающей болотности — заплыл далеко в Черное море и не вернулся...

20

Мой многолетний партнер по бильярду, писатель Николай Асанов, был человеком труднейшей судьбы; впервые его арестовали в начале тридцатых, потом выпустили, вскоре забрали снова; каждый день он писал письма наркому внутренних дел Ягоде и прокурору Вышинскому, ответов, понятно, не получал. Отчаявшись, обратился к Сталину. Через две недели, в день Первого мая, в три часа утра, его подняли с нар и повели по бесконечным коридорам внутренней тюрьмы, пока он не оказался в большом кабинете.

Напротив него сидела женщина в глубоко декольтированном платье, ангельской красоты и кротости.

— Я не поверил своим глазам, — рассказывал Асанов, выцеливая шар. — Это была Марьяна, видный работник эн-ка-ве-дэ, жена одного из руководителей нашего писательского Союза. Я потянулся к ней, ощутив слезы счастья на щеках; она, однако, чуть отодвинулась, но сделала это так, что я сразу не ощутил пропасть между нами… Тем не менее ласковым, доброжелательным голосом она спросила, как я себя чувствую,

нет ли каких жалоб, а затем предложила объяснить — более подробно, чем в письме товарищу Сталину, — почему я считаю несправедливым происшедшее со мной.

Сбиваясь, путаясь, испытывая желание приблизиться к ней, ощутить ее тепло — ведь мы же были на «ты» раньше, — я принялся излагать свое дело, а это ужасно, когда тебе приходится оправдываться в том, в чем ты никак не повинен. Наверное, я был смешон, жалок и неубедителен.

А за окном была рассветающая Москва, и гулькающие голуби ходили по отливам окон громадного кабинета Марьяны. Я ощущал запах ее духов и горечь длинных папирос, которые она курила, сосредоточенно слушая мое бормотание. Марьяна вдруг резко поднялась, и прелесть ее точеной фигуры снова ошеломила меня, сделала арестантом, мастурбирующим на *мечту*, подошла ко мне, протянула папиросу и тихо, с горечью сказала:

— Послушай, Асанов, хватит нитки на хер мотать! Садись-ка лучше за стол и пиши правдивые показания, это, убеждена, спасет тебе жизнь…

Последние ее слова я слышал уже в состоянии полуобморочном, потому что начал сползать со стула на ковер.

Асанов красиво положил шар, посмотрел на меня своими постоянно смеющимися глазами, в глубине которых прочитывалась неизбывная горечь, и, намелив свой фирменный кий, купленный за четвертак у нашего маркера Николая Березина, поинтересовался:

— Не правда ли, прелюбопытнейший сюжетец, а?

Асанова вскоре выпустили. А Марьяну расстреляли — пришел Ежов, начал «подчищать» последние кадры Ягоды; расстрельщик Васюков (официально назывался «исполнитель») с работой не справлялся, пришлось поставить дело на конвейер, убивали из пулеметов; чтобы не было слышно, во дворе заводили грузовики; шоферам велели газовать на всю «педаль» — полная гарантия тишины…

21. Лето тридцать седьмого

Нас тогда на Спасо-Наливковском осталось трое: Витёк, Талька и я. По утрам мы собирались возле шестого подъезда, читали по складам «Пионерку», играли в «классики» или «штандер», а потом ходили по этажам — смотреть опечатанные квартиры. Каждую ночь в нашем доме опечатывали несколько квартир. Иногда их опечатывали сургучом, и тогда мы уходили ни с чем, но если сургуча не хватало, опечатывали воском или пластилином; мы осторожно соскабливали его, лепили солдатиков, опускали их в лужи, и они становились совсем как оловянные.

— Говорят, вчера маршала Буденного арестовали, — сказал я, — за то, что у него на даче жила японская балерина.

— Откуда знаешь? — сердито спросил Талька; он не любил, когда кто-нибудь из нас первым сообщал наиболее важные новости.

Я ответил уклончиво, потому что мама настрого запретила рассказывать про то, что я слышал дома. «Ты уже взрослый мальчик, — сказала она, — ты должен понять, что сейчас надо молчать». — «Почему?» — спросил я. И она стала

рассказывать про врагов народа, которые теперь, благодаря нашим успехам, со всех сторон окружают родину, — будто я сам не читал об этом в «Пионерке». Родители вообще стали какие-то странные с тех пор, как отец начал меня брать с собою днем. Раньше-то он уезжал на машине к себе в редакцию, где у него были две красивейшие секретарши, которые давали мне печатать на машинке.

Одна, тетя Роза, была дьявольски хороша, и я по ночам мечтал, чтобы она стала моей матерью. Я всегда мечтал о красивой матери, но свою я тоже любил. Я редко видел отца, а теперь мы ходили с ним по улицам, и он расклеивал театральные афиши. А раз я крепко струхнул. В последнее время я часто слышал, как он по ночам тихо говорит матери:

— Краснощекова забрали, а Курочкина и Маршака поставили к стенке.

Я сначала не понимал, что значит «ставить к стенке». Мы, когда играли в «штандер», тоже ставили к стенке, чтобы было удобнее целиться теннисным мячом в того, кто проиграл. А когда отец сказал про дядю Сашу, что его тоже «поставили к стенке», мать охнула и тихо спросила:

— Неужели и Сашу расстреляли?

Стало быть, «расстреливать» и «ставить к стенке» — одно и то же, понял я. Так вот, в воскресенье мы отправились с отцом в Парк культуры. А в вагоне метро ехал один пьяный в лыжных брюках с коричневыми штрипочками, на которые он то и дело наступал каблуками. Когда мы вышли из вагона на станции «Коминтерн», пьяный ударил отца по голове. Отец закричал:

— Перестаньте хулиганить! Я вызову милицию!

Образовалась толпа. Подошел милиционер и сказал отцу:

— Гражданин, не мешайте проходу, станьте к стенке.

Я заревел со страху, решив, что отца сейчас будут расстреливать. Я стал хватать его за руку и тащить вверх, на улицу, где было солнечно, и гудели машины, и не было этого страшного кафельного полумрака. Пальцы у отца сделались холодными, а еще я увидел, как у него затряслось колено, когда милиционер стал требовать паспорт. На улице отец взял меня на руки и прижал к себе, будто я маленький. Я обнял его за шею, а она у него тряслась, и мне стало за него стыдно: я испугался, как бы все не заметили, что он дрожит.

…Витёк начертил на асфальте новые «класси-

ки» с большим «огнем» и начал скакать первым. Он великолепно скакал — и «квадратиком», и «змейкой», и «через раз», и «вслепую». Он лучше всех играл в «штандер» и никогда не мазал мячом, если целился в проигравшего. Он был единственный из нас, кто не обижал девчонок и не скрывал, что влюблен в Алку Блат. Вообще, Алка была не по годам серьезным человеком и знала всю правду о семейной жизни. Когда я сказал ей, что у вождей нет пиписек, она хохотала до слез.

— Вот что, — шепнула она, подойдя к нам. — Но дайте честное октябрятское, что никому не скажете.

Мы дали честное октябрятское.

— Мне стало известно, — сказала она, — как рождаются дети.

— Как? — спросил Витёк.

— Очень просто, — ответила Алка Блат. — Для этого надо крепко обнять друг друга и поцеловаться.

Мы с Талькой начали презрительно смеяться, а Витёк подошел к Алке и сказал:

— Я хочу, чтобы ты родила мне ребенка!

— Ну, пожалуйста, — ответила Алка Блат.

Витёк обнял ее и поцеловал. Мы с Талькой стояли потрясенные. Потом Талька покашлял в

кулак, полистал «Пионерку» и сказал:

— Я тоже хочу ребенка.

Алка вопросительно посмотрела на Витька. Тот сосредоточенно скакал в «классиках» и ни на кого не глядел.

— Он мне друг, — убежденно сказал Талька, — он разрешит.

— Давайте, — вздохнул Витёк, — только побыстрей.

Но едва Талька обнял Алку и начал примериваться, как бы ее поцеловать, Витёк пустил камень, который гонял по «классикам», прямо в Талькину ногу. Талька завыл, потому что камень попал в косточку, а она электрическая — в глазах темнеет от боли. Талька скакал на одной ноге и плакал. Алка смеялась и, уперев руки в бедра, говорила, как ее бабушка:

— Какой же ты мужчина, если плачешь?! Нет, только мы, женщины, умеем переносить боль!

...Вечером, после того как мама напоила меня чаем с малиновым вареньем, я сразу же уснул. А проснулся от того, что в нашей квартире лаяла собака. Сначала я удивился, потому что у нас не было собаки, сколько я ни просил родителей. Я мечтал воспитать ее и отправить на границу, товарищу Карацупе. Но потом, в перерывах меж-

ду лаем, я услышал быстрый мамин голос. Как только она смолкала, сразу же начинал лаять пес. Я решил, что родители мне сделали подарок и ночью привели в квартиру немецкую овчарку. Я поднялся с кровати, надел красивые меховые тапочки, которые привез в подарок из Парижа Николай Иванович Бухарин, и тихо пошел в ванную, где лаяла собака, а мама тихонько увещевала:

— Ну, не надо, не надо, успокойся… Не надо, прошу тебя, не надо…

Я чуть приоткрыл дверь и увидел в щелку, что папа сидел на табуретке и лаял, обхватив голову костистыми длинными пальцами, а мама одной рукой гладила его лицо, а другой прижимала к груди отцов маузер, который всегда был заперт в столе.

Я вернулся в комнату, оставив дверь приоткрытой, и сжался под одеялом в комок, чтобы не дрожать. Потом я увидел, как мама подошла к входной двери и долго слушала, прижавшись ухом к скважине. Она осторожно отперла дверь, вышла на площадку и постучалась в квартиру напротив. Там жил отец Витька, папин друг дядя Вася. Я услышал, как отперли дверь, и мне сразу перестало быть так страшно. Я слышал, как ма-

ма что-то шептала дяде Васе, но он, перебив ее, громко сказал:

— Оставь меня в покое с провокационными просьбами! Никакого пистолета я у себя не оставлю! А если твой муж, запутавшись в связях с врагами народа, хочет уйти из жизни — не мешай ему!

И захлопнул дверь.

Мама вернулась в комнату и стала плакать. Тогда из ванной вышел отец и, кивнув на меня, сказал:

— Если бы не он, я бы знал, что сейчас надо делать.

— Тише, — прошептала мама, — прошу тебя, тише…

— Мальчика жаль, — повторил отец. — А то бы я сделал то, что обязан сделать большевик.

— Тише, — снова попросила мать, — неужели ты не можешь говорить шепотом?

— Я бы сделал то, что надо делать! — вдруг визгливо закричал отец. — Я бы сделал!

— Что ты говоришь?! — охнула мама. — Ты хочешь погубить ребенка?

— Я не сплю, — сказал я сонным голосом. — Я только что проснулся, мамочка.

Мать подбежала ко мне; щеки у нее были мок-

рые, а губы сухие и воспаленные.

— А что такое «уйти из жизни»? — осторожно спросил я.

Она вся затряслась, а потом стала меня баюкать. Отец поднялся и зло усмехнулся:

— Бардак, а в бардаке еще бардак.

В дверь постучались. Мать замерла, и я почувствовал, как у нее стало холодеть лицо. А отец засмеялся — весело, так, как он смеялся раньше, когда в нашем доме еще не опечатывали квартиры.

— Кто? — спросил он громко.

— Я, — так же громко ответил из-за двери дядя Федя, отец Тальки, чекист, комиссар госбезопасности.

Отец отпер дверь. Дядя Федя вошел в квартиру. Он был в полной форме, с золотым шевроном на рукаве гимнастерки.

— Сначала предъяви ордер, — сказал отец.

— Дурак, — ответил дядя Федя. — Как только не стыдно, Семен… Давай я заберу оружие, Галя.

Мать дала ему маузер, и он сунул его в карман.

— Тебе лучше бы уехать сейчас, — сказал он отцу. — Куда-нибудь в деревню, в шалашик, — сено косить.

Он хмыкнул чему-то, потрепал отца по плечу

и ушел.

…Утром Витёк сказал мне:

— А папа мне с тобой больше не велит водиться.

— Почему? — удивился я.

— Потому, что ты сын пособника врага народа.

— Дурак, — сказал я. — Мой отец работает заместителем Чарли Чаплина.

(Это была правда; отец сам сказал мне об этом, когда мы с ним клеили афиши, а я досаждал ему вопросом: «Кто ты теперь, пап?» В нашем дворе все мы, дошкольники и октябрята, придавали большое значение постам, которые занимали наши родители. Это было важно потому, что определяло, какую должность ты получишь в военной игре. Вот отец и ответил про Чарли Чаплина.)

Витёк презрительно засмеялся:

— Никогда не говори неправды. Чаплина давно поставили к стенке.

— Он артист, — возразил я.

— Ну и что? Артистов тоже ставят к стенке. Всех можно поставить к стенке.

Пришла Алка Блат с нареванным носом:

— Талька съябедил, что я вам буду рожать детей. Знаешь, что со мной бабушка за это сделала?

— Это правда? — тихо спросил Витёк.

— Нет, — ответил Талька. — Я никому ничего не ябедил. Я просто сказал, что у нас скоро будет ребенок.

— Кому ты сказал? — спросил Витёк.

— Бабушке.

Витёк коротко стукнул Тальку в грудь, а потом ударил ногой по заднице.

— Иди отсюда, — сказал он. — Я больше не стану играть с тобой в «классики».

И мы стали играть в «классики» втроем, а Талька сидел возле парадного на скамеечке, сопел носом, но молчал, потому что боялся Витька.

…К нашему шестому подъезду подкатила зеленая «эмочка», и из нее вышли три человека в кепках с длинными козырьками. Шофер не стал выключать мотор, из выхлопной трубы попыхивал голубенький дымок, солнце сверкало в никелированных бамперах и ослепительных колпаках, на которых красным было выведено: «Завод имени Молотова».

Трое в кепках быстро вошли в подъезд. Мы удивились: куда это они так рано? Талькин отец, чекист дядя Федя, уезжает в двенадцать, и за ним приходит машина с номерным знаком МА 12–41. На шестом этаже никто не живет, потому что

там всех забрали, на пятом этаже остался один трубач из военного оркестра, но про него говорят, что он «родственник», и потом у него туберкулез, а на трубе он играет только по ночам. На четвертом этаже живем мы с Витьком, на третьем этаже всех забрали, на втором квартира Тальки, а на первый вселился домуправ — после того, как увезли Винтера с женой, которые оказались японскими шпионами. Они вечно кидали нам леденцы из окна, когда мы играли в «классики» или в войну. После того как к ним приехала Надежда Константиновна Крупская, мы — в знак большого уважения — стали говорить Винтерам «гутен абенд». Но мы недолго говорили им «гутен абенд», потому что вскоре их арестовали. Наутро после того, как их квартиру опечатали, Талька сказал:

— А я колики в животе почувствовал.

— Ну и что? — спросил Витёк.

— Ничего, — Талька вздохнул. — Если не понимаешь, так подумай.

Мы начали думать, но так ни до чего и не додумались.

— Леденцы-то мы чьи ели? — помог, наконец, Талька.

— Винтеровские, — ответили мы.

— Вражеские, — поправил Талька. — Вражеские, троцкистско-бухаринские леденцы.

— Ерунда, — ответил Витёк, подумав, — на них было написано по-советски.

— Маскируются, — грустно усмехнулся Талька. — Верьте не верьте, а леденцы были явно отравлены проклятыми Винтерами.

Трое в кепках вышли из подъезда вместе с витькиными отцом, дядей Васей, и мамой, Марией Афанасьевной.

— Витенька! — закричал дядя Вася. — Сынок!

— Сыночек! — крикнула его мама. — Сыночка, дай я тебя поцелую! Витенька, дай я тебя поцелую!

Шофер дал газу, и машина умчалась. Витёк как стоял на месте, так и замер. Талька многозначительно подмигнул мне. На первом этаже открылось окно, и жена управдома внимательно на нас посмотрела. Потом открылась наша форточка, и мама крикнула мне:

— Быстренько поднимись домой!

— Сейчас, — ответил я.

Открылось окно и в Талькиной квартире.

— Таля, домой! — крикнула его бабушка. — Быстро!

— Алла! — пробасила бабушка Блат из пятого

подъезда. — Домой!

И мы пошли по квартирам. А Витька так и остался стоять на месте.

Их квартира была опечатана воском. Я сковырнул кусочек, чтобы потом вылепить солдатика. Воск был еще очень теплым и податливым.

Назавтра в школу Витька не пришел. Урок начался с изучения биографии героя Октября и творца всех наших побед: «Сталин — это Ленин сегодня».

22. Необходимый комментарий

…Брежнев, пришедший в школу в 1915 году, должен был драть шапку перед портретом государя — все драли! Он же кидал в костер портрет государя — все кидали. Он учился в классах; на стенах висели портреты вождей Октября: Ленина и Троцкого; потом прибавили Зиновьева, Каменева и Сталина, затем Бухарина и Рыкова. После убрали Троцкого и добавили Калинина. Затем вынесли Зиновьева с Каменевым, но тиражировали Ворошилова. В комсомол он вступил, когда в партии был признанный «триумвират настоящих ленинцев» — Бухарин, Сталин, Рыков. Занимаясь в институте, он — как и все — покорно принимал новость: Бухарин и Рыков — то есть Вождь Третьего Интернационала и глава Советского правительства — тоже уклонисты. С тех пор для него был лишь один вождь: Сталин, который «Ленин сегодня».

Своего пика такого рода *приписки* достигли в 1937-м. Людей решили до конца отучить думать — под страхом расстрела семьи, близких, знакомых даже.

Людей заставили поверить (и они с готовно-

стью пошли на это), что Сталин был вождем Октября и победителем в Гражданской и Великой Отечественной.

Людей приучили слепо верить *последнему* слову, слову того, кто овладел вершиной пирамиды.

Когда Брежнев дал себе орден Победы и пять геройских звезд, он шел по проторенному пути, провозгласив, что истинным автором Победы был он, полковник Брежнев.

Мы не верили, слишком еще кровоточило, но ведь аплодировали на собраниях, еще как аплодировали. И мы, писатели, наравне со всеми, аплодировали вручению ему Ленинской премии за литературу, хотя прекрасно знали, кто именно написал ему «Малую Землю» и «Целину».

В 1937 году люди не могли не аплодировать расстрелам ленинской гвардии — их бы замучили в одночасье, все население СССР было тогда *заложником* Сталина.

В семидесятых *могли* не аплодировать — тем не менее грели ладони.

Инерция страха? Или покорность исторически привычному абсолютизму?

Попробуем проанализировать, как же и когда создавались социалистические *приписки.*

Для этого возьмем «Биографию» Сталина, с

одной стороны, и «Воспоминания» Крупской, письма Ленина, протоколы ЦК РСДРП, мемуары ленинцев, опубликованные в двадцатых годах, — с другой.

(С моей точки зрения, «Биография» Сталина, написанная им самим, но оформленная коллективом академических марионеток, явилась началом санкционированных *приписок.)*

Итак, Сталин: «В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подпольными группами русских марксистов…»

С кем именно? Кто руководил этими группами?

В архивах охранки имя Сталина впервые появляется лишь в 1902 году.

Примечательно: Сталин произвольно определяет начало своей революционной работы практически тем же годом, когда в Питере развернул свою деятельность Владимир Ильич. «Соратник и друг» — воистину! Как же близка Сталину византийская символика!

Обратимся к Крупской: рассказывая о ссылке в Шушенском, она пишет про тех товарищей Ильича, с кем он чаще всего переписывается, — Мартов, Потресов, Кржижановские, а к Виктору Курнатовскому «Ильичи» ездили в гости в октяб-

ре 1898 года.

«Биография» Сталина: «По приезде в Тифлис осенью 1900 года он (Курнатовский. — *Ю. С.*) завязывает тесные отношения со Сталиным… становится ближайшим другом и *соратником*[6] Сталина».

Заметим, что не Сталин становится соратником старого революционера, а, наоборот, Курнатовский делается другом юного, никому не известного «Сосо».

Да и вообще, чем подтверждается это утверждение? Воспоминаниями старых большевиков? Письмами с Кавказа, полученными Лениным от Курнатовского? Архивами? Ничем это не подтверждается, кроме как «выдающимся марксистским трудом» Л.П. Берия «К истории большевистских организаций Закавказья».

Крупская: «На “Искру” работала типография в Баку… Там работали братья Енукидзе, руководил делом Красин (Лошадь)».

…К десятилетию Октября ГИЗ выпустил воспоминания Красина, в которых он пишет о своих товарищах по нелегальной борьбе на Кавказе, рассказывает о Ладо Кецховели, Аллилуеве, Аве-

---

[6] Сноски: 6
В цитатах курсив мой. — *Ю. С.*

ле Енукидзе, о многих других, однако ни разу не упоминается имя «истинного вождя» кавказских большевиков. Почему? Возможно, забыл? Тогда отчего же его не поправили старые большевики, работавшие тогда на Кавказе? Ведь это был 1927-й, а не тридцать седьмой; ленинцев еще не начали пытать, вынуждая клеветать на себя!

В начале двадцатых годов Авель Енукидзе, старейший ленинец, бессменный секретарь ЦИКа, опубликовал книгу мемуаров. Там не было ни слова о «выдающейся» роли Сталина. В 1935 году Енукидзе принудили переписать мемуары, заставили *сочинить* легенды о роли «вождя» — еще в начале века. Сразу же после этого Авель Енукидзе был арестован и после чудовищных пыток расстрелян как «шпион и враг народа».

Сталин: «Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки… Я находился тогда в Сибири, в ссылке… Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период».

В архивах партии нет ни копии письма Ленина, ни ответа Сталина.

Крупская: «Весной Ильич познакомился со старым революционером-народоправцем Натансоном и его женой… Он (Натансон. — *Ю. С.*) знал массу людей, знал прекрасно цену каждому человеку, понимал, кто на что способен, к какому делу кого можно приставить. Что особенно поразило Владимира Ильича — он знал прекрасно состав не только своих, но и наших с.-д. организации лучше, чем многие наши тогдашние чекисты. Натансон жил в Баку, знал Красина, Постоловского и др. Кто-то рассказывал, как этот старый революционер рыдал, когда в Баку впервые в жизни увидал грандиозную демонстрацию».

Л.П. Берия: «Демонстрацию организовал Сталин».

Ой ли?

Послушаем Виктора Николаевича Таратуту, кандидата в члены ЦК РСДРП, члена Большевистского штаба, героя декабрьского восстания в Москве. Именно он был участником первой большевистской конференции на Кавказе, состоявшейся накануне третьего съезда, за который так ратовал Ленин.

«В начале 1905 года я, — свидетельствует Таратута, — впервые встретил товарища Каменева Льва Борисовича — в качестве руководителя

местных (кавказских. — *Ю. С.*) большевистских организаций. На этой областной конференции Каменева избрали в качестве разъездного по всей стране агитатора и пропагандиста за созыв нового съезда партии…»

Крупская: «С Кавказа (на третий съезд РСДРП. — *Ю. С.*) приехали четверо: Миха Цхакая, Алеша Джапаридзе, Леман и Каменев. Мандата было три. Владимир Ильич допрашивал: кому же принадлежат мандаты, — мандатов три, а человек — четыре? Кто получил большинство голосов? Миха возмущенно отвечал: «Да разве у нас на Кавказе голосуют?! Мы дела все решаем по-товарищески. Нас послали четверых, а сколько мандатов — неважно». Миха оказался старейшим членом съезда — ему было в то время 50 лет. Ему и поручили открыть съезд».

Почему же легендарный Миха Цхакая тогда вообще ни разу не упомянул имя Сталина? Ни на съезде, ни в перерывах? Забыл?

Только спустя много лет после Революции его понудили *вспомнить*.

…Когда Ильич и Надежда Константиновна вернулись в Москву в 1905 году, жить им — по условиям конспирации — приходилось поврозь.

Надежда Константиновна вспоминает: «В то

время я была секретарем ЦК и сразу впряглась в эту работу целиком. Другим секретарем был Михаил Сергеевич — М.Я. Вайнштейн. Помощницей моей была Вера Рудольфовна Менжинская. Таков был секретариат. Михаил Сергеевич ведал больше военной организацией, всегда был занят выполнением поручений Никитича (Л.Б. Красина). Я ведала явками, сношениями с комитетами, людьми…

В середине декабря состоялась Таммерфорсская конференция. Как жаль, что не сохранились протоколы этой конференции! С каким подъемом она прошла!.. Там были Лозовский, Баранский, Ярославский, многие другие. Мне запомнились эти товарищи потому, что уж больно интересны были их “доклады с мест”».

«Биография»: «На этой конференции товарищ Сталин был избран в политическую комиссию по редактированию резолюций конференции, где работал вместе с Лениным, как один из выдающихся партийных руководителей».

Может быть, Крупская, ведавшая «явками и людьми», забыла «выдающегося партийного руководителя»?

«Биография»: «Сталин — активный участник IV съезда РСДРП (Стокгольм, апрель 1906 г.), на

котором он вместе с Лениным отстаивал против меньшевиков большевистскую линию в революции».

Позволю себе обратиться к роману-хронике «Горение», начатому мною в 1972 году. Я тщательно проанализировал стенограммы Четвертого съезда и привел следующую выдержку из выступления Сталина («Ивановича»): «…Исходным пунктом нашей программы должно служить следующее положение: так как мы заключаем *временный* революционный союз с борющимся крестьянством, мы не можем, стало быть, не считаться с их требованиями, если они в общем и целом не противоречат тенденции экономического развития и ходу революции. Крестьяне требуют раздела помещичьих земель; раздел не противоречит вышесказанным явлениям, значит, мы должны поддерживать полную конфискацию и раздел. С этой точки зрения и национализация Ленина и муниципализация Плеханова одинаково неприемлемы…»

Это так «отстаивают» линию Ленина?!

Горько, что в воспоминаниях делегатов ничего не говорилось о трагедии, постигшей партию: за несколько недель перед открытием съезда в Тифлисе была провалена легендарная Авлабар-

ская типография РСДРП, поставленная Алешей Джапаридзе. При налете полиции было арестовано более двадцати ведущих большевиков Закавказья. Обидно, что эта трагедия до сих пор не тронута нашими историками. Кто именно был арестован? Когда кого выпустили? Примечательно также и то, что за все время Советской власти не было опубликовано ни одного допроса Иосифа Виссарионовича во время арестов. Не пора ли опубликовать?

Любопытен и такой факт: Сталин, трактующий себя в своей «Биографии» «стратегом и теоретиком», за период с 1898 года вплоть по 1907 год собрал лишь один небольшой томик; в основном туда включены листовки (авторство надо еще устанавливать), статьи и брошюра об анархизме.

За это же время его «соратник» — Владимир Ильич Ленин — написал шестнадцать томов, при этом выпускал «Искру» и провел три партийных съезда и конференцию…

…С 1910 по 1912 год «Ильичи» в Париже постоянно встречались с Курнатовским.

(Человек этот был воистину легендарным. Организатор «Читинской республики» в 1905 году, когда рабочие захватили там власть; республику потопили в крови каратели царского

генерала Ренненкампфа, приговорили Курнатовского к повешению, возили его в своем «поезде смерти», чтобы он воочию мог видеть расстрелы революционеров, — такая пытка пострашнее физической. Затем отправили на *вечное поселение* на Нерчинские рудники: оттуда он бежал; через Японию пробрался в Австралию; работал лесорубом, чтобы скопить на билет в Европу; простудился, начал терять слух, в Париж приехал инвалидом. Ленин и Крупская часто бывали у него в госпитале, помогали чем могли, он рвался с ними в Краков, пришел провожать «Ильичей», восторгался первыми номерами «Правды», только-только вышедшими в Петербурге, но о своем «друге», чьим «соратником» был на Кавказе в начале века, не сказал ни слова, что по меньшей мере странно, ибо Сталин в своей «Биографии» пишет: «Она («Правда». — *Ю. С.*) была основана согласно указанию Ленина, по *инициативе* Сталина». Отчего же Курнатовский в разговорах с «Ильичами» даже не упомянул имя «инициатора»?)

Крупская: «В Лонжюмо поселяемся мы и Зиновьевы… В доме, который сняла Инесса (Арманд. — *Ю. С.*), поселились тогда наши вольнослушатели: Серго (Орджоникидзе), Семен (Шварц), Захар

(Бреслав). Серго незадолго перед тем приехал в Париж. До этого жил он одно время в Персии, и я *помню* обстоятельную переписку, которая с ним велась… С группой кавказских большевиков у нас всегда была особенно дружная переписка».

Нет у Крупской фамилии Сталина в числе ленинских корреспондентов на Кавказе!

(Трагизм ситуации в Лонжюмо также не проанализирован еще толком и, увы, не стал предметом большой прозы. Когда Ленин, Каменев, Семашко, Рязанов, Зиновьев, Стеклов, Раппопорт и Вольский читали лекции ученикам школы в Лонжюмо, нельзя было представить себе, что слушали их два провокатора — Малиновский и Искрянистов, а все остальные ученики в 1937 году были расстреляны как враги народа, только Серго убили, не пороча имени; все учителя — кроме умерших Ленина, Инессы Арманд и по странной случайности уцелевшего Семашко — оказались «шпионами и двурушниками».)

«Биография»: «Конференция (Пражская. — *Ю. С.)* избрала большевистский Центральный Комитет, создала практический центр для руководства революционной работой в России (Русское бюро ЦК), приняла решение об издании «Правды». Конференция заочно избирает Сталина… членом

ЦК партии. Сталин по предложению Ленина возглавляет Русское бюро ЦК».

Крупская: «На конференции был выбран ЦК, куда вошли Ленин, Зиновьев, Орджоникидзе (Серго), Шварцман (Давид), Голощекин (Филипп), Спандарян. Были намечены кандидатуры на случай ареста. *Вскоре после* конференции (почему не на конференции?! — *Ю. С.*) в ЦК были *кооптированы* Сталин и Белостоцкий, питерский рабочий…»

Между *выборами* и *кооптацией* существует значительная разница.

Что же касается «Русского бюро ЦК» и его «руководителя», то здесь существуют две версии: одну предложил Берия, вторую — Собрание сочинений Ленина.

Берия: «…Бюро ЦК во главе с товарищем Сталиным для руководства партийной работой в России… В Русское бюро вошли кроме Сталина Свердлов, Спандарян, Орджоникидзе, Калинин».

Справочный аппарат Собрания сочинений Ленина, первое издание, прижизненное: «Бюро состояло из следующих товарищей: Орджоникидзе, Спандарян, Сталин, Голощекин».

Руководитель Бюро не назван, не было такого *чина* в партии!

Ильич в те месяцы пишет Горькому: «Нам удалось-таки поставить ежедневную «Правду» (т. 48, стр. 81).

Зная любовь Ленина к своим товарищам, можно быть уверенным, что он бы не преминул подчеркнуть *инициативу* Сталина, да и любого большевика-практика; Ленин, однако, этого не делает.

«Огрех» Ленина восполняют Берия и «Биография»: «…1 сентября 1912 года Сталин вновь бежит из ссылки в Питер. Здесь он редактирует большевистскую газету “Правда”…»

Крупская: «…Владимира Ильича… волновало, что “Правда” вначале упорно вычеркивала из его статей полемику с ликвидаторами. Он писал в “Правду” сердитые письма. Лишь постепенно ввязалась “Правда” в эту борьбу».

Сталин санкционировал вхождение в «Правду» меньшевика-впередовца Алексинского и давнего идеологического противника Ленина — философа Богданова. (Крупская по этому поводу глухо замечает: «Об этом Ильич узнал лишь из газет».)

Не без обиды Ильич пишет Горькому: «Не знаю, способны ли Богданов… Луначарский, Алексинский научиться из тяжкого опыта 1908–1911? Поняли ли они, что марксизм — штука посерьез-

нее, поглубже, чем им казалось, что нельзя над ней глумиться, как делывал Алексинский… Ежели поняли — тысячу им приветов, и все личное (неизбежно внесенное острой борьбой) пойдет в минуту насмарку» (т. 48, стр. 140).

Крупская: «Как Ильич ожидал, так и случилось. С Богдановым вышел скоро острый конфликт: под видом популярного разъяснения слова “идеология” он пытался протащить в “Правду” свою философию».

Трагическим пророчеством звучат ее слова, написанные в тридцать третьем году, накануне «Большого террора»: «Особенностью Ильича было то, что он умел отделять принципиальные споры от склоки, от личных обид и интересы дела умел ставить выше всего… Когда Ильича противник ругал, Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивая свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти ко вчерашнему противнику как к *товарищу*… В этом была громадная сила Ильича».

«Биография»: «Сталин… руководит деятельностью большевиков в избирательной кампании в IV Государственную думу».

Крупская: «В Питер для подготовки избира-

тельной кампании… поехали из Парижа близкие товарищи — Сафаров (расстрелян в 1937-м. — *Ю. С.*) и Инесса… По дороге Инесса должна была заехать к Николаю Васильевичу Крыленко (расстрелян в 1938-м)… Восстановлен был Петербургский комитет (ПК), а потом образовано Северное областное бюро, куда кроме Инессы и Сафарова вошли Шотман (расстрелян в 1938-м) и его товарищи Рахья (расстрелян в 1936-м) и Правдив (расстрелян в 1938-м)….Работа Северного областного бюро подготовила почву для выборов в депутаты от Питера Бадаева — большевика, рабочего-железнодорожника».

В двадцатых годах Бадаев написал воспоминания. О Сталине как «руководителе избирательной кампании» там не говорилось. В тридцатых его сломали — дописал несколько фраз о «выдающейся» роли Иосифа Виссарионовича.

(Что примечательно: выборы были назначены на 16 сентября 1912 года, а Сталин вернулся из ссылки, по свидетельству Надежды Константиновны, лишь 12 сентября; через два дня арестовали Инессу Арманд и Сафарова… Можно ли «проруководить» избирательной кампанией одному, за четыре дня?!)

Вернемся, однако, к «гениальному руковод-

ству» Сталиным «Правдой».

Крупская: «Кроме Малиновского правительство постаралось приставить провокатора непосредственно к “Правде”. Это был Черномазов… Карта распространения “Правды” (подготовленная Лениным. — *Ю. С.*) получилась интересная. Только она не была напечатана, должно быть, Черномазов выбросил ее в корзину… *Но бывали и хуже случаи — иногда,* хотя и редко это было, *пропадали без вести* и статьи Ильича. Иногда статьи его *задерживались, не помещались сразу.* Ильич тогда *нервничал,* писал в “Правду” *сердитые* письма, но *помогало мало».*

Ясно, что в тридцатых Крупская уже не могла открыто обвинять Сталина, но ведь в литературе помимо текста существует подтекст; есть строки, но существует и многозначительное «междустрочье». Поэтому накануне «Большого террора» Надежда Константиновна и Мария Ильинична Ульянова прямо-таки заклинали в своих работах (их публиковали редко и неохотно) и выступлениях перед молодежью:

— Читайте Ильича в *подлиннике,* изучайте его работы, письма, даже конспекты…

Они понимали, что ищущие — обрящут.

Увы, всех, кто начинал по-настоящему читать

Ленина, а не сталинские «Вопросы ленинизма», уничтожали немедленно; работы Ильича подвергали строжайшей цензуре, из Собрания сочинений выбросили все неугодные фамилии, изъяли множество документов и писем. Готовя термидор, Сталин в двадцатых годах возглашал: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя!» Узурпировав власть, уничтожив друзей Ленина, *знавших правду*, сломав несколько ветеранов, согласившихся *забыть*, Сталин выбросил из Собрания сочинений Ильича всякое упоминание (кроме резких, запальчивых, это ж было в характере Ленина) о Бухарине, Троцком, Зиновьеве, Каменеве, Рыкове, Раковском, Радеке, Преображенском.

Крупская: «Еще осенью 1912 года мы познакомились с Бухариным… Смотрим раз в окно и видим — идет какой-то молодяга с огромным холщовым мешком на спине. Это и оказался Орлов, он же Бухарин… Они довольно обстоятельно потолковали с Ильичем. Бухарин жил тогда в Вене. С тех пор установилась у нас с Веной тесная связь… Когда мы стали спрашивать Николая Ивановича о его рисовании, он вытащил из своего холщового мешка ряд великолепных изданий картин немецких художников, которые мы ста-

ли усердно рассматривать…» И — дальше: «По дороге заезжали в Вену, побывали у Бухариных. Жена Николая Ивановича — Надежда Михайловна — лежала в лежку. Николай Иванович занимался хозяйством, сыпал в суп вместо соли сахар и оживленно толковал о вопросах, интересовавших Ильича…»

А каким трагизмом, горьким предчувствием пронизаны вот эти строки Надежды Константиновны: «Зимой… решено было отправить в Россию Каменева для руководства “Правдой” и работы с думской фракцией… Сынишка Каменева и зиновьевский Степа (оба расстреляны Сталиным в 1937-м. — *Ю.С.)* очень серьезно спорили между собой, что такое Петербург — город или Россия… Ходили мы все провожать их на вокзал. Был зимний холодный вечер… Настроение было у всех сосредоточенное. Думалось, долго ли удастся Каменеву продержаться? Когда теперь придется встретиться?»

…Незадолго перед этим Ленин вызвал из России Сталина.

Разногласия с «Правдой» принимали размеры угрожающие. Провели совещание членов ЦК. Но что примечательно? После прибытия Сталина в Поронино Ильич срочно отправил в «Правду»

своего эмиссара — Свердлова, который и наладил всю работу газеты, поставив ее на рельсы решительной борьбы с соглашателями, впередовцами, троцкистами.

Крупская зашифровывает в «Воспоминаниях» нужные слова для того, чтобы спасти для потомков главную информацию. Сначала она, что называется, «золотит пилюлю», приводя отрывок из письма Ленина Горькому: «У нас один чудесный грузин (несколько, правда, странно, что Ленин не назвал своего “ближайшего друга и соратника” по фамилии. — *Ю. С.*) засел и пишет для “Просвещения” большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы…»

И — в стык, как резкий монтаж: «Ильич нервничал тогда по поводу “Правды”, *нервничал* и Сталин. *Столковывались,* как наладить дело».

Столковались ли?!

…Сталин два месяца прожил в Вене, занимаясь национальным вопросом, близко познакомился там с Бухариным, Троцким, Трояновскими…

Понятно, что человек, не знавший ни одного иностранного языка, не мог заниматься национальным вопросом без помощи Бухарина и Трояновских: речь-то шла о критике австрийской «национальной платформы», которая, понятно,

была написана по-немецки. Если внимательно исследовать брошюру Сталина, то нельзя не отметить ее отличие от всего остального, когда-либо им написанного. В чем же дело?

Крупская: «…Вспоминаю отношение Ильича к малоопытным авторам. Смотрел на суть, на основное, обдумывал, как помочь, исправить. Но делал он это как-то очень бережно, так, что и не заметит другой автор, что его поправляют. А помогать в работе Ильич здорово умел. Хочет, например, поручить кому-нибудь написать статью, но не уверен, так ли тот напишет, *так сначала заведет с ним подробный разговор на эту тему, разовьет свои мысли,* заинтересует человека, *прозондирует* его как следует, а потом предложит "Не напишете ли на эту тему статью?" И автор и не заметит даже, как помогла ему предварительная беседа с Ильичем, не заметит, что вставляет в статью Ильичевы *словечки* и *обороты даже».*

Будучи опытнейшим конспиратором, жена и ближайший друг Ленина начала свою тайную войну против диктатора. Отдавая себе отчет в том, каков ее долг перед подрастающим поколением, она умело и тщательно *зашифровывала* свою рукопись, помогая таким образом оставшимся еще в аппарате ленинцам выпустить ее

книгу в свет.

Сомкните абзацы, посвященные молодым авторам, манере Ленина наталкивать их на тему, помогать им писать. Возьмите работу Сталина «Марксизм и национальный вопрос» и проанализируйте ее. Все дальнейшие статьи Сталина — а они появились только после революции, когда он окружил себя штабом помощников: Мехлис, Товстуха, Бажанов (удравший впоследствии на Запад и выпустивший там разоблачительную книгу о «хозяине»)[7], — повторяют стиль этой, первой.

А еще за несколько страниц до процитированного абзаца Надежда Константиновна замечает: «В краковский период… Владимир Ильич уделял очень много внимания национальному вопросу. С ранней молодости привык он ненавидеть всякий гнет.

Слова Маркса, что нет большего несчастья для нации, чем покорить себе другую нацию, были для него близки и понятны».

Споры по национальному вопросу, возникшие еще во время II съезда нашей партии, развер-

---

[7] Сноски: 7

Когда я беседовал с Л.М. Кагановичем, он заметил: «Это я рекомендовал товарищу Сталину Бажанова. Он был хорошим молодым человеком, но потом попал под влияние зиновьевцев, поэтому и удрал…

нулись с особой остротой перед войной, в 1913–1914 гг., потом продолжались в 1916 г.…Ильич в этих спорах играл ведущую роль, четко и твердо ставил вопросы, и эти споры не прошли бесследно».

(Более всего — в советский уже период — Ленину пришлось спорить именно со Сталиным. 30 декабря 1922 года Ленин диктует: «…Приняли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли и должны были принять. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина…»)

Вернемся, однако, к тому, как Ленин руководил работой «Правды» из далекого Поронина, — по всему видно, что его в высшей мере беспокоила ситуация в редакции, контролируемой Сталиным.

Обратимся к «Биографической хронике» Ильича той поры:

1) Январь 1913-го. После окончания Краковского совещания ЦК… обсуждаются вопросы: состав ЦК, работа редакции: «Правды» (принята написанная Лениным резолюция о реорганизации

работы редакции).

2) В январе Ленин пишет Каменеву о намеченной реорганизации в редакции «Правды».

3) В январе Ленин в приписке к письму Зиновьева к депутатам-большевикам Четвертой Госдумы пишет, что обеспокоен отсутствием сообщения о ходе реорганизации редакции «Правды», критикует ошибки редакции; требует установления контроля за денежными средствами газеты.

4) В январе Ленин получает письмо Свердлова и Сталина о положении дел в редакции газеты «Правда».

5) В январе Ленин в *письме* к Свердлову (почему не к Свердлову и Сталину — тот был в Петербурге? — *Ю. С.*) подчеркивает значение «Правды», пишет, что в ее постановке *«гвозд*ь положения», критикует недостатки в работе редакции, требует немедленной ее реорганизации; отмечает, что от правильной постановки «Правды» зависит исход борьбы с ликвидаторами и работа Петербургского комитета…

6) 1 февраля 1913 года Ленин в письме в редакцию «Правды» протестует против напечатания в газете «глупого и наглого» письма А.А. Богданова об условиях его сотрудничества в «Правде»,

упрекает редакцию в *нарушении* ею *условий* сотрудничества с Загранбюро ЦК.

7) В марте в письме Каменеву Ленин сообщает о положительной оценке работы Сталина по национальному вопросу (помните Крупскую: для Ильича личные отношения никогда не перечеркивали деловых! — *Ю. С.*), о его аресте…

8) В *конце* марта Ленин получает письмо из «Правды» о ее борьбе с ликвидаторами…

9) В апреле Ленин в письме большевикам — депутатам Госдумы отмечает *улучшение ведения* «Правды»…

10) Ленин в письме в «Правду» поздравляет с выходом газеты в увеличенном формате (это была давняя идея Полетаева, депутата Госдумы, старого большевика. — *Ю.С.*), выделяет главную задачу: «бороться за 100 000 читателей»; критикует за допущенные ошибки и требует их исправления: «Исправленная ошибка исчезает. Неисправленная станет гнойной язвой…»

Стоит внимательно проанализировать *накал* писем Ленина в «Правду» и о «Правде», чтобы стало ясно, как ему было трудно «столковываться» со Сталиным и как резко изменилась ситуация в редакции после того, как Сталин от работы — волею судеб — был отстранен совершенно…

В марте 1917-го Каменев и Сталин, вернувшись в Петербург из ссылки, становятся во главе Русского бюро ЦК и ПК РСДРП (б), берут в свои руки «Правду».

Крупская: «18 марта стала выходить в Питере “Правда” и Ильич стал, начиная с 20-го числа, писать туда “Письма издалека”. Их было пять… Напечатано было *только* первое письмо в *день приезда* Ленина в Питер, остальные лежали в редакции…»

Почему же «Правда», во главе которой стояли Каменев и Сталин, не печатала Ленина?

Потому что именно Сталин и Каменев призывали в «Правде» к продолжению войны: «…на пулю — пулей, на снаряд — снарядом» (Каменев); Сталин утверждал, что «теперь есть все возможности решить национальный вопрос в России»; считал возможным блок меньшевистско-эсеровских Советов с Временным правительством, оговариваясь, правда, что Советы, мол, должны контролировать Временное правительство, которое фактически «закрепляет» завоевание народа и борется против «реакции и контрреволюции». (Это князь-то Львов, премьер, боролся против реакции и контрреволюции?! — *Ю. С.)*

Более того, за неделю перед приездом Ленина

именно Сталин и Каменев провели в конце марта Всероссийское совещание большевиков.

Об этом совещании в «Биографии» вообще ничего не сказано, но дается следующее описание роли Сталина в этот период: «Сталин совместно с Молотовым руководит деятельностью Центрального комитета и Петербургского комитета большевиков».

Естествен вопрос: можно ли руководить ЦК, не являясь его членом? Молотов не был членом ЦК. Впрочем, в тридцатых Маленков был назначен Сталиным секретарем ЦК, хотя членом ЦК не являлся; своя рука — владыка!

Итак, почему же «Биография» обошла молчанием Всероссийское совещание большевиков, на котором Сталин делал доклад о политическом моменте?

Да потому, что, во-первых, на этом совещании Сталин приветствовал деятельность эсеровско-меньшевистского Петроградского совета во главе с Чхеидзе, во-вторых, никоим образом не призывал к свержению буржуазного Временного правительства и, в-третьих, рекомендовал большевикам не торопиться с «откалыванием буржуазных слоев»...

Естественно, после такого пассажа Сталина на

следующий же день поступило предложение от правых меньшевиков объединиться с большевистской фракцией.

Сталин рекомендовал это предложение принять.

Многие большевики возражали ему.

Сталин доказывал оппонентам:

— Не следует предупреждать возможность наших расхождений… Без разногласий нет партийной жизни… (Хм-хм! 1929–1953 годы! Слово против — и к стенке! — *Ю. С.*)

А через неделю Ленин вернулся в Россию.

Крупская: «В Белоострове нас встретили Мария Ильинична, Шляпников, Сталь и другие товарищи». (О Каменеве тогда уже было нельзя поминать. — *Ю. С.*)

Мария Ильинична Ульянова: «Кроме ближайших товарищей Владимира Ильича и его родных сюда приехали и сестрорецкие рабочие». (Заметим, что написано это было сестрой Ленина 16 апреля 1937 года. Она нашла в себе мужество — несмотря на шантаж и беспрецедентное давление сталинских наемников — ограничиться спасительным: «ближайшие товарищи».)

«Биографическая хроника»: «Ленина… встречают делегация петроградских рабочих во главе

с членами ЦК и ПК РСДРП (б), представители газеты “Правда”. В числе встречавших были М.И. Ульянова, А.М. Коллонтай, И.В. Шляпников…»

(Поскольку этот том издан в 1973 году, он прекрасно передает дух того времени: черного и белого не называть, «да» и «нет» не говорить… Упомянуты представители ЦК и ПК, но Каменев не назван, хотя — судя по воспоминаниям Ф. Раскольникова — ему первому и досталось от Ленина за «примиренчество».)

«Биография» Сталина: «Навстречу Ленину, на станцию Белоостров выехал товарищ Сталин с делегацией рабочих».

«Биохроника» Ленина: «Ленин в пути от Белоострова в Петроград высказывает Л.Б. Каменеву критические замечания о его статьях в “Правде”…»

Далее, на шестидесятой странице ленинской «Биохроники» приводится следующая фраза Ильича, которой он закончил свой доклад об «Апрельских тезисах»: «Я слышу, что в России идет *объединительская* тенденция, объединение с оборонцами. Это — *предательство* социализма».

О том, что Каменев был «шпионом, диверсантом, оппортунистом, изменником, врагом

народа», мы наслышаны с детства. Но ведь за объединение с оборонцами, то есть за «предательство социализма», первым выступил Сталин — такова правда, пора к ней привыкать.

Из песни слова не выкинешь: «Правда», возглавлявшаяся Каменевым и Сталиным, выступила *против* «Апрельских тезисов» Ленина — на следующий же день.

Положение спасли питерские рабочие, ставшие за Ильича стеной.

В апреле состоялась VII конференция РСДРП (б). Почетным председателем избрали Ленина, председателем — Зиновьева, резко критиковавшего именно Каменева.

Ни Каменев, ни Сталин в президиум избраны не были.

Каменев, однако, нашел в себе смелость выступить с содокладом, в котором возражал Ильичу по ряду принципиальных вопросов стратегии и тактики.

Сталин сделал доклад о национальном вопросе, против Каменева не сказал ни слова.

«Биография»: «На конференции Сталин… разоблачил оппортунистическую, антиленинскую линию Каменева, Рыкова и их немногочисленных единомышленников».

Так можно было писать в надежде на то, что стенограммы Апрельской конференции никогда и ни при каких обстоятельствах не будут переизданы в СССР.

Так можно было писать тому и тем, кто *брезговал* народом, считая его безмозглым, беспамятным быдлом.

Приведу лишь одну цитату из протоколов Апрельской конференции, достаточно передающую дух и стиль взаимоотношений большевиков той поры: «…Речь т. Ленина меня не убедила: в его речи не было того ответа, который товарищ должен был дать. Я скажу, что если т. Ленин упрекает польских товарищей в шовинизме, то я могу его упрекнуть в том, что он стоит на точке зрения польских, украинских и других шовинистов. Не знаю, что лучше…»

Кто это говорил? По трагической привычке страха ответ однозначен: Каменев, Зиновьев или Рыков. Нет. Это слова Дзержинского, что не помешало Ленину спустя пять месяцев рекомендовать Дзержинского в Военно-Революционный комитет Петроградского совета, возглавлявшегося Троцким, а еще через полтора месяца назвать его кандидатуру председателем ЧК.

Воистину, мы «ленивы и нелюбопытны». Те, кто

сейчас с пеной у рта защищают Сталина, — люди в массе своей малообразованные, некомпетентные, болезненно упрямые, то есть честолюбивые безмерно: «раз я уверовал, отказаться от веры не желаю».

…Прочтем документы Апрельской конференции еще раз.

Посмотрим список кандидатур, выдвинутых в ЦК: Ленин, Зиновьев, Каменев, Теодорович, Сталин, Ногин, Милютин, Глебов (Авилов), Шмидт, Крупская, Шляпников, Калинин, Федоров, Скворцов-Степанов, Свердлов, Бубнов, Смилга, Правдин, Инесса Арманд, Молотов, Дзержинский, Землячка, Залуцкий, Рыков, Сергей Багдатьев.

Из выдвинутых кандидатов *не обсуждались:* Ленин, Зиновьев, Скворцов-Степанов, Молотов, Дзержинский, Рыков.

Когда началось обсуждение кандидатуры Каменева, против него выступил Соловьев (расстрелян. — *Ю. С.*). Возразил ему Ленин: «..В центральном партийном органе за границей было сказано, что поведение депутатов в процессе, и Каменева в частности, недопустимо. Этим инцидент был исчерпан. Некоторые товарищи считали, что эти меры были недостаточно строги, но, по моему мнению, — достаточны… Поэтому

нельзя из-за проступка, за который товарищ Каменев был уже привлечен к суду и достаточно оценен и осужден, нельзя возражать против его кандидатуры… Деятельность Каменева продолжается десять лет, и она очень ценна. То, что мы спорим с товарищем Каменевым, дает только положительные результаты. Присутствие Каменева очень важно, так как дискуссии, которые веду с ним, очень ценны. *Убедив его, после трудностей,* узнаешь, что этим самым преодолеваешь те трудности, которые возникают в массах…»

Он же, Ленин, встал и на защиту Сталина: «Тов. Кобу мы знаем много лет. *Видали* его в Кракове, где было наше бюро. (А раньше, как утверждает "Биография"? — *Ю. С.*) Важна его деятельность на Кавказе. Хороший работник во всяких ответственных работах».

ЦК был избран в следующем составе: Ленин (104 — «за»), Зиновьев (101), Сталин (97), Каменев (95), Милютин (82), Ногин (76), Свердлов (71), Смилга (53), Федоров (42).

…Через три месяца после Апрельской конференции Временное правительство начало травлю большевистского руководства; Ленин и Зиновьев скрылись в Разливе; Троцкий, Каменев и Луначарский были арестованы и посажены в Кресты,

откуда их вынуждены были выпустить, поскольку генерал Корнилов готовил свой путч; для него разницы между большевиками, меньшевиками и эсерами не было: раз против царя-батюшки — значит, враг, к стенке или на фонарь!

…Сталин Временным правительством не преследовался, жил вполне легально, даже паспорта не менял, полиция его не преследовала, слежки не поставила…

«Биография»: «*Он* (Сталин. — *Ю. С.*) *непосредственно руководит всем делом подготовки восстания»* (курсив оригинала. — *Ю. С.).*

«Революционный Петроград» (издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1977): «По заданию ЦК Военно-Революционный комитет создал полевой штаб для дальнейшего руководства восстанием. В него вошли Н.И. Подвойский, А.С. Бубнов, В.А. Антонов-Овсеенко, Г.И. Чудновский, К.С. Еремеев».

Где же Сталин?

Хочу привести документ:

> «Известия», № 210, 29 октября 1917 года
> «ПРИКАЗ
> всем районным Советам Рабочих Депутатов и фабрично-заводским комитетам

Корниловские банды Керенского угрожают подступом к столице. Отданы все необходимые распоряжения для того, чтобы беспощадно раздавить контрреволюционное покушение против народа и его завоеваний.

Армия и Красная Гвардия революции нуждаются в немедленной поддержке рабочих.

Приказываем районным Советам и фабрично-заводским комитетам:

1. Выдвинуть наибольшее количество рабочих для рытья окопов, воздвигания баррикад и укрепления проволочных заграждений.

2. Где для этого потребуется прекращение работ на фабриках и заводах, немедленно исполнить.

3. Собрать всю имеющуюся в запасе колючую и простую проволоку, а равно все орудия, необходимые для рытья окопов и возведения баррикад.

4. Все имеющееся оружие иметь при себе.

5. Соблюдать строжайшую дисциплину и быть готовыми поддержать армию ре-

волюции всеми средствами.

Председатель Петроградского Совета
Рабочих и Солдатских Депутатов
Народный комиссар Лев Троцкий
Председатель

Военно-Революционного комитета

Главнокомандующий округом
Николай Подвойский».

…Поднимите подшивки газет той поры: фамилии Сталина практически нет, — Ленин, Троцкий, Подвойский, Крыленко, Антонов-Овсеенко, Раскольников, Дзержинский…

Так кто же руководил Октябрем?!

Этот краткий комментарий к «Биографии» Сталина, относящийся лишь к 1898–1917 годам, я хочу закончить, пригласив читателя к новому прочтению книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

С 1930 года работа американского коммуниста, похороненного в Кремлевской стене, была объявлена «вредной», ее запретили, упрятав в спецхраны; если находила у кого-то в личной библиотеке, сажали по статье 58, пункт 10: «призыв к свержению или ослаблению Советской власти».

Почему произошло такое?

Да потому, что Рид ни разу не упоминает Сталина, словно бы и не было его в Октябре.

Откроем первую страницу.

Предисловие Ильича: «От всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция…»

Предисловие Крупской: «…Книжка Рида дает настоящую картину настоящей народной массовой революции, и потому она будет иметь большое значение для молодежи, для будущих поколений — для тех, для кого Октябрьская революция будет уже историей. Книжка Рида — своего рода эпос…»

А теперь — фрагменты из «Послесловия» издательства, выпустившего эту книгу в 1958 году, после двадцативосьмилетнего перерыва:

«…Джон Рид в силу объективных условий… не мог с необходимой конкретностью и достоверностью изучить деятельность большевистских партийных центров в период подготовки восста-

ния и во время восстания… В книге не получила достаточного изображения та упорная борьба, которую вели Ленин и его ближайшие соратники против капитулянтов и против тактической линии Троцкого… Ошибочно утверждение Рида, что, “быть может, никто, кроме Ленина и Троцкого, и петербургских рабочих и простых солдат, не допускал мысли, что большевики удержат власть дольше трех дней”…»

Вот так в 1958 году те же люди, которые незадолго перед тем выпускали «Биографию» Сталина, позволяли себе, уже после XX съезда, править и корректировать Ленина, не говоря уже о Крупской, открыто отвергая оценки Ленина!

Сейчас этих редакторов назвали бы «силами торможения», «сталинистами».

Я бы назвал их проще: «антиленинцы».

Среди выпускавших Рида были и тридцатилетние, те, которые сейчас аплодируют перестройке и не перестают восхищаться гласностью и демократией.

И мы позволяем себе непростительную роскошь верить им.

«Прежде чем объединиться, надо раз и до конца размежеваться».

Опасно забывать литые формулировки Ленина,

это чревато новой трагедией, которая по своим масштабам может оказаться столь *же* ужасной, как и тридцать седьмой год, ибо мы еще не отвыкли от тотальной лжи, *поле не перепахано.*

Я не зову к карам. Наоборот: я предлагаю сохранить оклады, содержание, машины и прочие житейские блага всем тем, кто *состоялся* во времена Сталина, для кого он и поныне — единственный и непререкаемый авторитет. Хозяин, Вождь.

Пусть живут в достатке, к которому привыкли.

Но пусть не имеют *прав* ставить палки в колеса перестройки, мешая тем, кто защищает демократию и гласность.

Пусть они уйдут!

23. Осень пятьдесят второго

Ах, какая прекрасная была та осень! Леса стояли тихие, золотые, гулкие. Над полями гудели пчелы. В маленьких речушках, прозрачных и медленных, опрокинувшееся небо казалось неподвижным и торжественным, словно заутреня. Кончался сентябрь, но было словно в июне: травы — зеленые, вода — теплая, ночи — светлые.

— Господи, — сказала старуха в белом платке, стоявшая рядом со мной, — благость-то вокруг какая, а?! Будто и греха нет.

Она оглянулась: очередь на передачу в Ярославскую пересыльную тюрьму тянулась с Волги вверх, прерывалась булыжной дорогой, где стоять не разрешалось, чтобы не было излишнего скопления возле тюрьмы, и плотно жалась на деревянном тротуаре, который вел к маленьким зеленым воротам под сторожевой вышкой.

В очереди стояли старухи с серыми от загара лицами; руки их были коричневые, синие вены казались черными, а ногти были бесформенные от копания в земле; стояли здесь бабы с детишками, чаще всего грудными; на солнце детишки плакали, а в тень отойти нельзя, потому что оче-

редь и есть очередь — к тюремным ли воротам, за сахаром ли: пропустил свое, на себя и пеняй.

И среди сотен женщин в очереди двое мужчин: безногий полковник запаса Швец и я. Швец передвигался на тележке, к которой были приделаны шарикоподшипниковые колесики. Раньше он ходил на двух протезах — с громадным трудом, но все-таки ходил. Однако с тех пор, как арестовали его сына, студента филфака, и по решению ОСО осудили на десять лет по пятьдесят восьмой статье за участие в антисоветской организации, преследовавшей «ослабление и подрыв существующего строя», безногий полковник запил, бросил свои хитрые протезы и стал передвигаться как рядовые инвалиды — на тележке.

Швец стоял под березой, в единственном месте, где была тень; он был, как командир на параде, — с орденами и медалями на белом шелковом кителе, а мимо него к тюремным воротам тянулась бесконечная тихая очередь.

…Приехав в Ярославль, я долго искал тюрьму и нашел ее только наутро, потому что сначала, когда еще ходили автобусы, было как-то стыдно спрашивать кондукторов, где пересылка: был субботний день, в автобусах ехали веселые молодые люди в белых рубашках и красивые девушки;

они говорили тихо, нежно, о чем-то заветном. Словом, к тюрьме я добрался только ранним утром. От Волги тянуло великолепным запахом свежей рыбы, дегтя и дымка. Из открытых тюремных ворот попарно шли зэки с чемоданчиками и вещмешками. Они спускались к баржам, а по обе стороны тюрьмы, оттесненные конвоем, стояли женщины: все в белых платочках, похожие на птиц, с коричневыми лицами и громадными, натруженными руками. Заключенные шли быстро, стараясь не смотреть на своих баб, а те кричали, и невозможно было разобрать, что они кричали, потому что их голоса сливались в один. Там были имена — в их вопле слились воедино десятки Николаев, Иванов, Петров. Шла волна, когда забирали колхозников, и поэтому имена были земные, прекрасные и многострадальные.

Когда наша очередь подошла к воротам, поджужжал на своей каталке Швец и, подтянувшись на руках, забрался на деревянный тротуар. Старуха, что стояла перед нами, спросила:

— А ты по ком страдаешь, убогонький?

— По России, — ответил полковник запаса, — по России, бабка, ети ее мать…

Нас запустили в ворота. Охранник сказал:

— Быстро, быстро, граждане, не задерживай-

тесь во дворе!

Мы пошли по асфальтовой дорожке вдоль линии колючей проволоки, протянутой по внутренней стороне забора, мимо окон, забранных намордниками, чувствуя на своих спинах глаза охранников, стоявших с автоматами на вышке.

Запускали в тюрьму десятками. Сейчас шли семь старух, русая красавица в открытом сарафане и мы со Швецом.

В приемной камере стоял тяжелый запах карболки и хозяйственного мыла. Прямо напротив маленькой входной двери было окошко, а налево — железная дверь, запертая на громадный висячий замок. Старухи, осторожно отталкивая друг друга острыми локтями, сразу же выстроили очередь. Окошко открылось. В квадратном вырезе, освещенном низко висящей лампой, я увидел две большие руки, лежавшие на списках, нацарапанных чернильным карандашом. Больше в окошке ничего не было видно: две руки и списки.

Бабка, стоявшая в очереди первой, быстро прошамкала в окошко:

— Передача для Сургучевых, Павла Васильевича, Михаила Васильевича и Федюньки.

— Сургучевы? — тихо переспросили из окна. —

Вы говорите — Сургучевы?

— Да, Сургучевы.

— Какая статья?

— Пятьдесят восьмая, десятый пункт и еще какой-то, — быстро ответила бабка. — Разговаривали они, батюшка, по пьяному делу, разговаривали.

Окно захлопнулось. Стало тихо. Только муха гудела вокруг маленькой лампочки, свисавшей с потолка на кривом шнуре. Я обернулся на Швеца. Он был бледен, и сейчас, в полутьме, стали особенно заметны глубокие старческие морщины на его желтоватых висках. Русая красавица достала маленькое зеркальце и, облизнув припухлые губы кончиком острого языка, принялась рассматривать свое лицо, — то хмуря брови, то, наоборот, чуть улыбаясь.

— Пониже поглядите, — сказал я.

Женщина опустила зеркальце, увидела насосанный синяк на шее, озабоченно разглядела его, поджала губы и покачала головой.

— От гад, — вздохнула она грустно, — гадюка проклятая…

Окошко открылось; голос оттуда донесся глухо:

— Сургучевы выбыли на этап.

— Да что ты, батюшка, — оживилась стару-

ха. — Я ж сегодня ночью этап выстояла: не было Сургучевых.

— Повторяю, они выбыли на этап.

— Ой, батюшка, — заговорила старуха быстро-быстро, — я ж лепешечек им напекла, яец наварила, прямо из-под курочки. Вот узелок, он маленький, батюшка, вы уж примите для них, Федюнька у нас легочный, маленький он у нас, вы уж похлопочите, пожалуйста.

— Следующий, — сказал голос из окна.

— Батюшка, — тонко заплакала старуха, — лепешечки-то куды? Куды ж лепешечки на масле? И яечки с-под курочки?

— Следующий, — снова ответил голос из окна.

Русая красавица задумчиво сказала:

— Вот сволочь, а? Мать его рожала или сноха?

Швец начал откашливаться, будто в горло ему попала рыбья кость. Но вслух никто ничего не говорил: каждый; ждал своей очереди, в глубине души понимая, что получит такой же отказ; однако человек — такой организм, который во всех жизненных перипетиях ждет. Бог его знает чего, а — ждет, даже если и сам уверен, что ждать-то, в сущности, уже нечего.

— Батюшка, — дрожащим голосом сказала старуха, — что же делать мне? Я ж лепешки не

сжую, у меня и зубов нет, десны только тесто протягивают, а вкуса во внутрь не дают…

Продолжая говорить что-то быстрое и несуразное, бабка достала из-за пазухи красную тридцатку и, комкая ее в потной ладони, сунула в окно. Тридцатка вылетела оттуда на пол, и в окне появилось лицо молоденького паренька в форме младшего лейтенанта:

— Да что вы, мамаша?! — жалобно крикнул он. — С ума свернули?! Заберите свои деньги и станьте в сторонку, пока другие не пройдут.

Бабка, жалобно причитая, спрятала тридцатку, отошла к окну и там стала мотать головой, словно лошадь, замученная оводами. Плакала она беззвучно, не утирая слез, только часто-часто хлюпала покрасневшим носом.

— Следующий! — сказал младший лейтенант.

Полковник Швец, стоявший под оконцем, выкрикнул с пола:

— Константин Иванович Швец, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

Младший лейтенант рассерженно сказал:

— Что за шутки? Заявитель, покажитесь!

— Не мо-гу!

— Не можете, так покиньте помещение!

— Мальчишка! — крикнул Швец и, резко отки-

нув потную голову, зажмурился.

— Что?!

— То самое. Молокосос!

Младший лейтенант пристукнул кулаками по спискам и стремительно высунулся из окошка. Он увидел меня и решил, по-видимому, что это я с ним так говорил, поэтому побагровел и стукнул ладонью по спискам.

— Вниз посмотри! — исступленно прокричал полковник. — На меня смотри!

Младший лейтенант недоуменно посмотрел вниз, увидел Швеца на платформе с подшипниками, в лице его что-то на мгновение дрогнуло, а потом замерло, будто захолодело.

В камере было тихо, муха вокруг лампочки гудела громко, словно трансформатор. Младший лейтенант спрятался в свое оконце и сказал:

— Следующий!

— Швец, Константин Иванович, тридцать третьего года рождения, осужден ОСО на десять лет!

— Выбыл на этап.

— Когда?

— Вчера.

— Куда?

— По месту отбытия наказания.

Швец попросил:

— А ну, подними меня.

Я уцепил его под мышки и поднял к окну. Выставив колено, я опустил на него платформочку. Швец уцепился своими громадными, как у всех безногих, ручищами за деревянное оконце и сказал:

— Ну-ка, лейтенант, посмотри мне в глаза.

— А в чем дело? — тихо осведомился младший лейтенант.

— Дела нет никакого. Просто посмотри мне в глаза. Вот так. Только не мигай, сынок. Тебе не совестно, а? Как же тебе не совестно, сынок?! — И Швец шепнул мне: — Опускай!

Я опустил его на пол. Швец отъехал к старухе, которая по-прежнему плакала возле окна, и начал громко сморкаться в большой полотняный платок.

— Следующий, — тихо позвали из окна.

Подошел я и, передохнув, сказал:

— Тут у вас в лазарете мой отец.

— Фамилия!

Я назвал.

Младший лейтенант посмотрел на меня огромными глазами святого. Он долго смотрел на меня, почти столько же, как Швец — на него.

— Вам нельзя с ним видеться. И передачи тоже

нельзя, — сказал он наконец. — Только по прибытии к месту отбытия наказания…

Он по-прежнему смотрел на меня своими огромными глазами, в которых было отчаяние.

— А записку? — спросил я. — Просто, чтоб он знал.

Младший лейтенант молча покачал головой. Швец из угла выкрикнул:

— Какого черта ты унижаешься перед этим мракобесом?!

После долгой паузы младший лейтенант ответил:

— Я не мракобес… Я службу несу.

Он сказал это тихо-тихо, почти беззвучно.

Я достал листок, написал карандашом: «Я здесь» — и протянул младшему лейтенанту. Тот проглядел записку со всех сторон, а потом закрыл оконце. Я услыхал шаги по кафельному полу. Где-то лязгнула железная дверь, и стало по-особому тихо. Все эти десять минут, что мы провели в приемной камере, было то очень громко, то ужасно тихо: до звона в ушах. Только кто начинал говорить, — все ухало, сотрясалось вокруг, а как ждали ответа из окошка, — становилось мучительно, предсмертно тихо, даже уши закладывало.

Я ждал ответа, опершись спиной о холодную стену. Вдруг молчащую громадину тюрьмы разрезал высокий, кричащий плач. Никто еще ничего не понял, а меня прижало к подоконнику. Я почувствовал себя крохотным, руки у меня заледенели, и к горлу подступила тошнота.

— Ишь, балует, словно ребеночек воет, — сказала русая красавица.

Я бросился к двери, через которую нас сюда впустили, отбросил щеколду и закричал:

— Старик, я тут!

Плач прервался, и я услышал страшный, совсем не знакомый мне, но такой родной отцовский голос:

— Пустите, не затыкайте рот! Сын пришел! Пустите же!

— Папа!

Отец глухо завыл.

Я бросился в тюремный двор.

— Назад! — крикнул с вышки охранник.

Я почувствовал, как кто-то мягко схватил меня сзади за шею и больно, тисками, за ноги. Я вырывался и орал что-то, а отец выл в камере.

— Да что ты?! Да погоди! — слышал я снизу сопенье Швеца, который держал меня за ноги.

— Миленький, миленький, успокойся, —

шептала русая красавица, повиснув у меня на шее. — Ну, золотенький мой, ну, маленький, успокойся, — твердила она и вся вздрагивала, словно от ударов.

— Па-па!!! — кричал я что было сил, потому что меня уже почти затащили в камеру Швец, женщина и две старухи с сильными и длинными руками. И в это время тюрьма загрохотала, завопила, заулюлюкала. Слышно было, как в камерах стучали чем-то деревянным по стенам, топали ногами и вопили визгливыми голосами:

— Дайте свиданку! Дайте им свиданку, псы! Старика пустите, пустите его, свиданку дайте!

Я увидел, как на сторожевую вышку выскочили еще три охранника, щелкнули затворы автоматов, услышал быстрые команды, на Волге начали басить баржи, заглушавшие вопль тюрьмы, — и меня затолкнули в камеру.

Швец упал возле двери, тяжело дыша; в легких у него тонко свистело, и видно было, как возле кадыка пульсировала артерия.

— Там и мой кричал, — шепнул он. — Константин. Я его голос узнал.

Прибежал младший лейтенант, распахнул свое оконце и крикнул мне:

— Ну?! Вот твоя записочка! Он сознание по-

терял, а мне отвечай?! Все вы только об себе думаете, совести в вас ни на грош!

— Это он прав, — тихо согласился полковник Швец. — Совести в нас ни на грош. Скоты и есть скоты, только тешимся.

— Разговорчики! Кто получил справку, очистить помещение! — приказал младший лейтенант.

В комнату к нему кто-то зашел, потому что младший лейтенант вскочил со своего места и вытянулся.

В окошке показалась седая голова капитана со шрамом через весь лоб.

— Поди сюда, — сказал он мне.

Я подошел.

— Иди завтра к подполковнику Малову в областное управление. Я ничем помочь не могу, у твоего батьки запрещение на свиданку.

— Как он сейчас?

— А ты что, не слыхал? — вздохнул седой капитан.

— Швец Константин, тридцать третьего года рождения, осужден особым совещанием, — начал выкрикивать с пола безногий полковник.

— Знаю, знаю вашего Константина, — ответил капитан, — он в карцере за нарушение режима.

— Что он сделал? — спросил Швец.

— Да так, — ответил капитан и посмотрел в глаза Швецу, — только строптив, не сломался б…

Швец просиял лицом и полез за сигаретами в нагрудный карман.

— Ничего, — сказал он, — не сломается.

И — как-то странно подмигнул капитану, а тот так же странно ответил ему: ничего в его лице не дрогнуло, а все равно ответил, и не просто так, а по-человечески, с болью.

— Продолжайте работу, товарищ Сургучев, — сказал капитан младшему лейтенанту и вышел.

Старуха с лепешками, мать троих Сургучевых, услыхав фамилию младшего лейтенанта, стала медленно приближаться к окну. Она утерла ладонью слезы с коричневых, морщинистых щек и спросила:

— А ты не Гришки ли сынок, Сургучев? Ты не Гришки ли сын, а? С Колодиш?

Младший лейтенант внимательно и с ужасом посмотрел на старуху.

— Кто следующий, граждане? — сказал он скороговоркой. — Вопросы прошу задавать по существу.

— Гришкин, — уверенно сказала бабка. — И нос, как его, — с горбой, и чуб с крутью. Господи,

господи, брат на брата и отец на сына, только небо пока не раскололось, когда ж? Когда, господи?!

И, словно слепая, бабка пошла из камеры вон. Следом за ней поехал на жужжалках Швец, а за ним я. В тюрьме было тихо, потому что разносили ужин.

24

После того как в тюрьме нам со Швецом отказали в свидании с родными и посоветовали пойти к подполковнику Малову в областное управление, мы отправились в гостиницу.

Швец поджужжал на своей платформочке к окошку администратора и постучал по нему деревянным утюжком, которым отталкивался от земли.

Администраторша оказалась пожилой женщиной с маленькой головой на большом теле, но на ее крошечной головке как-то странно умещалось огромное количество крохотных бело-коричневых куделек, что делало ее похожей на барашка.

— Заполняйте бланк, — сказала она Швецу. — Мест у нас нет, но уж вас-то я устрою — как орденоносца и инвалида.

— Мы вдвоем, — сказал Швец, кивнув на меня.

— Хорошо, — ответила женщина, — я дам вам номер люкс из нашей исполкомовской брони.

Швец вернулся к столу, и мы начали заполнять длинные бланки анкет, которые выдают администраторы гостиниц перед тем, как вручить гостю ключ от номера.

Напротив графы «с какой целью приехал, куда, к кому, кем выписана командировка и на какой срок» я написал: «Прибыл как член-соревнователь Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, для обмена опытом лекционной работы». Меня действительно приняли в общество «Знание», когда отец был еще дома. Тогда я учился на втором курсе и довольно бойко излагал разные истории про те муки, которые испытывает национальная буржуазия в странах Среднего Востока, и как она постепенно уничтожается буржуазией компрадорской.

И сюда, в Ярославль, я, понятно, приехал с красной книжечкой общества, которая так успокоительно действовала на гостиничных администраторов и вокзальных дежурных.

Взяв мою анкету с красной книжечкой, Швец покатил к администратору. Сунув в окошко наши документы, он закурил и, оглядевшись по сторонам, задержался глазами на картине «Утро в сосновом бору»; вздохнувши, как-то изумленно заметил:

— Кругом одни медведи — куда ни глянь…

Администраторша, не отрывая глаз от наших анкет, спросила:

— Молодой человек, а вы, собственно, с кем едете обмениваться опытом?

Разыскивая отца, я проехал уже восемь городов, в которых были пересыльные тюрьмы, и всюду устраивался ночевать под маркой обмена «лекторским опытом»; ответил поэтому фразой, которая действовала безотказно:

— С группой начинающих товарищей…

— А командировочка где?

— Идет по фельдъегерской связи, — ответил я туманно.

— Ах так, — понятливо кивнула администраторша, — что ж, хорошо…

И — отложила мои документы в сторону. Взяв анкету Швеца, она бегло посмотрела ее и — скорее для формы — поинтересовалась:

— Что же вы не указали причины приезда, товарищ полковник?

— Прибыл в ваш замечательный город, — начал рапортовать Швец, — надеясь получить свидание с сыном, находящимся в пересыльной тюрьме…

— Где-где?!

— В пересыльной тюрьме.

— Какая досада, — сказала администраторша, поправив свои мелкие бараньи букли на крошечной головке, — оказывается, тот номер, который

я собиралась вам дать, только что заняли. Придется немножко обождать.

— То был свободен, а то заняли? — набычился Швец.

— Нет, он, собственно, не был совсем свободен. Он должен был освободиться, — запутавшись, пробормотала администраторша.

— Верните документы, — рявкнул Швец.

И — выкатился на своих жужжалках из темного холла гостиницы на предзакатную, пронзительно-чистую, ветряную площадь. В небе летали голуби. Они были сизовато-белые, но иногда их крылья высверкивали неожиданным желто-красным цветом.

— Где ночевать будем? — спросил я Швеца. — Честно говоря, я уж третий день не сплю, башка звенит.

— Ничего. Сейчас пойдем на вокзал, там выпьем и закусим и про ночлег с кем-нибудь договоримся: что здесь номер, что проститутке тридцатка, все одно выйдет, с точки зрения экономии.

В ресторане мы заказали бутылку черноголовой московской, три салата, селедку, щи и блинчики с мясом. Швец разлил водку по большим фужерам и попросил:

— Ну-ка придвинь меня, а то я на китель буду

крошки ронять, неопрятно.

Я поднял его вместе со стулом и придвинул вплотную к столу. Швец кивнул в знак благодарности, цыкнул зубом и возгласил:

— Ну, выпьем за наших с тобой. Дай им бог…

Запрокинув голову, он *вобрал* в себя водку, неторопливо закусил селедочкой и усмехнулся:

— Анекдот есть такой. Один командировочный, вроде нас с тобой, задержался в Москве по делам, а спать негде, мест в гостелях нет. Ну, ему и посоветовали взять на ночь шлюху возле Метрополя, у нее и переспать. Он пришел, а там одни красавицы в чернобурках. Смотрел он на них, смотрел, а потом подошел к одной, галантно поднял шляпу и осведомился: «Тысячу извинений, мадам, а вы, случаем, не блядь?» Что плешка у Метрополя, что здешний вокзал. Сука в бигудях, чтоб у нее сыпь на лбу выметала…

— Она ж служит, зря вы на нее.

— Нет, не зря! Скрыть правду — значит предавать Константина, отрекаться от него, живого!

— Вы его не этим предаете. Мы все предаем друг друга совсем не этим…

Швец грохнул кулаками по столу:

— Выбирай слова! Слышу интонацию врагов народа!

— Вы действительно верите, что маршал Тухачевский был врагом народа?

— А кем же еще?

— Кто штурмовал Кронштадт в двадцать первом?

— Как кто?! — Швец изумился. — Товарищ Сталин.

— Тухачевский, Сталин и Троцкий, — тихо сказал я, оглянувшись невольно.

— Я б тебя за такие слова на фронте к стенке поставил! И самолично пристрелил, как бешеного пса! — Швец разъярился. — Запомни: тридцать седьмой год был годом великого очищения! Мы освободились от скверны японско-германских наймитов! От гестаповцев и шпионов типа Каменева и Бухарина! Понял?! Мы выиграли войну благодаря тому, что обезвредили всех врагов народа!

Лицо Швеца вдруг жалобно сморщилось, он замотал головой и стал жалостливо повторять:

— Косинька, Косинька, мой маленький, за что ж такое?! Почему суки на свободе, а ты маешься?! За что? Почему кругом неправда?

А я до ужаса явственно вспомнил плач отца, который донесся через открытые тюремные окна, и его пронзительный крик: «Сынок!»

— За что такое горе, Косинька?! — Швец сокрушенно качал головой. — Ты ж нашему делу предан до последней капли, ты ж наш, наш!

К столику подошла официантка:

— Щи кончились, может, поменяем на порционную соляночку?

— Ладно, — сказал Швец, вытерев лицо квадратной ладонью, расплющенной «толкалкой». — Валяй сборную.

Он демонстративно отвернулся от меня и стал смотреть на эстраду, где рассаживались музыканты: аккордеонист, слепой скрипач, слепой барабанщик и огромная пианистка, похожая на Петра Первого. Скрипач взмахнул смычком, и оркестр заиграл песню о Сталине — тогда все программы в вокзальных ресторанах так начинались; Швец стал проникновенно подпевать: «О Сталине мудром, родном и любимом, счастливые песни слагает народ…»

В уголках его пронзительно-черных глаз медленно накипали слезы; когда оркестранты кончили играть, Швец, аплодируя, закричал: «Браво!» В зале ресторана было всего два посетителя: он и я. Пять официанток стояли возле синих бархатных портьер, спрятав руки под белыми фартуками на толстых животах. На стене с лепными украшени-

ями, выкрашенной в темно-зеленый цвет, висела громадная репродукция «Утро в сосновом бору». Я посмотрел на «Мишек», тронул Швеца за руку:

— Простите меня, я, видно, что-то не так сказал…

— Да уж, — просветлев лицом, он сразу же обернулся ко мне, — я еле сдержался, чтоб не отправить тебя, куда следует. Болтаешь черт знает какую ахинею, уши вянут…

Он снова разлил водку по фужерам, мы выпили, в голове у меня зашумело; все, что было сегодня днем, сделалось каким-то отстраненным, далеким, оркестранты уже не казались такими жалкими, а, наоборот, стали представляться мудрыми хитрецами, потому что после обязательной песни об Иосифе Виссарионовиче заиграли печальный и веселый «фрейлехс».

Швец заказал еще одну бутылку водки, быстро опьянел; я тоже. Мы начали мериться силами — у кого крепче руки. Полковник лихо укладывал мою кисть на стол, а я тогда был боксером и подрабатывал на образцово-показательных выступлениях в рабочих клубах.

— Если нет одного, — комментировал Швец свою победу, — тогда обязательно много другого…

Эти слова показались очень смешными, я захохотал, а Швец обиженно постучал себя пальцем по виску:

— Смех без причины — признак дурачины. Не понимаешь, что ль: нет ног — руки сильные!

Швец вздохнул, начал перемигиваться с громадной пианисткой, а потом пригласил ее за наш стол:

— Мадам, не выпьете ли немного портфейна?

— Вы, случаем, не одессит? — спросила пианистка, опускаясь на стул. — Одесситы говорят «портвейн» через «ф».

— Какой с меня одессит? — Швец засмеялся. — С меня одессит, как с вас балерина.

Пианистка предложила:

— Может, сыграть попурри из военных песен? Мы недорого возьмем…

Швец достал из кармана кителя тридцатку:

— Извиняюсь, что нет конверта. Венерологам и женщинам я всегда давал деньги в конвертах.

Пианистка выпила рюмку, съела кусочек селедки, вернулась на эстраду и что-то шепнула слепому скрипачу. Тот кивнул и сразу же прокричал в шуршащий микрофон:

— Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!

— Опошляют героику, — заметил Швец. — Всего пять лет после войны отстучало, а уж попурри в кабаках поют. А солдатские кости еще не перегнили. Вот ты — ученый, лекции читаешь, ты мне скажи: сколько времени кость в земле гниет? Или, скажем, череп? Молчишь, член-соревнователь? Хитрые вы, полужидки, змеи извилистые.

Между тем слепой скрипач выкрикнул очередной куплет:

— По берлинской мостовой кони шли на водопой!

Загрохотал слепой барабанщик, а после музыканты стали петь, задирая головы к лепному потолку:

— Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки!

Когда куплеты кончились, слепой скрипач, сделав шаг вперед, нащупал смычком стул, но опустился на него неловко и обвалился на пол. Швец так хохотал, что сам тоже чуть не упал со стула. Он махал руками, вытирал слезы и, плача от смеха, повторял:

— Ой, не могу, не могу, не могу! Как он жопу-то припечатал! Ой, не могу, лектор, не могу!

До полуночи мы ходили вокруг вокзала, отыскивая кого-нибудь, кто бы взял нас на ночлег. Но

привокзальная площадь была пуста, только под фонарем дремал таксист в старой «Победе» да время от времени прохаживался железнодорожный милиционер в малиновой фуражке.

— Где ж ваши проститутки? — спросил я. — Пошли лучше на лавку, всё соснем…

— Ты хоть одну свободную видел? — рассердился Швец. — Сам виноват, — я уж договорился с пианисткой.

— Ей же сто лет.

— Неважно. Зато она большая. Для меня чем женщина больше, тем желанней.

— А скрипач?

— Скрипач? — передразнил меня Швец. — Он слепой, скрипач этот! Что он видит? Тьму и только!

Швец заметил милиционера, сделал мне знак, чтобы я оставался на месте, и покатил навстречу блюстителю закона. Милиционер опустился перед полковником на корточки, чтобы удобнее было разговаривать.

Я видел, как они закурили, а потом стали смеяться: то Швец, то милиционер — попеременно.

Они смеялись, а я вспомнил, как плакал и трясся Швец, заталкивая меня в камеру, а потом размазывал по своим склеротическим щекам

бессильные стариковские слезы…

Милиционер, наконец, откозырял полковнику, и тот быстро подкатил ко мне.

— Проститутки появляются к трем ноль-ноль, когда прибывает поезд с севера, — отчеканил он. — Но тут одна должна подойти к часу, Роза, — на курьерских теперь не работает, постарела, обслуживает пригородные линии. Мильтон говорит, что ее конкуренция побила, молодежь, говорит, набирает силу, ткачихи…

И вот мы в комнате у Розы. На стенах — вышитые рисунки: красноглазые котята, лебеди в зеленых прудах среди синих башен средневековых замков. На комоде, покрытом узорной салфеткой, фотографии в бумажных рамках, и почти на всех фото — Роза: завитая, губы бантиком, двое детей с одинаковыми челками и мужчина в военном кителе без погон; у него подбритые брови и рваный шрам на щеке.

— Это ему миной рассадило, — объяснила Роза, накрывая на стол: поставила три стакана, порезала хлеб и подвинула большую солонку с желтоватой солью. Швец достал из-за пазухи бутылку водки и плитку шоколада «У лукоморья дуб зеленый». Роза налила себе стакан водки, выпила по-мужски, резко запрокинув голову;

напудренное, дряблое лицо ее покраснело; она взяла шоколад со стола и переложила на комод: «Оставим детям, они до сладкого любители». Потом деловито поинтересовалась:

— Вы меня оба будете или безногий не может?

— Оба, оба! — Швец развеселился. — Безногий может, будь спокойна.

— На широкой ляжем или будете переходить ко мне по одному?

— По одному, — сказал Швец. — Чтоб в движеньях не смущаться.

Мы с ним совсем пьяны, рассказываем Розе анекдоты, она просит нас говорить потише, чтоб не услыхали соседи. Потом, рассердившись внезапно чему-то, предупредила, что с каждого берет по тридцатке. Мы легко согласились, и она начала стелить постели.

— Чего сюда приехали-то? — спросила она. — В командировку?

— В тюрьму, на свиданку к родным, — браво ответил Швец.

— Эх-хе-хе, — вздохнула женщина, взмахнув залатанной простыней, — вам хорошо, у вас хоть надежда есть, что из тюрьмы вернутся, а у меня и этого нет…

— Что, муж погиб в боях за нашу советскую

родину? — деловито поинтересовался Швец, расстегивая китель.

— Да нет, — ответила Роза, — я б тогда на детишек пенсию получала. Он к молодой переметнулся, а от молодых не вертаются, это не тюрьма. Вот теперь и кручусь: днем в гараже, а ночью на вокзале.

— И — давно?

— Через полгода, как ушел, и начала. Сначала-то думала его вернуть добром — начальству писала, к знахарке ходила… А он не дрогнул… Ну и пошло…

— Заработок маленький? — поинтересовался Швец.

— Да нет, — задумчиво ответила женщина, присев на краешек стула, — можно б прожить… Детишек профсоюз в детсад определил… Только липли ко мне мужики, да и сама не каменная. А с горя баба по первому делу мстит, а уж потом начинает выть, когда дров полон воз наломала… Отомстишь, а ведь аборт запрещен, огромных денег стоит, где взять? А если прихватят — тюрьма… С кем дети останутся? Вот и пошло-поехало…

Она достала из комода старенький патефон, поставила пластинку, и хриплый голос запел, выговаривая слова не по-русски:

— Шпи, шеншчин много на швете, шпи, твое сэрдцэ тошкуэт…

Роза сняла платье, пояснив:

— Надо, чтоб все было по-хорошему, с музыкой. Я и потанцевать могу, если хотите.

— Не надо. Баловство это. Нескромно, — отрезал Швец и попросил меня: — А ну подними на кровать, я сам не заберусь.

Он отстегнул лямки, которыми притягивал туловище к подшипниковой платформе, я взял его на руки и положил на кровать. Щеки у него были, как у моего старика, — колючие и морщинистые.

Роза потушила свет, выпила еще полстакана водки, остаток спрятала в шкаф, заперла на ключ и легла к Швецу. Он что-то стал шептать ей на ухо. Я устроился на второй койке. В окне металась ветка тополя, ветер раскачивал ее, и было в этом что-то тревожное и безнадежное, словно прощание.

— Какой же ты маленький, — ласково засмеялась Роза, — как ребеночек.

— Тише ты, — сказал Швец.

— Бородой не щекочись, — шепнула Роза. — Я не могу, если смешно.

— Ну вот! — Швец рассердился. — Молча полежать не можешь?! Это тебе кровать, а не лига

наций! Болтаешь языком, болтаешь, охоту отбиваешь.

Я отвернулся к стенке. Прямо на меня — в упор — смотрел с фото бывший муж Розы с подбритыми бровями. На стене по-прежнему металась тень от ветки тополя; с Волги резкими порывами задувал северный ветер.

Я проснулся от того, что меня теребили за плечо. Надо мной стояла Роза:

— Проспали! Подымайся, мне на работу пора. Черт безногий, спать всю ночь не давал, и ты еще храпел. Все равно тридцатку плати. Или пусть он вносит, я не виновата.

…Мы тихо вышли из комнаты. Я нес Швеца на руках, чтоб он не будил соседей своими жужжалками. Лицо его было отекшим и старческим. Он не смотрел на меня, дышал тяжело, а лоб его был прорезан морщинами так, словно он решал сейчас для себя самую важную жизненную задачу.

Роза подвела нас к автобусной остановке. Швец с ней прощаться не стал; она грустно усмехнулась:

— Все так… Ночью — «милая», а утром мимо смотрят и рот кривят.

— Не сердись, — сказал я.

— А я и не сержусь. Счастливо вам, горемыки…

Она села в автобус и уехала.

— Сука, — пробормотал Швец.

— Зря, — сказал я.

— Нет, не зря! Все от них, от баб! А я не просто сука, я предатель, вот кто я.

Он съехал на мостовую и покатил к постовому милиционеру, который одиноко стоял на тумбе посреди площади. Я пошел следом за ним. Милиционер откозырял безногому полковнику.

— Где тут областное управление? — спросил Швец.

Милиционер снова козырнул и подробно объяснил, как туда добраться.

И мы поехали к подполковнику Малову, от которого зависело, получим мы свидание или нет. Ярославль еще спал. Небо было серым и низким. Лето сломалось, шла осень.

...Константина ввели в камеру, разделенную решеткой и частой сеткой, первым; моего отца внесли на руках два здоровенных зэка — он дрожал, словно в ознобе, ноги свисали, будто ватные.

— Сынок, — обсмотрев меня, жарко зашептал он, — пиши товарищу Сталину, одна надежда: его обманывают враги!

Младший лейтенант Сургучев, ходивший взад-

вперед по узенькому проходу между решеткой и сеткой, кашлянул:

— Без фамилий и подробностей, иначе прекращу свидание!

Константин Швец усмехнулся, погладив моего старика по седой шевелюре:

— Папа, официально меня осудили за то, что я требовал напечатать письмо Ленина к Съезду… Он ведь предлагал сместить с поста генсека партии Сталина…

— Разговоры! — испуганно воскликнул младший лейтенант Сургучев.

— Какое письмо?! — закричал полковник Швец. — Это клевета врагов народа, Костенька! Ты не смеешь верить вздору. Товарищ Сталин — самый близкий друг и соратник Ильича!

Отец потянулся ко мне:

— Сынок, родной, запомни: если ты сможешь передать письмо Иосифу Виссарионовичу, меня освободят завтра же!

Константин Швец посмотрел на моего старика с горьким состраданием и снова погладил его по всклокоченной седой шевелюре тонкими, прозрачными пальцами.

— Ты приходил в мой институт, папа? — спросил Константин.

— Да, — ответил Швец.

— Ты говорил, что я тайком читаю вражеские, клеветнические книги типа «Десять дней, которые потрясли мир»?

— Да, говорил, — отчеканил Швец. — Я никогда ничего не таил от товарищей, только они и могли б помочь тебе в беде.

— Вот они и помогли, — усмехнулся Константин. — Написали с твоих слов, что я занимаюсь антисоветской пропагандой, статья пятьдесят восемь, все как надо…

…Той же ночью полковник Швец поджужжал на своей каталке к краю платформы и бросился под товарняк; я похоронил то, что осталось от Швеца, вернулся в Москву и написал письмо товарищу Сталину о несправедливом аресте отца — двадцатое по счету; воистину, «двадцать писем к другу».

25

...«Наши достижения» — так называлась выставка, организованная Серго Орджоникидзе в Политехническом музее в преддверии Семнадцатого съезда, того, который был назван «Съездом Победителей», — начало тридцать четвертого...

Серго гордился этой выставкой, считал своим детищем, приезжал туда и ранним утром и ночью, помогал устроителям добрым словом и делом.

Сейчас, когда история гибели Серго открывается все явственнее, начинаешь по-новому анализировать тот глубинный смысл, который Орджоникидзе вкладывал в ее создание: это была, по его замыслу, выставка примирения в партии: несмотря на все споры и оппозиции (а может быть, в чем-то и благодаря им), достижения промышленности Страны Советов (кроме ситуации в деревне — по-прежнему трагической) стали очевидны.

Именно поэтому на съезде — по его предложению — будут выступать не только те, кто всегда бездумно шел за большинством, но и Бухарин, Каменев, Зиновьев...

(Он, Серго, не голосовал за арест и ссылку Троцкого в Алма-Ату, за его выдворение в Турцию — на этом настояли Рыков и Ворошилов.

Он, Серго, — после того как из Политбюро был изгнан Бухарин, — взял его к себе в Наркомат тяжелого машиностроения, Наркомтяж; в заместители пригласил старых и верных друзей, бывших оппозиционеров Юрия Пятакова и Леонида Серебрякова — он стал начальником транспорта и автомобилестроения; руководителем Кузбасса назначил бывшего троцкиста Шестова.)

Эта выставка, таким образом, была определенного рода намеком Сталину, *политическим* призывом к консолидации; хватит мстить тем, кто отстаивал свою точку зрения; разоружились; от платформы отказались, работают, не щадя сил, словом, время войне и время миру, воистину.

Серго конечно же не мог забыть ленинскую школу в Лонжюмо, занятия с блестящими учителями — Каменевым и Зиновьевым, завязавшуюся там, в Париже, дружбу с учениками — большинство были объявлены оппозиционерами в конце двадцатых; отношения с ними не прерывал, пытался убеждать, горячился, отстаивая свою правоту, но никогда не обижал грубым словом или пренебрежительным невниманием к дово-

дам идейных противников.

…Судя по тому, что организаторов выставки (одним из них был мой отец) награждал он, Серго, — премиями, а не ЦИК — орденами, Сталин понял намек и отнесся к нему по-своему: после июльских событий тридцать четвертого в Германии, когда Гитлер уничтожил своих ближайших друзей-ветеранов, начал готовить собственную операцию — убийство Кирова; лучшего повода для развязывания террора не найти, опыт фюрера свидетельствовал об этом со всей очевидностью…

Через шестнадцать дней после убийства Сергея Мироновича были арестованы Каменев, Зиновьев, тысячи бывших оппозиционеров — члены партии с начала века, ветераны.

Еще через шестнадцать месяцев они, оклеветав себя и оговорив друг друга, были расстреляны.

Вскоре после этой трагедии были одновременно арестованы все заместители Серго, его ближайшие соратники, — истинные авторы «*наших достижений*».

Сталин дал Серго честное слово, что Пятаков и его товарищи не будут расстреляны, если добровольно *раскроют* платформу современного троцкизма, помогут стране в ее противостоянии

фашизму, — во имя Партии надо уметь жертвовать постами и привилегиями, будут работать на дачах, писать мемуары.

Пятаков согласился «поработать на партию».

…Через семь часов после вынесения приговора все близкие к Серго коммунисты, обвиненные в шпионаже и вредительстве, были убиты выстрелами в висок.

После этого коварства, потрясшего Серго, он начал готовить свое выступление на февральском Пленуме ЦК: он теперь до конца понял, что если не сказать всей правды, то делу Ленина будет нанесен такой удар, который поставит вопрос о жизни и смерти самой идеи социализма. Поскольку Сталин знал все обо всех, особенно о тех, кто был *самим собой,* Серго, работавший над обвинительной речью против террора, был убит — по прямому указанию Сталина.

Сразу же после торжественных похорон, проникновенных речей, траура и показных слез Сталин жестоко отомстил Серго за его наивную честность и несгибаемое благородство…

Проанализируем его выступления на страшном февральско-мартовском Пленуме, открывшем полосу тотального террора.

Итак, выступление Сталина:

— Вредительская и диверсионно-шпионская работа задела все или почти все наши организации, как *хозяйственные,* так и административные, и партийные… (Обратите внимание на последовательность перечисления организаций. — *Ю. С.*) Некоторые наши *руководящие* товарищи не только не сумели разглядеть настоящее лицо вредителей и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко *сами* содействовали *продвижению* агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты.

(Именно Серго *продвигал* Бухарина, Сокольникова, Тухачевского, Серебрякова, Пятакова. — *Ю. С.)*

Видимо, Сталин опасался, что Орджоникидзе заранее написал вариант письма Пленуму и отдал его на сохранение кому-то из *своих* — для публичного оглашения. Если такое случится, если кто-то из сидящих в зале решится зачитать последнее слово Орджоникидзе — будет уже поздно. Потому-то Сталин заранее объяснил и про «беспечную доверчивость», и про «продвижение на ответственные посты иностранных агентов».

Сталин продолжал:

— Можно ли утверждать, что не было у нас

предостерегающих сигналов? Нет, нельзя этого утверждать. В «Закрытом письме ЦК» от 18 января 1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова сказано: «Надо покончить с оппортунистическим благодушием… Оно является отрыжкой *правого* уклона». (Вот, оказывается, когда Сталин начал закладывать фугас под Бухарина — еще за два года до ареста! — *Ю. С.*) В своем «Закрытом письме от 29 июля 1936 года», — продолжает он, — по поводу шпионско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока ЦК вновь призывал: «Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован…»

(А это уже прямое обвинение Серго: он, Орджоникидзе, *не внял*, не отдал на заклание своих друзей Пятакова, Бухарина, Серебрякова, Сокольникова, Радека, окружил себя врагами народа, *не желал* их распознавать, что доказал закончившийся в январе процесс над его ближайшими помощниками и друзьями.)

Сталин:

— Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, каким он был семь-восемь

лет назад (семь-восемь лет назад Сталин говорил прямо противоположное этому. — *Ю. С.*). Троцкизм превратился в оголтелую банду шпионов и убийц… Что такое политическое течение в рабочем классе? Это такая группа или партия, которая не прячет и не может прятать своих взглядов от рабочего класса, а, наоборот, пропагандирует свои взгляды открыто и честно…

Хочу привести выдержку из стенограммы XV съезда, когда лидеры оппозиции еще пытались отстаивать свои взгляды открыто и честно:

«Каменев. Товарищи, я выхожу на эту трибуну с единственной целью — найти путь примирения оппозиции с партией. *(Голоса:* “Ложь, поздно”. *Движение в зале.)* Оппозиция представляет меньшинство в партии. Она, конечно, никаких условий со своей стороны ставить партии не может. *(Движение в зале.)* После жестокой, упорной, резкой борьбы за свои взгляды мы выбрали путь — целиком и полностью подчиниться партии. Стать на этот путь для нас — значит подчиниться всем решениям съезда, как бы тяжелы они для нас ни были. *(Голос:* “Формально!”, “Никто не поверит”.)

Но если бы к этому безусловному и полному подчинению всем решениям съезда, к полно-

му прекращению, к полной ликвидации нами всякой фракционной борьбы во всех формах и к роспуску фракционных организаций, если бы мы к этому прибавили… *(Шум, голоса:* “Партия ликвидирует, а не вы”. *Голоса:* “Вы давно это говорите!”, “Скажите насчет термидора!”)… если бы мы к этому прибавили отречение от взглядов — это, по нашему мнению, было бы не по-большевистски. Это требование, товарищи, отречения от взглядов никогда в нашей партии не выставлялось. Если бы с нашей стороны было отречение от взглядов, которые мы защищали, неделю или две недели тому назад, то это было бы лицемерием, вы бы нам не поверили. Мы думаем, что наша критика, которую мы обязуемся проводить в строгих рамках устава партии, она еще пригодится партии… *(Голоса:* “Опоздали!”, “Теперь надо на колени стать перед партией”.)… тем более, товарищи, что в ряде вопросов наши взгляды получили подтверждение в жизни, а в ряде случаев партия в той или другой мере усвоила их…

Требовать отказа, отречения от взглядов — это вещь явно невыполнимая. Я возьму еще только один пример, имеющий совершенно злободневное значение…

Финьковский. Когда ты был искренним: когда с Троцким дрался или теперь? В какой ты шкуре? Скажи это сейчас перед съездом, скажи здесь перед всеми! Стыда нет перед съездом!

Каменев. Наши единомышленники во время дискуссии всюду открыто выступали в ячейках в защиту нашей платформы. Они, товарищи, вели себя, — вы можете находить их взгляды неправильными, можете думать, что они заблуждались, — но они вели себя как мужественные революционеры. *(Голоса:* "Позорно вели себя!", "Контрреволюционеры так поступают!", "Далеко не уедете с такими революционерами!", "Революцию против партии делаете!")

Сольц. И меньшевики защищают свои взгляды мужественно, сидели в тюрьме за них!

Голос. Защищали щеткой портрет Троцкого!

Каменев. Открыто защищали свои взгляды…

Голос. Среди спекулянтов демагогией занимались!

Каменев. И ставили эти взгляды выше своего положения, готовы были пожертвовать своим положением ради того, что вы считаете неправильным, что вы, может быть, осудите, но что они считали правильным, не считаясь с тем, что их ожидает. Зачем вам это отрицать, этого нельзя

отрицать!

Голос. Это разложившиеся одиночки!

Каменев. Рабочий класс хочет примирения. Несмотря на все разногласия, несмотря на всю остроту борьбы, у нас есть с вами общий интерес — это сохранение единства партии как основного рычага диктатуры пролетариата *(Шум.)*

Голос. Оно сохранено!

Голос. Пролетарии сохраняют его!

Голос. Так же вы говорили на XIV съезде!

Каменев. Это можно сделать на основе этого подчинения решениям съезда, которое мы вам гарантируем. *(Шум.)*

Голос. Веры нет!

Каменев. Это должно сделать во имя интересов того дела, которое начал Ленин. *(Шум.)* И я выражаю твердую уверенность, что съезд, несмотря на все, это сделает. *(Шум.)»*

…А вот в каких условиях проходило выступление ветерана партии Г. Евдокимова:

— Теперь рабочие, беднейшие крестьяне и середняки из тех тезисов, которые опубликованы в газетах, по крайней мере знают, о чем на самом деле в настоящее время идет спор… *(Голос: «*Они осудили эти тезисы!» *Сильный шум.)* Что же хочет

на самом деле рабочий класс? Каждая из спорящих сторон *(Скрыпник: «*Какая там сторона?!»), естественно, утверждает, что рабочий класс *(сильный шум)* хочет именно того, чего хочет данная спорящая сторона. *(Сильный шум.)* Например, здесь, на съезде, утверждают, что рабочие требуют нашего исключения из партии. *(Голоса:* «Правильно! Правильно!» *Шум, смех.)* Неправда. *(Шум.)* Немного найдется таких рабочих, которые поверят, что такие вожди партии, как Зиновьев, Каменев и Троцкий *(смех, сильный шум. Голос:* «Именно такие вожди!»), могут являться врагами рабочего класса, партии и советской власти. *(Сильный шум. Голос:* «Плеханов тоже был вождем, да съехал!») Товарищ Ленин учил нас смотреть действительности прямо в глаза. *(Голос:* «Не спекулируйте Лениным!») Чего же на самом деле хочет рабочий класс? *(Голос:* «Чтобы вас исключить!») Не последним вопросом, интересующим самые широкие рабочие массы, является вопрос о возможности и об опасности раскола ВКП. *(Шум, смех. Голоса:* «Слышали!») Самые широкие рабочие массы, из 100 человек 99, хотят прежде всего, чтобы было сохранено единство нашей партии. *(Сильный шум. Голоса:* «Без вас!» *Голос: «*Оно есть и останется!») Но наряду с этим

рабочие, конечно, хотят, чтобы внутри партии давали говорить и большинству, и меньшинству. *(Сильный шум. Голос:* «Это меньшевистское меньшинство!») Что, скажете, неправда? Нет, правда. *(Шум, голоса:* «Ложь!» *Голос:* «Меньшевистской свободы слова не дадим!») Рабочие хотят слушать не только одну сторону, а обе стороны. *(Голос:* «Кроме партии, не может быть других сторон!»)

…Вот так — «честно и открыто», как призывал в 1937 году Сталин, — ленинцы с дореволюционным стажем, герои революции «пропагандировали» свои взгляды в 1927 году. В 1936 году их бросили за решетку.

«Сталин. На судебном процессе в 1936 году Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы… На судебном процессе в 1937 году Пятаков, Радек и Сокольников признали наличие у них политической платформы. Но они развернули ее не для того, чтобы призвать народ к поддержке троцкистской платформы, а для того, чтобы проклясть ее».

…Будучи «выдающимся конструктором кровавых *игр»,* Сталин умел закладывать потаенный смысл не только в текст, но и в сами названия

отдельных подглавок его выступлений. Одну из таких подглавок он и обратил прямо против Орджоникидзе, обозначив ее: «Теневые стороны хозяйственных успехов».

«Сталин. Наши партийные товарищи за последние годы (то есть когда Серго перевели из аппарата ЦК и ЦКК в Наркомтяж. — *Ю. С.*) были до крайности увлечены хозяйственными успехами — и забыли обо всем остальном… Будучи увлечены хозяйственными успехами, они стали видеть в этом начало и конец всего… И как следствие — появляется политическая слепота».

…У любого непредубежденного читателя должны возникнуть по крайней мере два вопроса по прочтении этого сталинского пассажа.

Первое: как можно было достичь хозяйственных успехов — а они, по словам Сталина, «действительно огромны», — если всей хозяйственной работой страны руководили шпионы, вредители и диверсанты?

Либо успехов не было, либо народным хозяйством руководили настоящие большевики-ленинцы, а никакие не «троцкистские диверсанты».

Второе: можно ли упрекать руководителей народного хозяйства в том, что для них успехи дела

«были началом и концом всего»? Ведь именно успех дела и определяет истинного ленинца, а никак не трибунная болтовня.

«Сталин. Успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением — порождает настроения беспечности и самодовольства: “Странные люди сидят там в Москве, в ЦК: выдумывают какие-то вопросы, толкуют о *каком-то* вредительстве, сами не спят, другим спать не дают”».

Сталин невольно — и это кажется мне весьма странным, ведь такой опытный интриган, — подставился: тут-то бы ему и рассказать о вредительстве, привести примеры, выложить на стол факты. Почему же он не сделал этого? Где доказательства вредительства? Каковы суммы ущерба, причиненного народному хозяйству «диверсантами» с дореволюционным партийным стажем, прошедшими тюрьмы, каторги, ссылки?

Фактов не было.

Сталин нагнетал истерию подозрительности, без которой невозможен Большой Террор.

Впрочем, он аккуратно страхуется, обязывая соответствующие службы «принять необходимые меры, чтобы наши товарищи имели возможность знакомиться с целями и задачами, с практикой и

техникой вредительско-диверсионной работы»…

А ну бы самому — дать хоть один пример! В предыдущих выступлениях Сталин был горазд на примеры, подтверждающие правильность его слов… Нет, он знал правду, он — тогда еще — допускал, что кто-либо из ветеранов мог обвинить его в подтасовке и *лжи*, поэтому «факты» он требует у «служб» — есть на кого свалить вину в случае, если его ложь будет раскрыта.

(Друзья-врачи рассказывали мне — это, впрочем, надо перепроверять самым тщательным образом, — что психиатр Бехтерев, приглашенный на консилиум к Сталину в 1927 году, выходя из кабинета, бросил одному из своих помощников: «Паранойя».

Вскорости Бехтерев и его жена умерли…

В одной из моих книг герой предлагает тщательное исследовать возможного лидера — не является ли он психопатом; относилось это к иной стране, иному лидеру, но постановка такого рода вопроса никогда не потеряет актуальности — в том случае, если речь идет о государстве, где попрана демократия.)

«Настоящий вредитель, — аккуратно замечает Сталин, — должен время от времени показывать успехи в своей работе… Я думаю, вопрос этот ясен

и не нуждается в дальнейших разъяснениях… Теория о “систематическом выполнении хозяйственных планов” есть теория, выгодная для вредителей»…

Я убежден, настало время напечатать стенограмму этого Пленума ЦК. Иначе попросту невозможно понять происходившее. Что это — массовый психоз, объявление войны логике, памяти, человечности, чувству самосохранения, наконец? Что там происходило?! Отчего логическому безумию не был противопоставлен здравый смысл?!

Как можно было генеральному секретарю и «творцу нашего счастья» всерьез утверждать, что «под шумок *болтовни* о стахановском движении» *некто* отводит «удар от вредителей»?! Кто именно? Серго? Кто *болтал* о стахановцах? Как можно было столь пренебрежительно, по-барски, говорить о качественно новом почине, у истоков которого стоял именно Орджоникидзе?!

Порою, однако, меня не оставляло ощущение, что с речью выступал действительно тяжелобольной человек.

Судите сами: Сталин, например, утверждал, что «необходимо разбить и отбросить гнилую теорию, что у троцкистских вредителей нет будто бы

больше резервов, что они добирают будто бы свои последние кадры. Это неверно, товарищи. Такую теорию могли выдумать только наивные люди».

Кто эти «наивные люди»? Серго?

«Сталин. У троцкистских вредителей есть свои резервы. Они состоят прежде всего из остатков разбитых эксплуататорских классов в СССР».

…Стоит только почитать Троцкого (а его надо б издать — объективности ради), чтобы стало ясно: никто из «эксплуататоров», тем более разбитых, за ним не пошел бы! Как они могли пойти за автором «перманентной революции» и военно-бюрократического, «приказного» социализма?!

Словно бы забыв о том, что он говорил в докладе, Сталин в своем заключительном слове утверждает прямо противоположное: «Вспомните *последнюю (!)* дискуссию в нашей партии в 1927 году… Из 854 тысяч членов партии голосовало 730 тысяч… Из них за большевиков голосовало 724 тысячи членов партии, за троцкистов — 4 тысячи членов партии, то есть около полпроцента… Вот вам вся сила господ троцкистов. Добавьте к этому то, что многие из этого числа разочаровались в троцкизме и отошли от него, и вы получите представление о ничтожности троцкистских сил…»

После этого взаимоисключающего противоречия я решил, что действительно имею дело с явным образчиком паранойи.

Затем, однако, посидев над текстом сталинской речи и заключительного слова еще и еще раз, я понял, что это не паранойя (или, точнее, не только паранойя).

Судите сами: в заключительном слове, произнесенном генсеком уже после того, как Бухарина увезли из зала заседаний в тюрьму, не лишив даже (хотя бы для порядка) выборного звания члена ЦИКа, Сталин утверждает: «Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние диверсанты, каким бы флагом они ни прикрывались, троцкистским или *бухаринским,* давно уже перестали быть политическим течением…»

Бухарин отвергал все обвинения, его, тем не менее, отправляют в тюрьму, до суда еще долгих тринадцать месяцев, а Сталин уже называет его «диверсантом». Вот она, бесовская вседозволенность, вот он, призыв к погрому!

Дальше — еще страшнее. И — логичней! Как и в конце двадцатых, когда Сталин натравливал Зиновьева на Бухарина, так и в тридцать седьмом он спускает на Николая Ивановича троцкистов. Вот как он это делает: «Надо ли бить не только

действительных троцкистов, но и тех, кто когда-то колебался в сторону троцкизма? — спрашивает Сталин собравшихся. — Тех, которые когда-то имели случай пройти по той улице, по которой когда-то проходил тот или иной троцкист? По крайней мере такие голоса раздавались здесь, на Пленуме… Нельзя всех стричь под одну гребенку… Среди наших ответственных товарищей имеется некоторое количество бывших троцкистов, которые давно уже отошли от троцкизма и ведут борьбу троцкизмом не *хуже*, а лучше некоторых наших уважаемых товарищей, не имевших *случая* колебаться в сторону троцкизма…»

А затем Сталин раскрывает карты — против кого обращены все его туманные намеки, когда речь идет о «хозяйственниках», об их «достижениях»: «Мы, члены ЦК, обсуждали вопрос о положении в Донбассе. Проект мероприятий, представленный Наркомтяжем (читай, Орджоникидзе. — *Ю. С.*), был явно неудовлетворительный. Трижды возвращали проект в Наркомтяж. Трижды получали от Наркомтяжа все разные проекты. И все же нельзя было признать их удовлетворительными. Наконец, мы решили вызвать из Донбасса нескольких рабочих и рядовых хозяйственни-

ков… И все мы, члены ЦК, были вынуждены признать, что только они, эти маленькие люди, сумели подсказать нам правильное решение…»

Дальше следует пропагандистский залп о «демократии», свободе выборов, тайном голосовании, отчетности перед народом.

Все взвешено и скалькулировано.

…Готовя тотальное уничтожение ленинской гвардии, Сталин высказал следующие директивные указания на этом зловещем Пленуме:

Первое. «Необходимо предложить нашим партработникам, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских организаций, подобрать себе по два партработника, способных быть их действительными заместителями».

(Таким образом, по его *модели,* организованный террор должен срезать три слоя *Памяти. — Ю. С.*)

Второе. «Для партобучения секретарей ячеек необходимо создать в каждом областном центре четырехмесячные “партийные курсы”». (Этих тоже готовили к расстрелу.)

Третье. «Для идеологической *переподготовки* секретарей горкомов необходимо создать при ЦК шестимесячные курсы по “Истории и политике партии”».

Четвертое. «Необходимо создать при ЦК шестимесячное “Совещание по вопросам внутренней и международной политики”. Сюда надо направлять первых секретарей областных и краевых организаций и ЦК национальных коммунистических партий. Эти товарищи должны дать не *одну*, а несколько смен, *могущих заменить руководителей* Центрального Комитета нашей партии. Это необходимо, и это должно быть сделано».

Члены Пленума ЦК, таким образом, слушали план, по которому все они должны быть уничтожены.

Неужели никто не понял этого?!

А если поняли — отчего бездействовали? Паралич воли? Страх? «Авось, пройдет мимо меня»? Не прошло. Почти все участники этого Пленума были затем расстреляны.

…Все те, кто прошел «Курсы» и «Совещания» (и после этого остался в живых), бешено аплодировали появлению фильма «Ленин в Октябре», который следовало бы назвать «Сталин в Октябре».

Ни Орджоникидзе, ни Свердлов — не говоря уже о Бухарине, Троцком, Антонове-Овсеенко, Подвойском, Раскольникове, Бубнове — в фильме не были упомянуты. Термидор стал свершив-

шимся фактом — партию за эти месяцы успели *переучить*.

В феврале 1937 года Сталин торопился: он должен был получить к Октябрю, к двадцатилетию Революции, новую версию Истории, которая бы отныне сделалась «Катехизисом» для народа.

Что ж, судя по тому, как много людей и поныне вздыхают о «Хозяине», он преуспел и в этом.

Трагедия еще не окончена. Она продолжается.

В наши сердца должен постоянно стучать пепел тех, кто пал жертвой антиленинского переворота.

Если нет — прощения нам не будет: новые любители «острых блюд» уготовят трагедию пострашнее тридцать седьмого — кулинары кровавых пиршеств ждут своего часа.

26. Судьба солдата в Америке

В тот день я продал в букинистическом «Орлеанскую девственницу» с озорными иллюстрациями. За два тома уплатили триста рублей[8]. Сто я отложил на жизнь, а остальные спрятал во внутренний карман пиджака, чтобы перевести старику во Владимирский политический централ.

После букинистического я поехал к моему другу Леве Кочаряну. Он лежал на тахте и читал книгу Юлиуса Фучика. Тогда эта книга называлась «Слово перед казнью», потому что кому-то наверху «Репортаж с петлей на шее» показался натуралистическим и рекламным.

Я поднял Леву, и мы пошли в «Шары» — так все называли маленькое кафе в проезде МХАТа. Мы тогда выработали особую походку — точь-в-точь копия с американского актера Джима Кегни, который играл в фильме «Судьба солдата в Америке», — бутлегера и драчуна. Перед гибелью он совершил массу всяческих подвигов и добрых дел. У него был коронный удар: резкий снизу

---

[8] Сноски: 8
Ныне соответствуют тридцати рублям.

слева в скулу. Мы часто копировали этот удар: левой коротко снизу. Противник падал на затылок, и звук при падении был всегда одинаковым: словно били об асфальт старую керамику.

Уже после того, как эпидемия «Судьбы солдата» прошла, мы узнали, что настоящее название фильма было «Бурное двадцатилетие», но кинопрокат решил — и правильно решил конечно же — что народу будет непонятно, про какое «бурное двадцатилетие» идет речь, возможны аллюзии, и поэтому появилось всем понятное название, и сначала на фильм никто не шел, потому что думали, что там про мучения безработных и про то, как угнетают негров, и только после того, как его посмотрело человек сто из нашего института, началась настоящая эпидемия, и смотрели мы эту картину раз по десять, не меньше.

В «Шарах» мы выпили с Левой по стакану водки, закусили ирисками и, сглотнув слюну, поглядели на тарелки с сардельками и темно-бурой тушеной капустой, которые стояли под стеклом на витрине.

— Поедем на Бауманскую, — предложил Лева, — там сегодня в церкви танцы.

— Поедем, — согласился я.

И мы поехали.

Это было двенадцатого апреля 1953 года. Сталин уже умер. Берия стал первым заместителем Председателя Совета Министров и министром внутренних дел, а врачи Кремлевской больницы, лечившие раньше правительство, по-прежнему считались агентами империализма и слугами тайной еврейской организации «Джойнт» — кровавыми убийцами в белых халатах.

...На Бауманской, в маленьком переулочке, который вел от рынка вниз к Почтовой улице, в глубине двора стояла старая церковь. Она была приземистой и какой-то уютно-карапузистой, красного цвета, с громадными решетками на окнах. Церковь эту закрыли давно, когда все храмы Москвы закрывали по указанию товарищей Сталина, Молотова и Кагановича, вождя столичных пролетариев. Сначала в этой церквушке устроили овощной склад, а после передали спортивному обществу «Спартак» для нужд секции боксеров и тяжелоатлетов. Три раза в неделю мы там тренировались на ринге у Виталия Островерхова, а по субботам устраивали музыкальные вечера. Внизу, в зале, где некогда звучали проповеди, теперь танцевали мальчики с обрубленными челками «а ля Нерон», юные работницы ткацкой фабрики с толстыми, по-спортивному вывернутыми икра-

ми, начинающие штангисты в китайских кедах и местные голубятники. Оркестр Миши Волоха располагался на том месте, где раньше были Царские врата. Джазисты в белых рубашках и черных галстуках самозабвенно играли попурри из «Судьбы солдата», а на хорах, куда сваливали весь инвентарь, стояли два дежурных оперативника — на случай чего-либо непредвиденного.

Мы шли к церкви мимо Бауманского колхозного рынка. (Вообще-то дикость — именем революционера называть базар!) Весеннее небо было предгрозовым. Над городом висела громадная черная туча. Ее края были багровые от зашедшего солнца, и поэтому казалось, что над городом реет черно-красный траурный стяг.

— Ринемся, — предложил Лева, — а то намокнем, складки сойдут, коленки выпрут.

— Дождя не будет, — сказал я, — ветер сильный.

Но дождь все же хлестанул по улице белой косой линией. Заухал гром, небо погасло, потом зазеленело, высветилось, треснуло пополам голубой линией — и начался весенний ливень. Мы спрятались в подворотне. Мутный поток несся мимо нас вдоль по тротуару и ревел, низвергаясь водопадом через тюремные решетки

сточной канализации. Дождь гремел, ярился и неистовствовал. Молнии высверкивали, пугая темноту неба отчетливой электрической безысходностью.

Откуда-то из глубины жуткого черного двора, словно Мельник из оперы Даргомыжского, вышел дед с маленьким котенком под мышкой. Котенок тихо мяукал. Дед ласково гладил его за ухом и мечтательно улыбался.

— Куда, старик? — спросил Лева. — Искать русалок?

— Вывелись они теперь, — ответил дед с услужливой готовностью, — одни гниды остались. А иду я этого пса топить, благо луж много.

— Какой же он пес? Он кот.

— Если б… Он — кошка. Вырастет, мяукать станет, кавалеров требовать, сон бередить.

— Перспективно смотришь, — сказал Лева, — трудно тебе, дед.

— Да уж нелегко.

— Давай котенка, — сказал Лева.

— Зачем?

— Заберем.

— Хрена. Плати пятерку. За так не отдам, за так лучше утоплю.

Я дал деду пятерку. Лева взял у старика котенка

и посадил его к себе на плечо.

— Мурлычет, — сказал Лева. — Очень щекотно.

Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Мы вышли из подворотни и стали спускаться к танцевальной церкви — оттуда уже доносились быстрые звуки джаза.

...Танцы пятьдесят третьего года! Дай бог, чтобы памятливый искусствовед смог исследовать те совершенно особые вечера, когда официально рекомендованные к исполнению «падеграсы» и «падэспани» соседствовали с запрещенными «буги-вуги», являющими собою апофеоз буржуазного разложения. Стоило видеть, как юные спартаковские физкультурники и пожилые голубятники с латунными фиксами вышагивали аристократические танцы восемнадцатого века, тянули мысочки и галантно приседали друг перед другом, словно маркизы в монархической Франции. Но едва только директор спортцеркви поднимался на хоры — выпить чаю в маленькой комнатушке вместе с оперативниками, — как джазисты, фанатики ритма и синкопа, ломали тянучий «падеграс», трубы начинали реветь, ухали саксофоны, и спортсмены с голубятниками бросались на своих подруг, весело и страстно перебрасывая их с руки на руку, а подруги смеялись

и румянились наивным и чистым весельем.

Трубач — горбоносый красавец в белой рубашке с узеньким, длинным галстуком, завязанным по тогдашней моде узелком величиной с ноготь, — подошел к микрофону, постучал по нему мизинцем и запел на ужасном английском песенку из «Судьбы солдата»:

– Кам ту ми, май меланколи бэби,
Кам ту ми энд донт би блю,
Смайл май хани дер,
Смайл антил вил би ин лав,
Ор элс шел би меланколи ту…

Зал стонал от восторга, Миша Волох врубил самодельный зеркальный прожектор, и по лицам танцующих побежали мертвенно-голубые блики. Теперь все танцевали медленно, нагнувшись над подругами плохо выведенными вопросительными знаками, чуть покачивая головами в такт танго, словно дрессированные лошади на манеже.

Видимо, почуяв неладное, начальник спортцеркви выскочил из комнатушки на хорах. Джазисты сразу же заметили его и, сломав ритм, затянули «падеграс». Спортсмены и голубятники немедленно перестроились, развернули подруг в

графские позиции и стали приседать перед ними, выворачивая ноги, как истые аристократы восемнадцатого века, в эпоху предреволюционной Франции. Директор церкви ушел, успокоенный, и джазисты снова перешли на «Судьбу солдата».

Мы протолкались с Левой поближе к сцене: там было раскрыто высокое стрельчатое зарешеченное окно. За этим раскрытым окном была черная, после ливня, рассветающая и расцветающая ночь. Котенок, который сидел у Левы на плече, смотрел в окно желтыми глазами и, часто жмурясь, устало мурлыкал.

— Как будешь танцевать? — спросил я Кочаряна.

— Ничего. Котенок не помешает.

В поисках девушек мы разошлись по залу: он налево, я направо. Я видел, как Лева проталкивался вдоль стены, а котенок сидел у него на плече — выгнувшись, подняв хвост трубой; все оборачивались и смеялись, а Лева, похожий на Мцыри, был бледен и невозмутим. Потом я нашел себе девушку и пригласил на «па-де-де». Она танцевала, не глядя на меня, отвернув лицо, лениво разглядывая отсыревшие стены церкви. Такой был в те годы стиль: танцевать молча, не глядя друг на друга, — очень плотно прижиматься, но

молчать и не замечать партнера. Девушка оказалась хорошо натренированной спортсменкой. Я понял это, потому что спина у нее на ощупь была гимнастическая: две горы, а посередине ложбинка.

— Если вы раз врежете, — сказал я девушке, — не поздоровится.

Она ничего не ответила, будто не слыхала.

— Вы очень крепкая, прямо стальная, — продолжал я осторожные ухаживания. Я тогда еще был неопытный, я полагал, что такие комплименты приятны девушке. А ей-то, даже чемпионке по толканию ядра, очень хочется чувствовать себя слабой подле мужчины. Ей обязательно надо быть уверенной в его превосходстве, иначе ничего путного не выйдет.

— Видимо, вы — баскетболистка? — прокашлявшись, спросил я. — Первый разряд? Или мастер?

— Можете не болтать? — сердито откликнулась девушка. — Танцевать трудно.

Я обнял ее еще крепче, она сразу же податливо прижалась ко мне, но голову отвернула чуть назад, будто кукла с резинкой вместо шеи. Я мог спокойно разглядывать ее профиль и даже часть затылка — так она отвернулась от меня. Но я не

успел ее толком разглядеть, потому что заметил в углу, возле двери, — оцинкованной, как в мясном магазине, — толпу, которая стремительно росла. А посередине толпы стоял Кочарян с отсутствующим взглядом. На плече у него сидел котенок, а два парня подталкивали Леву к выходу.

— Вы не умеете себя вести, — говорил один. — Додумались: котенка принести на танцы!

— Распоясались тут! — говорил второй.

Я извинился перед девушкой и протолкался к Леве.

— В чем дело? — спросил я.

— А вас не спрашивают! Отвалите-ка подобру-поздорову, — сказал первый парень, — и не хулиганьте в общественном месте!

— Кому мешает котенок? — холодно допытывался Лева. — У вас есть заявитель?

— Заявителя нет, но котенка вносить в общественное помещение не разрешается!

— Где это записано? — спросил я.

— Да! Где это записано? — оживился Лева. — В правилах это есть?

— Есть!

Толпа напряженно выжидала, когда выявится победитель, чтобы тут же поддержать его.

— Предъявите правила! — потребовал Лева.

— Хватит с ними валандаться! — сказал первый и, взял Леву за рукав, попросил: — Очистите помещение, гражданин.

— Не применяйте силу, — попросил Лева. — Вы не в Америке, а в Москве!

Мы часто пользовались этим приемом. Мы напоминали в таких сварах, что живем в демократической стране, а не в Америке и что у нас нельзя допускать произвол в отношении гражданина. Это многих отрезвляло, и драка не начиналась, и все мирно рассеивалось. Но в этот раз ничего не вышло — парни попались какие-то несознательные. Один из них ловко сорвал с Левиного плеча спящего котенка и швырнул его в оцинкованную дверь, котенок пронзительно закричал. Лева сделал короткое движение, точно, как Джим Кегни, и парень растянулся на полу с разбитым ртом — его губы стали ярко-пунцовыми, как у размалеванной проститутки.

Лева ринулся было к двери, где кричал котенок, но ему в ноги кинулся малолетка, и они упали возле сбитого парня. Началась свалка. Сбили и меня. Сквозь пальцы, прижатые к лицу, я какое-то мгновение близко видел трухлявый пол церкви, бело-красный кухонный кафель возле оцинкованной двери, чей-то полуботинок — зам-

ша с лаком — и котенка с желтыми глазами.

А потом я ослеп от боли, потому что мне наступили каблуком на кисть правой руки, — это был довольно распространенный прием шпаны, чтобы не позволить тебе драться: попробуй, ударь распухшими пальцами! Впрочем, Лева Кочарян умел продолжать схватку, даже если целая кодла прыгала прохарями и микропорками на кистях, — лишь бы подняться. Если он находил силы вскочить, то сразу, каким-то животным чувством определял пахана, прыгал на него, как футболист на мяч, летящий вдоль ворот, и наносил в падении страшный удар лбом в лицо; на какой-то миг оно делалось сахарно-белым, словно обмороженным, а уж потом превращалось в кровавое месиво. Не глядя на валявшегося пахана, Лева мгновенно поднимался, нацелившись на одного из малолеток; тот, как правило, пускался бежать. А если один дал деру, вся кодла развалится, потому что она сильна общностью, до первой трещины, и чтоб пахан стоял королем.

Лева умудрялся *отмахиваться* от самых грозных банд, потому что вел себя, как Джим Кегни: «Самое страшное, что может случиться, — *перо* в бок. А кто в наше время гарантирован от этого?»

Но здесь, в спортцеркви, Лева допустил ошиб-

ку: он не учел, что люди не простят ему такой разнузданности — котенка, видите ли, принес на танцы! Люди культурно отдыхают, а этот припер животное, надо ж так презирать общество?! Поэтому, повалив, его били по-черному, не оставляя шанса подняться. Если б вел себя, как все, не выдрючивался, поучили б сколько надо, раз заслужил, и — все. Но здесь был случай особый, высшее проявление индивидуализма, такое прощать нельзя, до добра не доведет Державу…

…А потом была милиция, трехчасовое составление протокола за нарушение общественного порядка, перенос Левы в машину «скорой помощи», потому что ему переломали три ребра и ключицу, а после — раннее утро, перезвон колоколов на Елоховском соборе и отчаяние, потому что двести рублей, отложенные для передачи отцу, пропали во время драки. Денег нет, Лева в больнице, никто не поможет достать две сотни, а в тюрьму разрешалось пересылать двести рублей раз в полгода и одно письмо в год, и если я завтра не перешлю деньги, отец останется без курева, маргарина и мыла, а завтра — последний срок, потом надо ждать еще шесть месяцев, во Владимирском изоляторе зорко следили, чтоб вражинам не было поблажек.

Я шел по рассветающему городу. На стендах уже расклеили утренние газеты. В передовице «Правды» сообщалось, что еврейские врачи-убийцы и отравители в белых халатах — профессора Виноградов, братья Коганы, Вовси — не были агентами тайной организации «Джойнт», а представляли цвет многонациональной советской медицины. Сообщалось также, что на самом-то деле «Джойнт» — это английское слово «объединенный», а народный артист Михоэлс — никакой не враг, а гордость советского народа. И еще в передовице говорилось, что бывший заместитель министра Рюмин грубо нарушал пролетарский интернационализм и социалистическую законность, — за это он освобожден от занимаемой должности и арестован.

…Вернувшись домой, я заметил в почтовом ящике конверт со знакомым штемпелем.

Я даже похолодел от внезапного чувства отчаянной радости. Наверняка на этот-то раз сообщают, что отец освобожден, что никакой он не член «запасного правого центра», а настоящий большевик, надо срочно ехать за ним во Владимир, — ходить старик не может, видимо, хотят, чтобы я привез его в свою комнату тихо и незаметно, зачем разжигать ненужные страсти,

даже в семье бывают ссоры и неприятности, а тут такая огромная страна, всякое могло случиться… Я вскрыл конверт; там был узенький листочек бумаги: «Ваша жалоба рассмотрена, отец осужден Особым совещанием правильно, оснований для пересмотра дела не имеется».

27

Среди многих откликов, которые пришли после публикации первой части «Ненаписанных романов», было письмо Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы командарма первого ранга.

В своей книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург пишет: «Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали литографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И.П. Белов. Он был очень возбужден; не обращая внимания на то, что кроме Мейерхольда в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной Коллегии Верховного Суда (Эренбург ошибался: Сталин *назначил* Белова, как и маршалов Блюхера, Егорова и Буденного, членами Особого Присутствия. — *Ю. С.).* Белов рассказывал: “Они вот так сидели — напротив нас. Уборевич смотрел мне в глаза…” Помню еще фразу Белова: “А завтра меня посадят на их место…” Потом он вдруг повернулся ко мне: “Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!” Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого — не помню, но

очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел, закрыв глаза, и походил на подстреленную птицу (Белова вскоре после этого арестовали)».

…Сижу в квартире Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы легендарного командарма; фотографии Ивана Панфиловича — усы, бородка, крутой лоб, невыразимо печальные глаза, по осанке и облику — потомственный аристократ.

— Он из мужиков, — замечает Александра Лаврентьевна, — из Псковской губернии, ныне эта часть отошла к Вологде… Аристократизм человека нарабатывается приобщением к знанию; Иван Панфилович был восхитительный читатель…

Сама она родилась в Питере, в семье мастера, столяра, речь ее именно петербуржская, очень много бесстрашного подтекста; постоянен юмор и горестное сострадание к людям.

Рядом с портретом комкора — уникальное фото Михаила Зощенко, родителей и сына, Виктора.

— С Зощенко мы давно дружили, это был совершенно невероятный человек, наш Мишечка… Помню, его куда-то не избрали на Первом съезде писателей; он пришел ко мне и совершенно серьезно сказал, что повесится — пусть потом плачут… «Сначала я подумал, что произошла

какая-то ошибка, — говорил он дрожащим голосом, — решил пойти в комнату, где отдыхал президиум; открыл дверь, а меня молодые люди аккуратненько под руки и в сторону — без специального пропуска никак нельзя. Я говорю, что, мол, я писатель Зощенко, а молодые люди отвечают, что это очень даже замечательно и книги они мои любят, но без специального пропуска запрещено… А я успел увидеть: там жены начальственных писателей в креслах сидят, ножку на ножку забросили, длинные папиросы курят и чирикают о чем-то веселом, смеются все время…» Я, конечно, рассказала об этом Ивану Панфиловичу; тот — к телефону, связался с Бухариным: «Военный округ, красноармейцы и командиры высоко чтут талант Михаила Зощенко, он должен быть избран, товарищ Бухарин, непременно должен быть избран, иначе это будет горькая несправедливость, нельзя обижать писателя, — если он настоящий писатель, то подобен ребенку: так же раним, и утешить его трудно, ссадина на всю жизнь…»

Бухарин был в крайне сложном положении на писательском съезде; в свое время Сталин попросил его написать статью против Есенина: «Я не имею на это права, Николай, — грузин… А

ты русский, до последней капельки русский… Мы окружены с тобою мелюзгой — только ты и я подобны Гималаям, нам и быть во всем вместе…»

Говоря это, Сталин уже знал, что Бухарина — так или иначе — уберет; Гималаи обозначают *единичность.* Логик, он не терпел двузначности. Понимая, что интеллектуалу Бухарину (интеллектуализм — это всегда множественность толкований, вариантность мышления, пренебрежение к формулировкам — с их теологической точностью, *Коля* не поймет затаенного смысла его фразы) трудно будет отказать ему в такой просьбе, тем более что Есенина в свое время поддержал Троцкий, свою статью о нем закончил словами: «Великий поэт умер. Да здравствует поэзия!»

В речи на писательском съезде Бухарин всячески поднимал Пастернака, словно бы оправдываясь за то, что клеймил Есенина «кулацким поэтом».

Сталину нужно было разбить Есенина словами Бухарина, ибо он страшился его, есенинской, вольницы и независимости; ему была необходима *позиция* Бухарина, потому что он понимал: Бухарин — выразитель и теоретик «крестьянской» концепции России; от столкновения двух

этих сил — поэтической и политической — функцию верховной силы получает он, Сталин.

Четыре года — с тридцатого по тридцать четвертый — Сталин жил в страхе: а вдруг *мужик*, не выдержав террора, поднимется? Вдруг страна заполыхает? Красная Армия — в массе своей крестьянская, станут ли стрелять в своих?

Нет. Не поднялись. *Снесли.*

Когда Бухарина вывели из Политбюро и Серго взял его к себе в Наркомтяжпром начальником научно-технического отдела, Ягода ежедневно сообщал Сталину обо всех, кто приходил к Николаю Ивановичу: в сухих сводках наблюдения рассказывалось, как принимала друзей опального лидера «Пеночка» (так Бухарин называл своего секретаря Августу Петровну Короткову). В свое время, молоденькой девушкой, она была отправлена — постановлением Реввоенсовета за подписью Яна Берзина — в Крым, для нелегальной работы в тылу Врангеля, потом помогала ветерану революционного движения Шелгунову, другу Ленина, ослепшему в тюрьме, после этого стала секретарем заведующего отделом пропаганды Коминтерна Белы Куна, а потом уже «Черныш», помощник Председателя ИККИ Коминтерна Бухарина Ефим Цетлин, один из пер-

вых членов ЦК КИМа, пригласил ее в секретариат Николая Ивановича.

«С ним я проработала вплоть до того дня, — рассказывала она мне, — пока Сталин не посадил Бухарина под домашний арест на “известинской” даче в Сходне».

Сталин не простил Бухарину той телеграммы, что он отправил — открытым текстом — летом тридцать шестого с Памира: просил не приводить в исполнение приговор над Каменевым, Зиновьевым и Иваном Никитовичем Смирновым; ненависть к нему после этого сделалась у Сталина давящей, постоянной, порою сладостной даже.

Ягода сообщал, что «Пеночка», или «Белочка», — так ее называл поэт Мандельштам, часто заходивший к Бухарину (отдел, возглавлявшийся Николаем Ивановичем, размещался в особняке на улице Кирова, наискосок от нынешнего Управления торговли Мосгорисполкома), каждую неделю готовит чай или кофе для постоянных визитеров: Вернадского, Вавилова (с ним Бухарин был особенно дружен), Горбунова, Кржижановского — академики приходили к своему коллеге академику Бухарину; Сталин попросил Ягоду повнимательнее *послушать*, о чем они говорят: «вполне возможно зарождение новой “Пром-

партии”».

— В начале тридцатых годов, — продолжала между тем Александра Лаврентьевна, — Белова отправили в Германию, в военную миссию. А он был человек невероятной храбрости, почитайте «Мятеж», это ведь — во многом — о нем. Очень дружил с Фрунзе и Кировым, поэтому Сергей Миронович и пригласил его на должность начальника Ленинградского военного округа. Он никогда ничего не держал за пазухой, говорил, что думал: «Требую, чтобы не было произвола, — телеграфировал он в девятнадцатом году, когда служил в Туркестане, — не заливайте фундамент социалистического общества кровью безвинных жертв…» Думаете, ему эти слова забыли? Сталин не умел забывать, это было против его натуры, он все помнил, все абсолютно… Так вот, в Берлине Иван Панфилович переодевался в штатское и посещал собрания национал-социалистов, слушал выступления фюреров, вождей партии, — Гитлера, Штрассера, Геббельса, Рэма… Этот массовый психоз, этот черный расизм потрясли его. Он написал в Кремль, Поскребышеву, просил передать Сталину: «Я сидел в двадцати шагах от Гитлера, когда он был на трибуне. Это — страшно. Это угроза цивилизации, начало звериной вседозво-

ленности для вождя, который имеет право на все. Я могу попасть на его следующее выступление. Прошу санкцию на уничтожение этого злодея, который сплошь и рядом оперирует нашими лозунгами: “Все права рабочим и крестьянам, долой финансовый капитал, все на борьбу за счастливое будущее германской нации, прокладывающей путь человечеству в лучезарное завтра!”».

Сталин письмо это прочитал, пожал плечами: «Анархистские замашки», — Белова приказал отозвать в Москву; вскоре его, Сталина, личный эмиссар начал искать контакты с Гитлером и задействовал нацистский МИД, чтобы через него поначалу выйти на Геринга…

— Когда Иван Панфилович начал работать с Кировым, — продолжает Александра Лаврентьевна, — они целыми днями на границе пропадали, возвращались грязные, все в глине, ставили укрепления… Кстати, немцы с финнами так и не смогли эти укрепления преодолеть, разбились о кировско-беловскую линию обороны, а ту, что Сталин пытался делать после позорной финской кампании, разрезали, как нож — масло… Жили мы с Иваном Панфиловичем в Левашове, под Питером, кое-кто из стариков и поныне это место называет «Беловской дачей»… Как-то раз Белов

говорит: «Знаешь, освободился дом рядом с Сергеем Мироновичем, приглашает нас перебраться». Я, понятно, обрадовалась: быть рядом с Кировым! Начала собирать вещи, как вдруг Белов говорит: «Не надо. Останемся здесь». — «Почему?» — «Не надо», — повторил он, а лицо — серое, глаза больные, замученные… И было это, если не изменяет память, после первого задержания Николаева, когда его отпустили — с оружием…

Именно в те дни Белов заторопился в Москву, в Наркомат обороны, к кому — не знаю. А когда возвращался, опоздал на поезд, догонял последний вагон по перрону, вспрыгнул, но заметил, как из кармана шинели выпала записная книжка. Дернул стоп-кран, книжку подобрал и — вновь в вагон. А тут паника: остановка «Красной стрелы» была ЧП, об этом немедленно сообщали Сталину — с тех еще пор, как Луначарский попросил задержать отправление на несколько минут, его жена опаздывала… Анатолию Васильевичу за это вроде бы выговор вкатили, Сталин такое не прощал — сам-то в своем поезде разъезжал, вне всех и всяческих расписаний… Прибежал начальник состава, накинулся на проводника: «Кто сорвал стоп-кран?!» Все молчат, растерянные. «Под суд пойдешь! В тюрьму упрячу!» Тут Иван

Панфилович и сказал: «Не надо никого в тюрьму прятать. Стоп-кран сорвал я…» А назавтра Сталин сказал Ворошилову: «Этот Пугачев еще и не то когда-нибудь сделает…»

…Помню, как в Москве уже — Ивана Панфиловича перевели начальником МВО — он рассказывал мне во время прогулки: «Знаешь, мне даже какую-то радость доставляет грохотать сапогами по металлическим лестницам Кремля — сталинские охранники за пистолеты хватаются, каков поп, таков приход». А еще, помню, он долго-долго сидел над книгой «Гражданская война, 1918–1921», выпущенной ГИЗом в 1930 году, и лицо его было скорбным, порою растерянным даже…

Третий том этой книги вышел под редакцией А. Бубнова, бывшего главкома С.С. Каменева, М.Н. Тухачевского и Р.П. Эйдемана. Книга эта — трагический документ, воистину. Например, тщательно разобранная — с военной точки зрения — Орловская операция Красной Армии в 1919 году перечеркивается *втиснутым* петитом сноски: «Труд был сверстан, когда появилась работа К.Е. Ворошилова “Сталин и Красная Армия”, ГИЗ, 1929 год (то есть немедленно после высылки из страны первого Председателя Реввоенсовета республики и наркома обороны Л. Троцкого). В

книге (Ворошилова. — *Ю. С.*) дается ряд *новых* данных...»

Приводится там и письмо Сталина, отправленное с юга Владимиру Ильичу. Заканчивается оно следующими словами: «Без этого моя работа на южфронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту, только не оставаться на южфронте. Ваш Сталин».

Итак, запомним: атака на историю гражданской войны началась в 1929 году.

Но Бубнов, Тухачевский, Каменев и Эйдеман не могли и не хотели фальсифицировать историю. Ограничившись приведением сталинского письма и отрывков из книги Ворошилова, они продолжали следовать канве правды. Более того, они резко ударили Сталина — понятно, не называя его — при разборе польской кампании, когда войска Пилсудского захватили Киев, подписав договор с Симоном Петлюрой, и для борьбы с ним было создано два фронта — Западный, который возглавлял Тухачевский, и Юго-Западный, во главе которого был Егоров, а членом Военного совета — Сталин. Тухачевский рвался к Висленскому рубежу, а Егоров и Сталин повернули свои

войска на Львов. Примечательно замечание авторов книги: «Согласно директиве (командующего Юго-Западным фронтом Егорова и Сталина. — *Ю. С.*), непосредственное содействие Западному фронту возлагалось лишь на численно слабую 12-ю армию…» В ряде книг той поры приводятся свидетельства неподчинения Егоровым, Сталиным и командиром Первой Конной Буденным плану Главкома Каменева о переброске конницы на помощь Западному фронту.

Буденный утверждал: «Переброску Первой Конной от Львова… нужно рассматривать как предсмертную конвульсию команзапфронта (Тухачевского. — *Ю. С.*). Директива командующего Западным фронтом о переброске… запоздала… Если бы командование Запфронтом не нервировало без нужды своими директивами о переброске конной армии, то… падение Львова было бы обеспеченным…»

Как Тухачевский комментирует *нервическое* заключение своего оппонента? Он бесстрашно и открыто критикует себя: «Укажем и на те ошибки, которые следует отнести к командзапу (Тухачевскому. — *Ю. С.*). Командование Западным фронтом должно было дать еще более решительный *бой* в пользу своевременной подтяжки

Первой Конной — даже тогда, когда Конармия еще не была ему передана. От его требовательности и настойчивости зависело, безусловно, очень многое. И вот этого в самый решительный момент операции командованием Западного фронта проявлено не было…»

(Примечательно: в тайных параграфах пакта «Риббентроп — Молотов» Сталин свел свои счеты с расстрелянным уже Тухачевским: Варшава была легко отдана Гитлеру, зато Львов отходил Союзу; воистину, Сталин ничего, никогда, никому не забывал.)

Александра Лаврентьевна говорит емко, красиво, при этом очень доверительно:

— Знаете, я физически ощущала на своей спине взгляды Сталина, когда нас с Иваном Панфиловичем приглашали на приемы в Кремль. Он медленно шел по залу, окруженный своими близкими… Он шел демонстративно медленно, словно бы сдерживая тех, кто был рядом… Я обратила внимание на его глаза: желтые, тяжелые, неподвижные… Они испугали меня… Но я женщина, я чувствую больше, чем анализирую, я увидела в его глазах такое одиночество, такую затаенную тоску, что сказала Ивану Панфиловичу, когда мы вернулись домой: «Отвези меня к нему… Ну,

пожалуйста… И в грешнике есть частица святого, надо только докопаться до нее… Поверь, я смогу уговорить его остановить ужас происходящего…» Иван Панфилович отмалчивался, я настаивала. Тогда он тихо ответил: «Что ж, пожалуйста… Собирайся… Только заранее простись с детьми, родителями, с друзьями, со мною, наконец, — нас всех уничтожат, Шура, всех. В одночасье…» Я потом только узнала, что Белов написал в письме Сталину, что необходимо организовать Наркомат оборонной промышленности, он ведь не зря в Германии работал, понял доктрину немцев: «лишь техника решит исход будущей битвы». А Сталин? Он считал, что только конница Буденного и авиация гарантируют нам победу над любым врагом… Сталин прочитал записку Ивана Панфиловича, усмехнулся, посмотрел ему в глаза: «Что, готовишь себе тепленькое местечко?» Он мерил всех своими мерками, этот человек… Хотя порою мне не под силу называть его человеком… Я помню, как Иван Панфилович возвратился с процесса над своими товарищами во главе с Тухачевским. Он был совершенно черный тогда… Сел к столу, попросил у меня бутылку коньяку, открыл его и выпил всю бутылку, не закусывая. А ведь он пил редко, крестьянский сын, *блюл* себя… А потом по-

манил меня к себе и прошептал: «Такого ужаса в истории цивилизации еще не было… Они все сидели, как мертвые… В крахмальных рубашках и галстуках, тщательно выбритые, но совершенно безжизненные, понимаешь? Я даже усомнился — они ли это? А Ежов бегал за *кулисами,* все время подгонял: «Все и так ясно, скорее кончайте, чего тянете…» Я спросил Якира — помнишь, сестра его жены была замужем за моим помощником по разведке: «А он тоже враг народа?» Якир даже не посмотрел на меня, ответил заученно: «Да, он тоже враг народа…»

…Судили Тухачевского два его недруга: маршал Егоров, командовавший Юго-Западным фронтом вместе со Сталиным, и Буденный; Блюхер и Белов были фигурами нейтральными, их *использовали*… Было необходимо соблюсти декорум — в этих вопросах Сталин был большим специалистом…

Впрочем, порою меня поражает то, что он вписывал или давал указания вписать в показания арестованных. Например, на процессе «Антисоветского троцкистского центра» Вышинский (а ведь он до сих пор покоится в Кремлевской стене, страшно — это то же, что захоронить там Гиммлера!), допрашивая одного из руководителей Кузбасса, бывшего рабочего, любимца

Серго, ставшего «командиром тяжелой индустрии», — товарища Шестова, задал вопрос: «Где вы получили письмо Седова? (Лев Седов — сын Троцкого, отравлен в 1938 году в Париже. — *Ю. С.).* Шестов: «Я получил его в ресторане “Балтимор”». Вышинский: «Что же вам Седов сказал?» — Шестов: «Он просто передал мне тогда — не письма, а, как мы тогда условились, пару ботинок… В каждом ботинке было заделано по письму…»

Как же надо было презирать людей, какую власть надо было над ними забрать, чтобы разрешать себе такие кровавые шутки! Только кретин, а не конспиратор может приносить в ресторан — да еще такой, как «Балтимор», — ботинки! Обмен письмами незаметен, ботинками — смехотворен!

Или, например, другой эпизод; допрашивая подсудимого Арнольда, Вышинский спрашивает: «Может, это *нескромно,* но я должен уточнить, где вы родились, и фамилию вашего отца». Арнольд: «Я родился в Ленинграде, фамилия моего отца Ефимов, а фамилия матери Иванова». Вышинский: «Почему же вы Васильев, а не Петров?!» Арнольд: «Потому что у меня крестный был Васильев… Потом товарищ отдал мне паспорт на фамилию Карл Раек… После я переменил фами-

лию на Аймо Кюльпинен… А потом переменил фамилию на Валентин Арнольд и поехал — из Америки уже — оказывать техническую помощь Советской России в Кемерово…» Вышинский: «А вы не были членом масонской ложи?» Арнольд: «Был, когда я жил в Америке, я подал заявление и поступил в масонскую ложу… Я вступил в партию в 1923 году…» Вышинский: «И в это время вы оставались масоном?» Арнольд: «Да, но я никому об этом не говорил… Я должен был организовать теракты против Орджоникидзе, Молотова, Эйхе и Рухимовича…» (Серго, Эйхе и Рухимовича убили не троцкистские масоны, а Сталин. — *Ю. С.*)

Вот откуда пошла «масонская версия» у нашей «Памяти»! От прокурора Вышинского! Ай да корни, ай да традиции!

— Вскоре после расстрела героев гражданской войны, — продолжает Александра Лаврентьевна, — Сталин вызвал Белова… В кабинете сидел Ворошилов… Сталин долго ходил по кабинету, а потом, остановившись перед Иваном Панфиловичем, спросил:

— Любишь меня, Белов?

А Иван Панфилович ответил:

— Вы ж не женщина… — Потом помолчал, нервы, видимо, сдали, и выдохнул: — Да как же вас

любить, когда вы революцию погубили?

Сталин хлестанул его по щеке, обернулся к Ворошилову:

— А ты его на новую должность рекомендовал… Нехорошо…

Из сталинского кабинета Белова увезли в тюрьму. На расстрел его вели под руки, шел он, как каучуковый, подскакивал, все кости были переломаны.

Ну а потом пришла моя очередь… Настоялась в карцерах: это каменный шкаф, повторяющий, как гипсовый слепок, фигуру человека. Стоишь, стоишь, потом теряешь сознание, оседаешь, тебя вытащат, обольют водой и — на место… В сортир не водили — все под себя… Стакан воды и кусок хлеба на день… Стой и думай…

Детей забрали в детприемник, туда моя мама поехала, а ей говорят, что моя трехлетняя дочка, Клементина, умерла от голода… Мама спрашивает: «А где хоть ее могилка?» А ей в ответ: «Будем мы еще вражеских змеенышей хоронить… Иди вон в ров, там их много лежит, раскапывай, может, по костям *родное* определишь».

…А Мишенька Зощенко пришел в НКВД, сам пришел, никто его не вызывал: «С Иваном Панфиловичем я редко встречался, а за Шурочку кладу

свое честное имя, отпустите ее, *пожалуйста...»*

Выпустили меня после расстрела Ежова... Тогда Берия нарабатывал себе имя «правдолюбца», ведь «товарища Сталина обманывали враги народа Ягода, Ежов и иже с ними». (Точное повторение *игры* Гитлера: после того как он расстрелял двух истинных создателей национал-социализма — Рэма и Штрассера, прошли расстрелы ветеранов партии, которые помнили Мюнхен 1919-го, когда Гитлер еще не был фюрером; расстреляли что-то около тысячи человек. Фюрер рыдал; Геббельс комментировал: «Адольфа обманули еврейские плутократы». (Подробнее об этом — в моих книгах о Штирлице; там достаточно подробно дается анализ структуры национал-социализма, его стратегии и тактики. — *Ю. С.*)

— ...Вышла я из внутренней тюрьмы — одна-одинешенька, ни кола, ни двора. Ютилась у случайных людей, узнала воочию, что такое предательство, боялась попадаться на глаза знакомым: вдруг снова заберут?! Хотелось стать крошечной, незаметной. Вот когда люди начали всерьез мечтать о чуде «человека-невидимки»; только б никто не нашел, затаиться, — она вздыхает, — как это у Высоцкого? «Лечь бы на грунт...» Но — нашли, что-что, а находить у нас — если

захотят — в миг найдут. А искал меня не кто-нибудь, а, как говорили тогда, «совесть партии» Матвей Федорович Шкирятов, председатель КПК, мерзавец из мерзавцев, палач и садист. Странно, отчего про него мало пишут, он же чудовище, фашистское чудовище, иначе и не скажешь…

Пришла я в КПК. Сидит этот карлик на уголке стола, глаза-буравчики, лицо дегенерата, смотрит на меня неотрывно, а потом — хлоп ладошкой по зеленому сукну и — фальцетом: «А ну, рассказывай, как ты, утеряв бдительность, спуталась с врагом народа?!» А мне терять нечего, у меня день и ночь перед глазами моя кровиночка, трехлетняя доченька, замученная палачами, вроде этого… «Мы с тобой на брудершафт не пили, — отвечаю, — что это ты ко мне дружбой проникся, на “ты” перешел?» Шкирятов аж ростом стал еще меньше, скукожился, как от зубной боли, и тихо спросил: «Комиссию интересует все о ваших связях с врагом народа Беловым». А я ему: «С Иваном Панфиловичем Беловым я спала и детей ему рожала, а вы вместе с ним работали, на заседаниях Верховного Совета вместе сидели, что ж вы-то в нем врага не распознали?!»

Понятно, исключили меня из партии… Что потом было — рассказывать трудно, когда вспо-

минаю, сердце болит…

…Существует (пока что) две версии по делу наших легендарных военных.

Первая: РСХА во главе с Гейдрихом, зная болезненную подозрительность Сталина, подготовило фальшивки на Тухачевского и его соратников; это было нетрудно сделать, ибо почти все наши военачальники проходили обучение в Германии — после заключения договора в Рапалло, задолго до того, как к власти пришел Гитлер.

Документы подделывал штурмбанфюрер СС Науекс. После разгрома нацизма он дал развернутые показания об этой «работе».

Суть подделки: группа военачальников во главе с Тухачевским готовит военный путч против Сталина.

Гитлеру не была страшна доктрина Сталина: «Все решит конница и авиация». Гитлеру была страшна доктрина Тухачевского: «Только танковые и мотомеханизированные войска вкупе с авиацией могут гарантировать победу над агрессором».

Много лет — после XX съезда — считалось, что расстрел наших военных был победой службы Гейдриха. Кое-кто продолжает так считать и поныне: «Товарища Сталина обманули».

Вторая версия: по заданию Сталина *идея* о путче советских военачальников была подброшена Гейдриху из Москвы — через генерала Скоблина, который затем таинственно исчез из Франции.

То есть Гейдрих был лишь *статистом* в игре Сталина.

Есть и третья версия, которую большинство исследователей отвергают. Суть ее сводится к следующему: чекисты-дзержинцы, работавшие с тридцать четвертого года в архивах царской охранки, чтобы *накопат*ь «компру» на Каменева, Бухарина, Пятакова, Рыкова, нашли документы, свидетельствовавшие о неблаговидных поступках Сталина. Сообщили об этом своим единомышленникам-военным. Те начали готовить переворот, чтобы спасти страну от тирана: основания к свержению Сталина якобы были абсолютны.

…В конце пятидесятых годов Лиля Брик и Катанян снимали две комнаты на даче на Николиной Горе. Однажды, гуляя по поселку, Лиля Юрьевна сказала мне:

— Весь тридцать шестой год я прожила в Ленинграде… Я тогда была замужем за Виталием Примаковым, командиром «Червового казачества» во время гражданской… И все это время

я — чем дальше, тем больше — замечала, что по вечерам к Примакову приходили военные, запирались в его кабинете и сидели там допоздна.... Может быть, они действительно хотели свалить тирана? Или тот *играл* с ними, организовав провокацию?

...За всеми участниками Особого Присутствия — сразу же после окончания кровавой трагедии — Ежов поставил слежку. Наладил прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию писем.

О результатах Сталину докладывали ежедневно. Доложили и о том, что Егоров сник, замкнулся в себе, сказал одному из близких: «Я оказался пешкой в грязной игре. Мне стыдно самого себя».

Смогли записать подобные же разговоры Ивана Белова.

Маршал Блюхер заметил командарму Штерну во время боев против японских армий, вторгшихся в Монголию: «Это был кровавый фарс, но я не могу понять, отчего же они во всем признавались?! Отчего их лица были белые, словно мукой обсыпанные? Почему у них были чужие, мертвые глаза?!»

Егорова и Белова расстреляли после нечеловеческих пыток.

Блюхер — чтобы не выйти на процесс — выколол себе глаза в кабинете Берия и был там же убит.

Буденный одобрял исход процесса, показывал друзьям в лицах, как *кололись* Тухачевский и Якир.

Тем не менее и за ним были отправлены две машины — Берия решил, что убирать надо всех свидетелей, без исключения.

Семен Михайлович жил в Переделкино, на даче, жил, как в былые времена у себя в станице, — с охраной, конюхами, егерями.

Когда его подняли с кровати — «чекисты приехали», он, как был, в исподнем, бросился к окну, распахнул его и крикнул охране: «Пулеметы — товь!» И дал несколько выстрелов из маузера. Потом бросился к телефону, набрал номер Сталина: «За мной приехали! Буду отбиваться, это — ежовские последыши». Сталин — после долгой паузы, калькулировать он умел — понял, что Семен не сдастся так просто, как *интеллигентишки* типа Тухачевского и Уборевича, поднимет своими пулеметами весь поселок, а там писатели живут, пойдут ненужные толки, поинтересовался: «Сколько времени продержишься?»

Буденный ответил: «До конца буду отстрели-

ваться, патронов хватит…»

— Ну, держись, — усмехнулся Сталин, — попробую помочь.

Позвонил в Серебряный Бор, на дачу Берия:

— Заберите ваших людей от Буденного, пусть останется хоть один свидетель, один — всегда пригодится, я ему верю…

…Александра Лаврентьевна Белова проводила меня до двери — маленькая, очаровательная женщина с прекрасными голубыми глазами.

Вздохнула, улыбнулась:

— Мишенька Зощенко носил золотую цепочку на левой руке. Как-то я ему сказала, что мечтаю вставить золотые зубы, — тогда было модно. Он снял свою цепочку, протянул ее мне:

— Возьмите, Шурочка, только вам не пойдут золотые зубы, вы же такая красивая…

Она пожала острыми плечиками:

— Слушайте, вы можете понять тех, кто и сегодня кричит, что «Сталин — отец родной»? После того, как все открыли?! Хотя какое там «все»… Что это: психоз, упрямство или обида за прожитую жизнь, в которой место Бога занял человек с желтыми глазами дьявола? «Без Сталина мы бы не выиграли войну», — с горькой усмешкой она повторила чьи-то слова. — Без него, может,

и войны-то бы не было, и уж выиграли бы мы ее не сталинским «пушечным мясом», а стратегией Тухачевского, Якира, Белова… Разве нет?

28. Необходимый комментарий

«Без Сталина мы б войны не выиграли»…

Бытующая и по сей день фраза эта ужасает меня глубинным презрением к себе и своему народу.

Такого рода персонификация фактов — трагическое наследство нашей *абсолютистской* истории.

Не будь Сталина — мы были б частью гитлеровского рейха, так, что ли?!

Нет, не выдавили мы из себя по капле раба, далеко нам еще до этого…

«Биография» Сталина: «22 июня 1941 года гитлеровская империалистическая Германия *грубо* нарушила пакт о ненападении и совершила *неожиданное,* вероломное нападение на Советский Союз».

Маршал Василевский. Книга «Дело всей жизни»: «С середины апреля 1940-го я включился в работу над планом по отражению возможной агрессии… В плане предлагалось развернуть наши главные силы от побережья Балтийского моря до Полесья, то есть на участках Северо-Западного и Западного фронтов…»

После этого доклада начальник Генштаба Шапошников был снят со своего поста и перемещен на должность заместителя наркома обороны по строительству оборонительных сооружений; на смену ему пришел К.А. Мерецков, арестованный Сталиным на второй день войны. Почему же он был арестован и подвергнут нечеловеческим пыткам? *Вчитаемся* в мемуары Василевского:

«Как нам рассказал Мерецков, Сталин, касаясь наиболее вероятного направления потенциального удара противника, высказал *свою* точку зрения. По его мнению, Германия постарается направить в случае войны удар… на юго-западе… В соответствии с этим Генштабу было поручено *переработать* план, предусмотрев сосредоточение *главной группировки* на юго-западном направлении…»

Гитлер ударил именно на западном и северо-западном направлениях, как предсказывал Генштаб во главе с маршалом Шапошниковым. Сталинская корректива работы военных стоила нам около ста тысяч убитыми и более трехсот тысяч пленными в первые дни войны, — именно на Западном фронте; надо было найти виноватого; им оказался Мерецков.

Василевский: «Оперативный план отражения

агрессии был тщательно увязан с мобилизационным планом Красной Армии и страны в целом…»

Почему же Сталин — когда все знали о близком начале войны — отказался провести мобилизацию, а вместо этого 14 июня опубликовал заявление ТАСС, которое *демобилизовывало* и народ, и Красную Армию?..

Народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Кузнецов: «17 и 18 марта сорок первого года немецкие самолеты были несколько раз обстреляны под Либавой. Что же делать, если агрессор наглеет? Меня вызвали к Сталину. В кабинете кроме него сидел Берия, и я понял, откуда дует ветер. Меня спросили, на каком основании я отдал распоряжение открыть огонь по самолетам-нарушителям? Я попробовал объяснить, но Сталин оборвал меня. Мне был сделан строгий выговор и приказано немедля отменить распоряжение. Пришлось подчиниться».

Злополучное заявление ТАСС о том, что все слухи о возможной агрессии Германии являются «вымыслом», адмирал Кузнецов комментирует: «Надо было принимать чрезвычайные меры… Но, увы, этого не случилось… Мы решили больше *не ждать указаний,* начали действовать *сами…*

Балтийский флот 19 июня был переведен на оперативную готовность “номер 2”…»

Маршал Василевский: «Сталин явно промедлил с принятием решения на переход армии и страны на полный режим военного времени… Сталин не решался на это, исходя, конечно, из *лучших* (?!) побуждений… Если бы наши войсковые части и соединения были своевременно отмобилизованы, выведены на предназначенные для них планом боевые рубежи, развернулись бы на них… то можно предполагать, что уже в первые дни войны были бы нанесены такие потери противнику, которые бы не позволили ему столь далеко продвинуться по нашей стране, как это имело место… Сталин, оказывавший огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны, видимо, не смог правильно уловить этого переломного момента… То, что Сталин не смог вовремя принять решение, является его серьезнейшим политическим просчетом… В чем причины?.. Прежде всего в том, что наши разведорганы, как справедливо замечает маршал Жуков, не смогли в полной мере объективно оценивать поступавшую информацию о военных приготовлениях фашистской Германии и честно, по-партийному докладывать ее Сталину…»

(Я уже писал, что несколько раз — работая над романами «Майор Вихрь» и «Семнадцать мгновений весны» — встречался с Молотовым.

— Неужели разведка не докладывала о приготовлениях Гитлера, Вячеслав Михайлович?

— Докладывала… Берия сообщил нам, что в германском посольстве в Леонтьевском переулке уже неделю идет дым из труб — жгут документы… Но раз избрана линия — надо было следовать ей до конца…)

Берия сообщал Сталину информацию группы Шандора Радо и Леопольда Треппера из Берна и Гааги — война начнется 22 июня. Сталин приказал прервать с ними связь: «провокация англичан».

Советский военно-морской атташе в Берлине М.А. Воронцов назвал точную дату вторжения — его отозвали в Москву.

Нарком госбезопасности Эстонии сообщил, что 22 июня Гитлер выступит; его вызвали в Москву, но посадить «за клевету и панические слухи» не успели — Гитлер-таки действительно выступил…

Так что дело не в разведке, а в том, что Сталин уже давно стал диктатором, никто не смел ему возразить, его слово и мнение сделались истиной

в последней инстанции…

Адмирал Кузнецов утверждает, что получил разрешение наркома Тимошенко и начальника Генштаба Жукова применять оружие в случае нападения *лишь ночью* 22 июня.

«Когда я возвращался в Наркомат, — пишет адмирал, — меня не покидали тяжелые мысли: когда наркому обороны стало известно о возможном нападении гитлеровцев? Почему не само правительство, а нарком обороны отдал мне приказ, причем полуофициально и с большим опозданием?.. Смотрю на часы… 3 часа 15 минут… Вот когда началось! Набираю номер кабинета Сталина. Отвечает дежурный: «Товарища Сталина нет, и где он, мне неизвестно». — «У меня сообщение исключительной важности, которое я обязан передать лично товарищу Сталину…» — «Не могу ничем помочь». Опять звоню дежурному: «Прошу передать товарищу Сталину, что немецкие самолеты бомбят Севастополь. Это же война!» — «Доложу, кому следует». Через несколько минут слышу звонок: «Вы понимаете, что докладываете?» — Это Маленков… Около 10 утра 22 июня я поехал в Кремль. Решил лично доложить обстановку… В Кремле все выглядело как в обычный выходной день… Наверное, ру-

ководство собралось в другом месте, решил я. Не застав *никого* в Кремле, вернулся в Наркомат…»

«Биография» Сталина этот период *деятельности великого полководца всех времен и народов* не комментирует, выделяя лишь «*пророчество*», высказанное в его речи от 3 июля, о том, что за демократию вместе с нами будут сражаться Европа (читай — Англия) и Америка, то есть те страны, которые в течение полугода тщетно предупреждали его о дате нападения Гитлера.

Василевский: «Первоначальные неудачи показали некоторых командиров в невыгодном свете. Они оказались неспособными быстро овладеть искусством ведения современной войны, оставались в плену старых представлений…»

(Я отношусь с глубочайшим уважением к нашим замечательным маршалам, героям Великой Отечественной. Но не могу не сказать о трагическом ощущении, которое не оставляет меня, когда я читаю их мемуары: все они пишут о том, как много в их жизни значили такие блистательные военачальники, как Тухачевский, Уборевич, Якир, Путна, Примаков, Корк, Белов, Алкснис… Но ни один из маршалов не произнес ни единого слова об их трагической судьбе — были люди, и нет их, как отрезало… А ведь когда писались

мемуары, эти легендарные герои Гражданской войны были уже реабилитированы. Кто же запретил нашим маршалам положить венок на их безымянные могилы?!

Почему никто из них прямо не сказал, что «старые представления» о современной войне культивировал именно Сталин?)

Василевский: «Сталин исходил из того, что если боевые действия развиваются не так, как нужно, значит, необходимо срочно произвести замену (или расстрел: дело Павлова. — *Ю. С.*) руководителя. Однако такое отношение к кадрам в первые месяцы войны далеко не всегда давало положительные результаты…»

…Одно из *преступлений* Сталина, приведшее к тому, что Красная Армия потеряла более шестисот тысяч красноармейцев, попавших в плен, и около двухсот тысяч, павших на поле боя, выполняя *сумасбродный* приказ Сталина, относится к трагедии на Юго-Западном фронте.

Об этом свидетельствует Василевский: «Вечером 7 сентября (за два месяца боев немцы уже оккупировали всю Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, вышли к Киеву и Ленинграду, заняли рубежи в районе Смоленска, потеряв при этом около *четырех процентов* своих солдат. — *Ю. С.*)

Военный совет Юго-Западного фронта сообщил, что обстановка еще более осложнилась… Мы с Шапошниковым (его вновь вернули в Генштаб. — *Ю. С.*) пошли к Верховному с твердым намерением убедить его в необходимости отвести войска за Днепр и оставить Киев… Разговор был трудный и серьезный. Сталин упрекал нас в том, что мы пошли по *линии наименьшего* сопротивления: вместо того, чтобы бить врага, стремимся уйти от него… При одном же упоминании о жестокой необходимости оставить Киев Сталин выходил из себя и на мгновение терял самообладание…»

…А далее следует поразительное признание Василевского, которое молнией высвечивает обстановку, в которой им, *профессионалам,* приходилось работать: «Нам, видимо, не хватало необходимой твердости, чтобы выдержать вспышки этого неудержимого гнева…»

Видимо, дело тут не только в «твердости».

И Шапошников, и Василевский не могли не знать, что в эти страшные дни войны творилось в застенках, где пытали бывшего начальника Генштаба и будущего маршала Мерецкова, командарма Штерна (расстрелян. — *Ю. С.*), начальника ПВО Алксниса (расстрелян. — *Ю. С.*), дважды Героя Советского Союза Смушкевича (рас-

стрелян. — *Ю. С.*). (Кстати, немцы, захватившие в Вильнюсе семью выдающегося летчика, героя боев в Испании и на Халхинголе, не расстреляли ее, хотя были обязаны — все евреи, — полагая, что эти заложники помогут им в случае нужды выменять на них какого-нибудь своего генерала, буде он попадет в русский плен. — *Ю. С.*)

Василевский продолжает: «Вплоть до 17 сентября Сталин не только отказывался принять, но и *серьезно* рассмотреть предложения, поступавшие к нему от главкома этого направления, члена Ставки Г.К. Жукова, Военного совета Юго-Западного фронта и от руководства Генерального штаба».

(Какой главком, в какой стране мог позволить себе столь презрительно-высокомерное отношение как к докладам с мест кровопролитных боев, так и к позиции *мозга* Красной Армии, ее Генерального штаба?!

А ведь еще 13 сентября начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Тупиков сообщал Шапошникову: «Начало понятной Вам катастрофы — дело пары дней».)

Василевский: «Ознакомившись с этим донесением, верховный Главнокомандующий спросил Шапошникова, что тот намерен ответить. И

тут же сам продиктовал ответ: “Генерал-майор Тупиков представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия… Необходимо неуклонно выполнять указания т. Сталина, данные вам 11 сентября. Б. Шапошников. 14 сентября 1941 года, 5 ч. 00 м.”…»

Примечательно: понимая возможность катастрофы, Сталин подписал эту шифровку фамилией Шапошникова — будет на кого свалить вину в случае краха.

Василевский: «Только 17 сентября Сталин разрешил оставить Киев. В ночь на 18 сентября командование фронта отдало приказ отходить с боем из окружения. Однако вскоре связь штаба фронта со штабами армий и со Ставкой была прервана… 20 сентября погибли в бою (по иной версии — застрелились. — *Ю. С.*) комфронта М.П. Кирпонос, член Военного совета, секретарь ЦК КПУ М.А. Бурмистренко и начальник штаба Тупиков…»

Тот самый, кого Сталин посмел обозвать «паникером»… А этот герой сердцем болел за жизнь красноармейцев, блестяще выполнял свой долг — под беспрерывными бомбежками нацистов, без сна и отдыха — истинный патриот Отечества.

Убежден, что эти военачальники заслуживают того, чтобы быть помянутыми в том Памятнике жертвам сталинского террора, который мы не можем не воздвигнуть: предательство Памяти — преступно и мстит новыми ужасами…

Василевский: «Мне не раз приходилось слышать, что Генштаб в предвоенные годы мало уделял внимания укреплению обороны Ленинграда… Предвидел ли Генштаб возможность агрессии по побережью моря, через Прибалтику? Да, безусловно. И оперативным планом, разработанным Шапошниковым, были предусмотрены меры борьбы с врагом на этом направлении».

Однако же читатель помнит замечание Василевского, что Сталин требовал разработки лишь «юго-западного варианта»!

…Примечательно, что в «Биографии» Сталина ни слова не говорится о трагической блокаде Ленинграда, о мужестве осажденного города, о гибели сотен тысяч — от голода и холода.

Василевский: «В связи с обострением обстановки под Ленинградом (виною чему было в первую очередь упрямое самодурство Сталина, упрекать советских солдат — кощунственно. — *Ю. С.*) Ворошилов и Жданов были вызваны в Ставку. Разговор происходил на станции метро

“Кировская”. Верховный сурово обошелся с ними и потребовал разработать оперативный план зашиты Ленинграда. Ворошилов и Жданов не выразили ни слова обиды на резкость тона…»

Почему?! Ведь им же было прекрасно известно, кто повинен в том, что Генеральному штабу было запрещено заниматься разработкой планов обороны Ленинграда накануне войны?! Где чувство собственного достоинства?! Верность правде?! Справедливости?!

В том-то и заключается *преступление* Сталина, что начиная с 1924 года, когда от нас ушел Ильич, он планомерно и по-византийски виртуозно уничтожал всех, кто имел собственное мнение и не боялся его отстаивать под страхом быть объявленным «оппозиционером», «социал-демократом», после — «врагом народа», а уж засим — «диверсантом», «шпионом», «террористом», «фашистским наймитом».

Государственный страх сделался у нас нормой жизни; возражение Вождю каралось смертью; люди ломались, добровольно называя черное — белым, лишь бы выжить! Василевский: «Ставка Верховного Главнокомандования (то есть Сталин. — *Ю. С.*) приказала войскам Волховского и Ленинградского фронтов нанести поражение

вражеской группировке и снять блокаду с Ленинграда… В начале января 1942 года советские войска перешли в наступление. Но нас постигла неудача… В конце апреля 1942 года в Ставку прибыл командующий Ленинградским фронтом М.С. Хозин… Он предложил объединить войска Ленинградского и Волховского фронтов… Шапошников сразу же выступил против такого предложения. Сталин, наоборот, встал на позицию Хозина… Решение Ставки о ликвидации Волховского фронта оказалось ошибочным». Благодаря этому своеволию Сталина, прошедшему конечно же безнаказанно, прорыв блокады Ленинграда был осуществлен лишь через год, в январе 1943-го, что стоило жителям города-героя сотен тысяч жизней.

…А что произошло весной 1942-го под Харьковом?

Генеральный штаб возражал против плана командующего Юго-Западным фронтом Тимошенко — тот поначалу намеревался вернуть Киев, но после категорического возражения Шапошникова скорректировал свои предложения: надо овладеть Харьковом и создать предпосылки для освобождения Донбасса.

«Шапошников стоял на своем, предлагая

воздержаться от столь рискованной операции, — свидетельствовал Василевский. — Сталин, однако, дал разрешение Тимошенко на проведение этой операции и *приказал* Генштабу ни в какие вопросы по ней не вмешиваться… 12 мая, то есть в разгар неудачных для нас событий в Крыму, войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. Сначала оно развивалось успешно, и это дало повод Верховному бросить Генштабу *резкий* упрек, что по его настоянию он чуть было не отменил удачно развивающуюся операцию. Но уже 17 мая ударная группировка противника перешла в контрнаступление… С утра 18 мая обстановка для наших войск продолжала ухудшаться… Мне позвонил член Военного совета юго-западного направления Н.С. Хрущев. Он сообщил, что Сталин отклонил их предложение о немедленном прекращении наступления, и попросил меня еще раз доложить Верховному об их просьбе. Я ответил, что уже не однажды пытался убедить Верховного в этом… Сталин отклонил мои предложения… Поэтому я порекомендовал Хрущеву, как члену Политбюро ЦК, обратиться непосредственно к Верховному… Вскоре Хрущев сообщил мне, что разговор с Верховным — *через* Маленкова — состоялся, что *тот* подтвердил

распоряжение о *продолжении* наступления… 19 мая ударная группировка вышла в тыл советским войскам, и только тогда Тимошенко отдал, наконец, приказ прекратить дальнейшее наступление на Харьков… Но, к сожалению, состоялось оно слишком поздно: три армии Южного и Юго-Западного фронтов понесли тяжелые потери. Погибли командарм-57 генерал-лейтенант К.П. Подлас, начальник штаба генерал А.Ф. Анисов, член Военного совета бригадный комиссар А.И. Попенко, командарм-6 генерал-лейтенант А.М. Городнянский, член Военного совета бригадный комиссар А.И. Власов, командующий армейской группой генерал-майор Л.В. Бобкин и заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко. Из окружения сумела выйти лишь меньшая часть нашей ударной группировки во главе с членом Военного совета этого фронта дивизионным комиссаром К.А. Гуровым и начальником штаба 6-й армии А.Г. Батюней».

…Ни об одном из этих героев нет ни строчки в Советском Энциклопедическом словаре. Какова судьба тех, кто вывел наших бойцов из окружения? Что с ними стало? Где они?

Энциклопедический словарь вышел в 1981 го-

ду, когда начальником Главного Политического управления Советской Армии был Епишев: ему нашлось место на страницах этого издания. Увы, среди перечисленных должностей, занимавшихся им, не помянут пост заместителя министра внутренних дел, коим являлся Л.П. Берия. Может быть, именно поэтому наши полководцы не могли написать правду о гибели своих учителей — Тухачевского и тех, кто разделил с ним трагическую судьбу?!

Василевский заканчивает так: «В результате этих неудач обстановка и соотношение сил на юге резко изменились в пользу противника. Изменились, как видим, *именно там,* где немцы *наметили* свое летнее наступление. Это и обеспечило им успех прорыва к Сталинграду и на Кавказ».

К сожалению, и в 1978 году, когда вышла книга маршала, ему приходилось — не в такой, правда, мере, как Крупской, — шифровать свою концепцию; умело стыкуя фразы, используя искусство логического монтажа, Василевский обращался к тем, кто *умеет* читать. Проанализируйте его абзац: «Я пишу все это не для того, чтобы в какой-то степени оправдать руководство Генштаба. Вина ложится и на его руководителей, так как они не

оказали помощь юго-западному направлению, хоть нас *отстранили от участия в ней».*

Но как же они могли оказать помощь, если их отстранил лично Сталин?!

…Ах, если бы Жуков, Василевский, все наши маршалы дожили до сегодняшнего дня! Как много они смогли бы сказать нам!

…Советский народ потерял — в результате преступного самодурства Сталина — более ста тысяч убитыми и не менее полумиллиона пленными в районе Харькова.

Столько же — под Ленинградом, во время авантюры с объединением фронтов.

Кто же был в этом виноват? Конечно, начальник Генерального штаба Шапошников! Сталин никогда, ни при каких условиях своих ошибок не признавал!

Василевский: «По *настоянию врачей* Шапошников обратился в ГКО с просьбой перевести его на менее ответственную и более спокойную работу. Просьба была удовлетворена».

Это произошло сразу же после харьковской катастрофы. Очередной «виновник» был найден и *нейтрализован* — все по-сталински, исподтишка, коварно… А ведь было тогда этому «больному» маршалу всего шестьдесят лет, на три года моло-

же Сталина…

…В воспоминаниях о войне много пишется о самообладании Сталина — естественно, после первой недели депрессии, когда он впал в шоковую прострацию и самоуклонился от всякой работы.

Когда — под нажимом членов Политбюро (пастве нужен пастырь, нам нельзя без вождя) — Сталин вернулся в Кремль, его первым актом был расстрел генерала Павлова: опять же главное — найти виновного, на которого следует свалить вину за поражение.

Не «воля» Сталина, а героизм народа, ставшего на защиту Родины, ее гигантских пространств, заставил диктатора обрести себя; впрочем, иного выхода у него не было: *для него* речь шла о сохранении режима личной власти…

Уж если и говорить о самообладании лидера, то нельзя не вспомнить Черчилля: в течение тринадцати месяцев — с мая 1940-го, когда Гитлер вошел в Париж и его офицеры наносили визиты вежливости в советское посольство, и по июнь сорок первого, когда Гитлер обрушился на Советский Союз, сэр Уинни возглавлял *единственную* страну на европейском континенте, продолжавшую войну против гитлеризма. В самые ужасные

месяцы бомбардировок нацистов, когда Лондон горел, превращаясь в руины, Черчилль говорил англичанам: «Мы будем продолжать войну против нацистского агрессора, даже если нам придется — под его натиском — уйти в Канаду. Все равно победа демократии над тиранией неизбежна!»

…Что касается «Биографии великого полководца», на совести которого миллионы жизней наших бойцов (о чем предельно ясно свидетельствуют мемуары маршала Василевского), то изучение «военного периода деятельности генералиссимуса» начинается лишь после 1943 года, когда подвигом народа Победа сделалась неотвратимой.

О наших военачальниках, об их роли в битве под Москвой, в Севастополе, Ленинграде, на Волге, под Курском — ни слова; приводят лишь один *список*, который открывает Булганин, отнюдь не Жуков; адмирала Кузнецова нет и в помине — он в это время сидел в тюрьме, под пыткой, как «английский шпион»; впрочем, попал в этот *список* генерал армии Горбатов — не успели исключить, потому что забрали его, когда уж «Биография» поступила в продажу…

…Итак, без Сталина мы б войны не выиграли?!

Внимательно прочитайте воспоминания Георгия Константиновича Жукова.

Остановитесь на том пассаже, где маршал описывает, как он приезжал на Малую землю, где встречался с полковником Брежневым.

Одна эта фраза сделает для умного читателя понятным, в каких условиях Жуков писал свой труд. Он поймет всю противоестественность его рассказов о Якире, Тухачевском, Примакове, Путне: были «выдающиеся полководцы», «чудесные люди», «патриоты нашей Советской Родины» — и нету! Ни слова о том, как они были расстреляны, — неужели Жукову нечего было сказать о них?! Горькую правду он унес с собою, пепелящую внутреннюю трагедию, — «ведь строки с кровью убивают, нахлынут горлом — и убьют...»

...Маршал Мерецков в своих «Воспоминаниях» не написал ни единого слова, как его пытали, выбивая самооговор и вздорные показания на его друзей по Красной Армии. Полно, а может, написал? Но где они, эти главы? Если уничтожены, следует восстановить по воспоминаниям тех, кто был ему близок, — пока не поздно!

Маршал Рокоссовский ни единым словом не обмолвился о том, как и *за что* он провел долгие месяцы в одиночках и карцерах ежовско-бери-

евских застенков. Почему? Кто запрещал? Или запрет высказывался в форме безликого *мнения!*

Может быть, и эти ветераны Красной Армии неосторожно обмолвились, что войны мы *не могли не выиграть*, ибо это была великая война Народа, а народ, воистину, бессмертен.

Помните Чехова! Повторяйте его трагические слова о необходимости выдавливать из себя по каплям ужас нашего векового рабства!

Рабу нужен *помазанник, верховный,* тот, который освобождает от необходимости думать и принимать самостоятельные, то есть *личностные,* решения.

И не будем отказываться от основополагающего жизненного принципа Маркса: «подвергай все сомнению».

Из этой *позиции* высекается не скепсис или неверие, но Правда.

29

...Он был искрометным человеком; друзья звали его «Шура»; бритвенно остроумный, он фонтанировал шутками, каламбурами, уничтожающими метафорами; бледное веснушчатое лицо с маленькими глазами-льдышками контрастировало с атакующей манерой речи; впрочем, публично он не любил выступать: сильно заикался, но в диалоге был, словно танк, — ломал и крушил собеседника. Как и обо всех, в московских литературных кругах о нем говорили разное: враги — со «слюнной» яростью, товарищи — с доброй снисходительностью. Одни утверждали, что его брат погиб в тридцать седьмом, другие считали, что, наоборот, ушел на Запад одновременно с Федором Раскольниковым и там выпустил книгу против Сталина и Ягоды; он, Шура, никогда не отвечал на вопросы о родных, булькающе смеялся и, ернически подмигивая, демонстративно переводил разговор на другое: «С-с-старичок, а п-п-правда, что в д-д-домжур[9] привезли р-раков?»

Постоянно, в самые трудные годы, его поддер-

---

[9] Сноски: 9
Дом журналистов.

живал Константин Симонов; однажды Симонов сказал мне: «Шура — это энциклопедия, только страницы не разрезаны; книга, которую никто не смог толком прочесть…»

…В конце семидесятых он — неожиданно для меня — напечатал большую статью, поддерживая моего литературного героя Штирлица. Встретились мы спустя полгода в писательском клубе. Окруженный людьми, которые говорили громко и, казалось, заинтересованно, но на самом деле не слушая друг друга, Шура помахал мне рукой: «С-с-старика-ша, теперь я ста-а-ал твоим толкова-а-ате-лем, отныне б-б-берегись меня, айда поужинаем у к-к-композиторов, т-т-там тихо, как в морге крематория, г-г-где отпевают провинившихся…»

(Я отчего-то сразу вспомнил маленькую комнатку морга в Кунцево, где стоял гроб с телом Хрущева; народу было мало, зато *сопровождающих* понаехало множество — военные автобусы, спецмашины, шпалеры охраны; я принес красные гвоздики, положил в ноги Никиты, пожал руку детям — Юле и Сереже и вернулся на шоссе, к машине: в тот же день улетал в Чили.)

…Когда мы с Шурой вышли из писательского клуба, было слякотно, снег превращался в дождь,

не пав еще на землю, хотя даже на уровне глаз хлопья были звездно-крупные, шелестящие.

— Старичок, объясни мне, — перестав заикаться, как только мы остались вдвоем, спросил Шура, — как ты трактуешь слово «самопожирание»?

Я прочитал ему строку поэта «Искры»: «Ах, какая благодать кости ближнего глодать…»

Словно и не услышав меня, Шура как бы продолжал говорить с самим собою:

— Я только что закончил «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича… Талантливо, но вывод однозначен: «бей жидов, спасай Россию», потому что «империю ужаса» создали именно евреи. А Ежов, Меркулов, Абакумов, братья Кобуловы, Цанава, Голиков, Рюмин? А кто приводил приговоры в исполнение? Севрюков, Серафимов, Царев? А кто расстреливал зэков в лагерях? Я не знаю, доживу ли до того времени, когда будет целесообразно написать правду… Ты — доживешь… Вот я и хочу тебе кое-что порассказать, туфли у тебя, гляжу, на каучуке, не промокнут… Кстати, носишь «Саламандру»?

Я отчего-то вспомнил застывшее лицо Твардовского в тот момент, когда спросил его, отчего он отказался печатать в «Новом мире» горькую кни-

гу одной несчастной женщины, просидевшей в лагерях добрые двенадцать лет. Твардовский ответил не сразу, полез за искрошенными «Ароматными» — других сигарет не признавал, — тяжело затянулся и, по-детски удивленно глядя на кроны наших пахринских осин, вздохнул: «Видите ли, когда она была женою городского головы, и на Казанском вокзале ее “линкольн” встречал, и в гостинице “Москва” был номер “люкс” забронирован, — все было нормально, претензий у нее к Сталину не было, хотя в тюрьмах уже страдали сотни тысяч, да и ужасы коллективизации были на памяти, “головокружение”, так сказать. А как самой трагедия коснулась, так и переменилось в корне ее воззрение… А литература — во всяком случае, русская — прежде всего живет страданиями, “окрест меня открывающимися”»…

Голос человека, звучащий в тебе, его лицо, рожденное памятью, не позволяют порою дать ответ на самый, казалось бы, простой вопрос, поставленный собеседником; происходит таинственная реакция несовместимости звучаний; Шура был человеком тонким, чувствительным, при том, что умел, когда требовали обстоятельства, идти, словно бронетранспортер, *хрустело:* давил гусеницами.

— Ты знаешь, что сделал Сталин после смерти Дзержинского, — продолжил он, подняв воротник тонкого пальто ангорской шерсти, — скажем *пока* что так — после *смерти* Феликса Эдмундовича? Он сразу же убрал Беленького, бывшего помощника Дзержинского, с поста начальника охраны Кремля, а на его место назначил Паукера, венгра, который брил его опасной бритвой, — балабос[10] другому не доверял, а «жиллет», который ему еженедельно привозили из Берлина, царапал оспинки… С тех пор — а Бухарин, Рыков еще жили в Кремле, только Троцкий съехал на улицу Грановского, когда перестал быть председателем Реввоенсовета, — вся информация о них и об их семьях стала поступать прямиком к Сталину. На стол. Ежедневно. Балабос знал *все*, абсолютно все, что о нем говорили те, кто не считал его гением… Он терпел восемь лет, можешь себе представить?! Целых восемь лет ждал своего часа — до тридцать четвертого… Вот воля, а? Вот выдержка! Он *начал* массовый террор, когда узнал, сколько делегатов Семнадцатого съезда проголосовало против него… А ведь ни один из них не выступил против, с трибуны все славословили… Тогда он и решил

[10] Сноски: 10
Балабос — хозяин *(евр. жаргон).*

окончательно рвать с прошлым… Киров был убит Николаевым, русским, заметь; операцию вел Запорожец, русский. *Прикрывал* — Генрих Ягода, еврей. Ему Сталин и поручил готовить процесс против Каменева и Зиновьева — евреев же. С одной стороны, Ягода боялся Сталина, с другой — мечтал стать *вторым*… Поэтому он пошел на то, чтобы сделать страшный спектакль… Но, видимо, еще больше он страшился чего-то такого, что никому из живущих ныне неизвестно, потому что накануне процесса над Каменевым издал подстраховочный приказ, запрещавший какие-либо формы физического или морального воздействия на подследственных… Но тогда появился секретарь ЦК Ежов и взял на себя функции наблюдения за подготовкой процессов… А поручены они были сначала Молчанову и Миронову, а уж потом — Слуцкому, Агранову, Берману с Фриновским… И допрашивал еврея Каменева, глумясь над ним, человек по фамилии Черток, ему тридцати еще не было, носил кличку «зверь»… Словом, евреев Каменева и Зиновьева сделали статистами в жутком спектакле в основном евреи… Они же сделали шпионами участников второго спектакля: и снова это был страшный фарс, нашпигованный еврейскими фигурантами — с обеих сторон

скамьи подсудимых… Но Сталин уже знал от Паукера: то, что он дал честное слово Каменеву и Зиновьеву сохранить им жизнь и не сдержал его, известно тем следователям, которые писали признания об идиотских «инструкциях гестапо» советским наркомам — «как сыпать в масло стекло»… И Сталин приказал посадить Ягоду, расстрелять тех, кто готовил первый и второй процессы; в камере Ягода учил свою роль, топил Бухарина и Рыкова… Процессом дирижировал Николай Иванович Ежов, русский. После окончания третьего процесса, бухаринского, Ягоду тоже расстреляли. Потом — Ежова. Пришел Берия. Но память о них, костоломах-извергах, отныне будет вечной, о них, а не о том, кто расставлял эти пешки на шахматном поле дворцового ужаса…

Берия подчистил *грехи*… Поставил сенсационные процессы против тех, кто еще совсем недавно истязал детей так называемых врагов народа, добиваясь от них чудовищных признаний в том, что их отцы и матери были шпионами… Так был проведен четвертый спектакль: «Сталина обманывали!» В тех ужасах, что произошли в тридцать седьмом, были повинны, оказывается, скрывавшиеся враги… Ты понимаешь, что мы пережили, с-с-с-старик?! А в сороковых Сталин

чуть оттер Берия, арестовал мегрелов в Грузии и привел в кресло Ягоды — Ежова — Берия молодого Виктора Абакумова… А когда Берия и Маленков начали работать против Вознесенского и Кузнецова, против «русской оппозиции», с одной стороны, и по «еврейским космополитам», «врачам-отравителям» — с другой, Абакумова тоже посадили, и пришел никому не известный Игнатьев… И стал спешно раскручивать дело еврейских «врачей-убийц»… Не успел… Кормчий умер, и поэтому меня не выселили из Москвы — по моей же «просьбе»… А знаешь, как пытали при Игнатьеве? Не знаешь… Мне говорили, что людей вызвали на допрос в январе, когда мороз трещал, и сказали: «Сейчас вас повезут на дознание. По кольцевой дороге. Вы будете в костюме. Когда почувствуете, что замерзаете, попросите сопровождающих дать те ваши показания, которые надо подписать. Подпишите их. Вас оденут в тулуп, напоят водкой, дадут горячего чаю из термоса и отвезут на дачу. И станем писать сценарий. Вам ясно?» Заключенным стало все ясно. Их сажали на дрезину и везли. А они молчали. А потом стали каменными, замерзая. Но они не подписывали фальшивку, старичок, не подписывали… Ты не промок еще? Ничего, у ком-

позиторов отогреемся, их крематорий уютный, очень т-т-тепло… А знаешь, отчего *Хозяин* поручил обвинять членов ленинского Политбюро Вышинскому? Думаешь, только потому, что тот был меньшевик? Нет, не поэтому… Вернее — не только поэтому… Вышинский был поляком, а его брат — ксендз, так сказать, родственные души с Вождем…

Шура остановился вдруг, поманив меня пальцем, оглянулся и прошептал:

— Но ведь седьмого апреля тридцать пятого года, когда у нас был принят закон о том, что все граждане — начиная с двенадцатилетнего возраста — подлежат судебной ответственности вплоть до расстрела, — я не покончил с собой! Я ведь позволил себе *не понять*, что это такое! Когда в тридцать восьмом я требовал на митингах смерти Бухарину, я ж помнил, как девять лет назад проносил по Красной площади его портрет — портрет вождя! Ты думаешь, я не понимал, что грядет и моя очередь — рано или поздно?! Понимал! А в пятьдесят третьем, когда я подписывал вместе с писателями-евреями просьбу о нашем выселении из столичных городов?! Думаешь, я не помнил статью Сталина, опубликованную им еще в начале века: «Не пора ли у

нас в партии провести маленький еврейский погром?» Он умел ждать, ждал полвека… Думаешь, я не знал тогда, в пятьдесят третьем, что меня погубят в тех бараках, куда нас должны были выселить — «по нашей же просьбе»?! Знал! Даже если бы ты был последним мерзавцем, все равно оправдаешь себя, обвинив других… Так ответь же мне: это что — жидовская черта характера? Или все люди подобны друг другу?! Еврей Ягода пытал евреев Каменева и Пятакова… Русский Ежов пытал русского Рыкова… Почему я сказал «самопожирание»?

Он вдруг сник, втянул голову в плечи:

— Наоборот, самовыживание… Только живем мы каждый день в ином качестве — неузнаваемые, новые, готовые к тому, чтобы сожрать ближнего и оправдать содеянное… Знаешь, что сказал Ежов в разгар террора? Я помню: «Все, что я делаю, продиктовано преклонением перед достоинством советского человека, которого ждет счастье». А я, зная все, аплодировал ему так, что у меня ладони были пунцовыми.

Шура вдруг остановился, взял меня за руки и, странно улыбаясь, спросил:

— Чувствуешь, какие теперь они у меня ледяные? Не пора ли погреть их заново, а?

30

В Баку летом шестнадцатого года в клубе молодых литераторов встретились и подружились четверо юношей: Мирджафар Багиров, Всеволод Меркулов, Евгений Думбадзе и Лаврентий Берия.

Спустя сорок лет, когда бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Багирова конвоиры ввели в битком набитый зал суда, где заседала выездная сессия, председательствующий, заняв свое место за зеленосуконным столом, коротко бросил:

— Прошу садиться.

Зал стоял, замерев; взоры собравшихся — скорбные, дружелюбные, понимающие — были обращены на того, кого посмели назвать «обвиняемым».

Председательствующий посмотрел в зал и увидел в глазах людей ненависть, обращенную против него, приехавшего судить легендарного Мирджафара, гордость Республики, верного ученика товарища Сталина, оклеветанного безграмотным мужиком, Никитой Хрущевым.

— Садитесь, — повторил он чуть громче.

Зал продолжал стоять.

Молча стояли и десятки тысяч бакинцев возле тех репродукторов, которые установили в городе, чтобы транслировать судебное заседание — ко всеобщему сведению.

— Прошу садиться, — в третий раз произнес судья, и снова зал не шелохнулся.

И тогда Багиров — в своей обычной «сталинке», чуть осунувшийся, но улыбчивый, — чуть поднял руки и сказал по-азербайджански:

— Отр…

Это значит — «садитесь».

И зал, словно бы протянувшись к нему влюбленными глазами, выполнил его *просьбу.*

Первый день процесса был проигран прокурором; Багиров безучастно слушал слова обвинительного заключения, кому-то из сидевших в зале дружески кивал, кого-то, чуть хмурясь, старался вспомнить; все происходившее, казалось, не имело к нему никакого отношения.

Лишь на второй день, когда стали вызывать свидетелей обвинения — в основном женщин, подвергшихся пыткам и насилиям, чтобы сломать их мужей, ветеранов ленинской партии, — когда эти несчастные, сломанные, давно уже потерявшие себя, глухо рассказывали о том ужасе, что им пришлось пережить, настроение

сломалось, в зале начались истерики.

Багиров скукожился, хрустел пальцами, кусал губы; в последнем слове, когда увидел, что в глазах тех, кто еще три дня назад продолжал боготворить его, загорелась ненависть, прошептал:

— Меня не расстреливать надо, — а четвертовать…

В камере, накануне расстрела, сказал прокурору:

— Самое страшное заключается в том, что я совершенно не помнил тех эпизодов, что рассказывали несчастные… Я *забыл*, понимаете? Как забывают дело, выполненное после получения приказа, который, как известно, обсуждению не подлежит… Поверьте, я не помню ни одну из этих женщин, ни одну… Нет мне прощенья, какое счастье, что ухожу из жизни, спасибо вам.

…Меркулова расстреляли в один день с Берия; интеллектуал, он вместе со своим соавтором (тоже покойным) написал в июле сорок первого года пьесу «Инженер Сергеев»; поставили в филиале Малого, гнали день и ночь; «товарищ Всеволод Рокк» — таков был его псевдоним — приезжал на репетиции вымотанный до крайности: надо было «*закрывать*» дело командармов Алкснис, Мерецкова, дважды Героя Советского Союза

Смушкевича, Рычагова, Штерна; здесь, в театре, отдыхал, расслаблялся, получал «зарядку» творчеством замечательных мастеров русской сцены: героем его пьесы был беспартийный патриот, старый русский интеллигент, начавший борьбу против нацистов, актерам понравился образ, работали самозабвенно.

Мягкий и тактичный, Меркулов советы давал ненавязчиво, интересовался, какие реплики неудобны актерам, здесь же, в зале, вносил поправки золотым пером тяжелого «монблана».

После возвращения в кабинет чувствовал себя помолодевшим: с арестованными, которые пытались отрицать вину, работалось легче; вид пыток он не переносил; когда начинали работу *специалисты,* уходил из камеры; легче всего ему давалась эмоциональная часть, заключительная, когда изувеченного человека надо было приободрить, вдохнуть в него веру, доказать, что признание вины — долг коммуниста, патриота Родины, ведущей борьбу с кровавым агрессором…

Евгения Думбадзе — когда он эмигрировал, поняв, что такое Берия, — убили по приказу давнего «друга и брата» в Париже; а ведь сидели за одной партой в Бакинском «Техникуме» — так

тогда называли Высшую школу механики и конструкций, — вместе читали Маркса и Ленина; запрещенную литературу приносил Всеволод Меркулов: «Надо учиться владеть толпой; теория даст нам силу, чтобы повести за собою сирых и слабых, нуждающихся в Мессии…»

Лаврентий Берия, присланный на учебу в Баку сухумским меценатом Еркомишвили, держал запрещенную литературу в своей комнате — хватало на то, чтобы жить отдельно, благодетель помогал щедро. Один из старших друзей Берия, безымянный и незаметный, постоянно засиживался за полночь, читая Ленина, Маркса, Иордания, Троцкого, — дядя Авель Енукидзе, подвижник Революции, давал Берия самые интересные брошюры на грузинском языке.

Старший товарищ Берия был сотрудником охранки; используя эту дружбу, жандармы знали все, что происходит в «Техникуме».

Порою «товарищ» подбрасывал юноше деньги: «Лаврентий, запомни — революция против пуританства; ее спутники — поэзия и любовь; потом отдашь червонец, не думай об этом, пустяки, станешь архитектором — озолотишься…»

После Февральской революции, не став сдавать выпускные экзамены, видимо, опасаясь,

что разоблачение «старшего товарища» (дурак не поймет, что дружил с осведомителем) может ударить и по нему, Берия сообщает друзьям, что добровольно уходит в армию: вести «пропаганду среди солдат». Он доехал до Ясс, но вернулся в Баку вскоре после победы Октября, когда меньшевики в Грузии провозгласили Республику, а во главе ее стал приятель Сталина — Чхеидзе.

— Я должен внедриться в их партию, — сказал Берия Серго Орджоникидзе, прибывшему тогда в Баку. — Я знаю, как бороться с врагами *изнутри.*

И он получил санкцию на вступление в меньшевистскую партию — чем больше версий и слухов, тем затаеннее правда…

…В Тбилиси он расчетливо *подставился* — намеренно засветил себя, выдавая за агитатора, — и был посажен в тюрьму как *большевик.*

Это снимало с него все подозрения, которые могли возникнуть в Баку, если бы кто-то всерьез занялся материалами охранки; не занялись; это дело профессуры, ученых, а их тогда отринули; впрочем, те и сами отнюдь не стремились сотрудничать с Лениным, Троцким, Каменевым, Зиновьевым и Луначарским.

За его освобождение боролись — «юноша рискует жизнью»; был депортирован из Грузии, в

Баку встретили как героя.

Именно в то время к нему примкнули новые друзья — Гоглидзе, братья Кобуловы, Деканозов. С ними он прошел жизнь, с ними его вели на расстрел, который наблюдал Конев: маршал получил эту привилегию потому, что именно в кабинете Берия был убит его учитель — Блюхер.

Когда в Баку вступили англичане, Меркулова, Багирова и Гоглидзе посадили — были достаточно активны в своей революционной позиции; перестукивались в камерах Баиловской тюрьмы, искали, где «лидер», Лаврентий.

А Лаврентий спокойно пришел в «Техникум» и приступил к сдаче экзаменов на звание «архитектора» — оккупанты его не тронули, потому что *списки* на аресты составляли бывшие офицеры охраны…

Перед тем как в Баку вошла Красная Армия во главе с Кировым и Орджоникидзе, *архивы* спалили; в тот же день Берия сформировал первое Бюро комсомола Азербайджана: Багиров, Думбадзе, старший Кобулов и Деканозов.

(Именно Деканозов был послом Сталина в Берлине; имел встречи с фюрером, Розенбергом, Герингом, Риббентропом и Гессом; всячески крепил «дружество» между «двумя великими

народами и идеологиями»; был первым, кто сообщил Гессу, что на партконференции ВКП(б) из состава ЦК выведены Жемчужина и Литвинов — «мы сближаемся и в национальном вопросе; дайте время, у нас не будет принципиальных разногласий».

Когда его вели на расстрел, плакал и терял сознание, молил о пощаде.

Генерал Павел Мешик, которого казнили вместе с ним, плюнул себе под ноги:

— Говно, не позорься!

И — запел «Интернационал». Не все враги — тряпки, умереть достойное — нелегкая штука.)

…Как только Советская власть пришла в Грузию, туда срочно прибыл Сталин; отправился в депо, к рабочим, которые, он был убежден, поддержат его; обратился по-русски; рабочие закричали:

— Говори на нашем языке, ты ж грузин!

— Я говорю на языке русской революции! — отрезал Сталин.

Дружеского собеседования не получилось; Сталин был раздосадован; ночью шестого июля двадцать первого года в ЦК был организован банкет; Буду Мдивани, как герой борьбы против

меньшевиков, предложил, чтобы Сталин стал тамадой. Первым зааплодировал Берия, сопровождавший его повсюду.

Сталин словно бы не заметил этого, однако вскоре прислал шифровку из Москвы, предлагая назначить Лаврентия Берия председателем ЧК Грузии.

Серго ответил:

— Рано еще… Пусть поработает в Азербайджане.

Поначалу его назначили шефом отдела безопасности; Берия бросился к Алеше Сванидзе, родственнику Сталина, брату его первой жены…

(Перед расстрелом люди Берия предложили Сванидзе: «Признайся во вредительстве, в этом случае товарищ Сталин обещал помиловать тебя». Сванидзе молча покачал головой. Его расстреляли; выслушав эту историю, Сталин, усмехнулся: «Какой гордый, а?»)

Сванидзе позвонил Буду Мдивани и Махарадзе; после их *нажима* Берия прибыл в Баку не только заместителем председателя ЧК, но и начальником отдела «секретных операций» — все архивы теперь были в его руках…

Сделав то, что следовало, собрав наиболее *уникальные* документы — не только о себе самом,

понятно, — он был командирован в Грузию; расстрелял благодетеля Еркомишвили — «не мог буржуй помогать революционеру»; провел массовые расстрелы грузинских социал-демократов, стоявших когда-то на меньшевистских позициях, доложил об этом лично Сталину, был назначен начальником Грузинской ЧК и — по представлению Иосифа Виссарионовича — награжден орденом Красного Знамени.

А совершенно необходимым Сталину он сделался в тот день, когда в Сухуми приехал больной Троцкий — зимой двадцать четвертого. Каждый шаг предреввоенсовета и члена Политбюро немедленно сообщался Сталину; от него и была получена санкция на «прощупывание» (читай — провокационные разговоры) «человека номер два».

Именно Лаврентию Берия и поручил Сталин в двадцать девятом негласно наблюдать за выдворением Троцкого в Турцию.

Именно ему Сталин поручил уничтожить старого большевика Алексея Гегечкори — тот отзывался о диктаторе без должного пиетета, в воспоминаниях ничего не написал о «выдающейся роли Кобы», — сфабриковали дело о растрате; Берия приехал к «старшему другу», предложил

дилемму: суд или самоубийство — с последующими торжественными похоронами.

Гегечкори был первой жертвой Берия — из числа большевиков-ленинцев.

Тридцать первый год, массовая коллективизация, Гегечкори — народный комиссар земледелия Грузии; «виновник перегибов» назван; наглядный урок Хозяину, как надо страховать возможные поражения в тактике.

Следующим был уничтожен Котэ Цицнадзе — последний из оставшихся в живых друзей Камо, работавший с ним до революции; Берия отправил в Кремль рукопись воспоминаний Котэ о Камо — и в них про Сталина не говорилось ни слова.

Сталин отправил Котэ телеграмму: «Жду в Кремле, подготовил для тебя новую работу. Сердечный привет. Коба».

Котэ выехал в Москву, оттуда был отправлен в ссылку, где и умер.

Это было в 1932 году.

В благодарность за верную службу Сталин назначил своего молодого друга первым секретарем ЦК Компартии Грузии.

Получив от Сталина приказ установить тотальную слежку за народным комиссаром внешней торговли Розенгольцем, которого исподволь

готовили на процесс — вместе с Бухариным и Рыковым, — Берия делает это по-своему: он насилует, при помощи двух своих охранников, восемнадцатилетнюю дочь наркома, Лену. Девушка кончила жизнь самоубийством; ее тело выбросили на шоссе, и по ней прокатил «линкольн» — несчастный случай.

У Розенгольца остался сын, маленький еще мальчик, — на нем потом и играли, сломить было нетрудно, трагедия с дочерью постоянно рвала сердце…

В дни, когда решалась судьба Серго, Берия приехал за его старшим братом — Папули Орджоникидзе. Старого большевика пытали в кабинете Берия, здесь же и застрелили; перед смертью Папули выхаркнул кровь на роскошный том «К истории большевистских организаций Закавказья» — шедевр Берия как литератора и историографа.

…И тем не менее тучи над его головой сгущались; после того как Сталин вписал в показания героя гражданской войны Серебрякова: «шпионы готовили террористический акт против выдающегося ленинца товарища Берия», народный комиссар внутренних дел, «совесть партии» Николай Иванович Ежов понял: вот он, конкурент!

И — отдал приказ на арест Берия.

Будучи от природы человеком узкого кругозора, истинный выдвиженец Сталина, в партию вступил после Октября, опыта борьбы не имел, — пытки ленинцев в подвалах не в счет, садистские развлечения, а не опыт, — Ежов отправил ордер на арест наркому внутренних дел Грузии Гоглидзе.

В тот же час Берия, меняя маршруты своего поезда, составленного из четырех «пульманов», выехал в Баку, оттуда — потаенными ветками — рванул к Москве: зеленый свет дал Каганович: не мог простить Ежову убийства братьев, боялся за себя, понимая, что на очереди все те, кто знал Сталина до Революции.

(Об одном из героев моего романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата» — Савельеве-Шелехесе Лазарь Моисеевич заметил, странно усмехнувшись: «Чистый был человек, тоже попал в *нашу мясорубку*, мог бы работать и работать, настоящий большевик».

Сказав про «мясорубку», Каганович показал своими большими руками, как вертелись эти жернова, в которых хрустко перерезались шейные позвонки братьев, жен, ближайших друзей, героев страны, подвижников революции; сказав

так, он, вздохнув, *усмехнулся*, хотел что-то добавить, но — внезапно замкнулся.)

В Москву Берия приехал в час ночи, подгадал, что Сталин еще в Кремле — текущую работу закончил, готовится к завтрашнему дню; Берия запомнил, как в Тбилиси, в двадцатых, в день их первой встречи, проводив его в особняк, поинтересовался, когда делать завтрак и что приготовить для работы, Сталин усмехнулся: «Бог даст день, Бог даст пищу… Тут не работать надо, а пахать… Всю Грузию надо — после меньшевиков с их паршивой независимостью — перепахивать: с потом и кровью… Ишь, почему я не говорю с ними по-грузински?! — вдруг обратился он к какому-то невидимому собеседнику. — Пусть сами учат русский! Не захотят — заставим; откажутся — перестреляем; насилие — в определенных ситуациях — тоже путь к счастью…»

Из Москвы Берия практически не уезжал — был назначен заместителем Ежова, постепенно перевел сюда свою гвардию — Меркулова, Деканозова, Гоглидзе, братьев Кобуловых, — с ними как за каменной стеной; расстрел Ежова провел спокойно: *малыш* метался по камере, молил о встрече с «дорогим Иосифом Виссарионовичем», был быстр, как зверь, пули, казалось, его не бра-

ли, хотя «сталинка» сделалась бурой и *ощутимо* теплой от крови…

Провел несколько показательных процессов против ежовцев, расстрелял «врагов народа, нарушавших социалистическую законность, поднимавших руку на лучшие ленинцев», выпустил из тюрем около семи тысяч человек; в стране пошли разговоры: «что значит пришел человек Сталина! С ужасом тридцать седьмого покончено раз и навсегда, правда восторжествовала!»

Никто, правда, не знал, что накануне его назначения наркомом расстрельщики работали днем и ночью, *подчищали* камеры, уничтожая тех, кто не станет молчать, когда выпустят…

Затем Берия перенес свою деятельность за рубеж: организовал убийство Троцкого, вызвал из Германии всех советских разведчиков и расстрелял их в подвале — даже не допросив: надо было крепить дружество с Гитлером не словом, но *делом;* запретил Шандору Радо все контакты с его друзьями-антифашистами в Европе.

(Шандор Радо, руководитель советской разведывательной группы в Швейцарии, передававший в Москву, Берия, сообщения о том, что говорил Гитлер на совещаниях в Ставке через час после того, как Кейтель объявлял заседание

закрытым, был арестован на московском аэродроме.

— Я ведь в «шарашке» сидел, — рассказывал мне Радо, — Солженицын человек весьма талантливый, но его же среди нас не было, в «шарашке» держали только членов партии, ученых с мировыми именами. Берия к нам приезжал довольно часто, кое с кем из зэков здоровался за руку, интересовался работой, особенно *слушающей* техникой, так что наивные включения ваших свободолюбцев, пускавших на всю мощь радио, чтоб их *не записали,* уже тогда были фикцией: мы научились отделять шепот говоривших крамолу от музыки или голосов дикторов… Берия высоко оценил нашу работу — прибавил питание, приказал продавать не только маргарин, но и сливочное масло.)

Отправил послом к Риббентропу своего старого и верного друга Деканозова; немедленно сажал тех, кто осмеливался говорить о возможном нападении нацистов: «Я не разрешу травмировать Хозяина паникерскими разговорами маловеров!»

Именно он в ночь на двадцать третье июня арестовал военных, которые должны быть объявлены виновниками нашего отступления, — ими

оказались как раз те, кто бил тревогу по поводу неминуемости агрессии: Рычагов, Смушкевич, Штерн, Мерецков.

Именно он — в конце сороковых, — чувствуя, что Сталин *отодвигает* его от *органов,* наладил свою личную слежку за каждым шагом Хозяина: Саша Накашидзе, работавшая в доме генералиссимуса, сообщала ему о том, когда, кто и сколько раз звонил Хозяину, о чем с ним говорил, кого он приглашал, сколько времени проводил за столом с гостями, как на кого глядел, кого чем угощал.

Поняв, что с ним может произойти то же, что случилось с Вознесенским и Кузнецовым, что готовилось против Молотова, Ворошилова (английский шпион) и Микояна, внес в «дело врачей» свой *поворот:* его агенты в Кремлевской больнице *отменили* все те лекарства, к которым привык организм генералиссимуса за тридцать лет. Маленького, одинокого рябого старика, полного новых замыслов — процессы в России, продолжение чисток в Праге, Варшаве, Софии, Будапеште, Берлине, Бухаресте, Тиране, начало *нового* курса в Пекине, устранение Тито, — начали продуманно и методично убивать лучшей фармакологией, привезенной из-за рубежа «для укрепления здоровья самого великого человека

нашей эры».

(В свободное от работы время Берия отправлял своего порученца полковника Саркисова на «вольный поиск»: тот привозил ему девушек с улиц или же сановных матрон; Берия был галантен, обаятелен, бесконечно тактичен и добр; с актрисами «расплачивался» Сталинскими премиями.

Главный хирург Советской Армии Александр Александрович Вишневский рассказывал мне, что в камере, на шестой день после ареста, Берия начал онанировать; на замечание охраны ответил:

— Это потребность организма, я ничего не могу с собой поделать… Насколько я помню, правилами внутреннего распорядка в наших тюрьмах это не запрещается…)

Когда Берия сообщили с Ближней дачи, что Сталин не откликается на звонки, он приехал туда, сострадающе посмотрел на растерянных Молотова, Кагановича, Хрущева и Булганина, обернулся к охранникам:

— Ломайте дверь!

И в первых же его словах, когда он увидел старика, лежавшего на ковре, было ликование:

— Тиран пал!

…После ареста Берия был конечно же объявлен английским и югославским шпионом, диверсантом, агентом Тито.

Смешно, понятно, со сталинизмом бороться сталинскими методами: через два года Хрущев, Булганин и Микоян отправились в Белград, к товарищу Тито, — извиняться за произвол генералиссимуса; о «шпионе» Берия не вспоминали, полагая, что люди уже все забыли.

Народ все помнит, только говорит редко, отучили его говорить, зато предметно объяснили, как следует таиться…

О чем же говорит судьба Берия?

Во-первых, о том, что принцип подбора кадров «под себя» неминуемо кончается трагедией. *Гарантия* тому — капризная секретность выбора, да и *самодержавность* самого посыла.

Во-вторых. Если по-прежнему в наших учреждениях останутся отделы кадров, возможен приход новых Берия и Абакумовых, ибо в задачу нынешних кадровиков не вменено искать по стране *Личностей,* но лишь проверять надежность *анкет* тех, кто им *спущен* сверху: естественный отбор талантов подменяется искусственным созданием покорной номенклатуры.

Традиция показушной «личной преданности»,

столь характерная для нашей многовековой истории, обходится в дискуссиях о будущем стыдливым молчанием: видимо, по сию пору не хотят *задевать* традиции, а они ведь разные, традиции-то…

В-третьих. Если мы не научимся участвовать в *открытой* конкуренции политиков, выраженной платформой, встречами с избирателями — не для бурных оваций, а для деловых дискуссий, следствием которых будет не арест, но корректировка *общей* линии, — традиция посмертных реабилитаций станет нашей самой устойчивой внутриполитической традицией.

В-четвертых. Если новые общественные организации — а они неминуемо родятся! — не обретут конституционных форм и гарантий, права на выдвижение собственных кандидатов в депутаты, права на издание своих бюллетеней, дискуссионных листков, а еще лучше газет, программ на ТВ и радио, боюсь, что новые процессы, типа «каменевского» или бухаринского», неминуемы.

В-пятых. До тех пор, пока живет культивировавшаяся Сталиным зависть к Личности, ставка на мнение безликой, неперсонифицированной массы, заранее спланированное и проработанное

наверху право на подсматривание в замочную скважину, отработанный институт доносов, трудно надеяться на стабильность.

В-шестых. Ленин однажды обмолвился, что нэп есть одна из форм борьбы с советской бюрократией. Вне кооперации нэп немыслим; много лет «нэп» считался ругательством; вот она — подмена понятий! Новая экономическая политика — какой же это позор?!

Диктатуре личности страшны сытые люди с чувством собственного достоинства — их не так просто обратить в рабство.

Нынешние попытки душить кооперативное движение (т. е. раскрепощение Человека) угодны той бюрократии, которая не умеет жить без Берия, «верного ученика и соратника» Сталина, — без управителя с хлыстом в руке.

Требуя «железного порядка», сталинисты — в силу своей ограниченности — не понимают, что по логике их же кумира именно их первыми бросят в подвал, а после процесса, где они признаются в участии в любом заговоре, расстреляют.

Шахматы тренируют ум; перестановка офицеров сулит выигрыш позиции, правильная дислокация туры обеспечивает безопасность короля на поле.

Тем не менее проекция шахмат на политику трагична и рискованна: не только каждый солдат, но и любой офицер сам мечтает стать королем.

Побеждает тот лидер, который имеет право свободного выбора среди «звезд» — компетентности, достоинства, мужества.

Его друг тот, кто возражает; его враг тот, кто молчит. Значит, он ждет.

Чего же?!